

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

В. И. ПОРУДОМИНСКИЙ

ГРУСТНЫЙ СОЛДАТ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

В. И. ПОРУДОМИНСКИЙ

ГРУСТНЫЙ СОЛДАТ, ИЛИ ЖИЗНЬ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА

МОСКВА «КНИГА» 1986

ББК 84Р7-4
П 60

Предисловие *Ю. Давыдова*
Рецензент *А. М. Турков*

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука
Иллюстрации художника
А. О. Семенова

П $\frac{4702010200-071}{002(01)-86}$ 79-86

ОГЛАВЛЕНИЕ

Боль

Читаю и думаю о «грустном солдате», о Порудоминском думаю и вот об этом предисловии.

Длинное далось бы легче, да совестно томить читателя на пороге, у дверей. Писать кратко? Краткость требует долгих усилий. Пусть так. Но прежде надо утишить боль, завладевшую при чтении романа. Сущность болевого ощущения постараюсь определить, однако возьму сперва некий разбег...

Тут память спешит на помощь, память.

Живо и ясно вообразилась мне Вера Ивановна, покойная учительница, уроки ее вспомнились, гаршинский рассказ «Сигнал», а следом — будто ножом по стеклу: «Гаршин являлся типичным представителем мелкобуржуазной, чисто городской интеллигенции». Скороговоркой, будто извиняясь, Вера Ивановна лепетала «социологическое». А нам, буйным школярам довоенной поры, внятно слышалось: «Господи, какая чушь!» Для Веры Ивановны писатели были людьми исключительными. Не то чтобы бессмертными, но и не смертными. Отмахиваясь от формул, она внушала нам восхищение российской словесностью, мастерами ее и подмастерьями.

Сумрачно точен был Некрасов: «Братья-писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое». Роковое реяло над Гаршиным. Не потому, что пришел в мир вконец обедневшим дворянином. И не потому, что волонтером слышал посвист вражеской картечи. Не оттого, что кормился чернильной службишкой. И не оттого даже, что нет-нет да и ложился на аскетическую койку лечебницы.

Не здесь главное. В чем же?

Сказано: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Давно сказано и не о Гаршине, но впрямую и вплотную соотносимо с Гаршиным. Ибо так было.

Было век назад, в семидесятых и восьмидесятых. Его сверстники двинулись в народ миссионерами борьбы за добро и справедливость. И оказались узниками смрадных централов. «Народная воля» при-

бегла к динамиту. Раскату взрывов аккомпанировал стук топоров по эшафотным доскам-тесинам. Исход семидесятых озарялся светлой надеждой; исход восьмидесятых мерцал мрачным разочарованием.

Гаршин не числился в подпольной организации. Он принадлежал к партии. Термины — организация, партия — не были тогда тождеством. Партия рекрутировалась из сочувствующих организации. Сочувствие Гаршина питало чувство, свойственное и землевольцам и народовольцам, — чувство самопожертвования. Не чья-то гибель во имя спасения униженных и оскорбленных, нет, *твоя, твоя.*

Гибель ждала Гаршина в черном пролете петербургской лестницы. Но погибал он в каждом своем творении, предельно сжатом, обнаженно-нервном, казалось, багрово-пульсирующем.

Но — довольно. Минута, другая — и со страниц биографического романа, написанного Владимиром Порудоминским, глянут на читателя трагические, скорбные, неизъяснимо прекрасные глаза Всеволода Михайловича Гаршина...

Любая биография, романная или сугубо научная, есть часть автобиографии. Автобиографии того, кто написал биографию.

Порудоминский вернулся к Гаршину — когда-то, четверть века назад, именно он, Порудоминский, представил гаршинский портрет в картинной галерее, имя которой «Жизнь замечательных людей». Верность теме? Несомненно. Но корневое, на мой взгляд, сокрыто в том, что годы, прожитые биографом, годы, так сказать, автобиографические, сильно влияют на вторичное обращение к судьбе реального, невымышленного героя.

Это не мое (вернее, не только мое) наблюдение. Оно высказано и самим автором «Грустного солдата» — см., например, журнал «Вопросы литературы», шестой номер за 1982 год. Указываю не без умысла: хочу обратить внимание пытливого читателя на содержательный, спокойно-вдумчивый «листок из писательского блокнота» нашего автора.

Жаль, однако, что в журнале лишь «листок», а не «листки», — ведь Владимир Порудоминский неутомимо и талантливо работает в излюбленном жанре. Соврать не даст библиография, зеркало индивидуальности. Конечно, даты появления в свет такого-то или такого-то произведения отражают техническую сторону издательского дела. Но сам по себе перечень — вектор духовных устремлений, сфера духовного обитания.

Так вот, в перечне трудов В. И. Порудоминского — жизнеописания русских художников Брюллова и Ге, Крамского и Ярошенко, русских писателей Даля и Гаршина, русского ученого Пирогова, т. е. творцов. С их поисками и терзаниями. С их неизбывным состраданием не вообще человечеству, хотя и этого не отнимешь, а человеку, *этому,* как сказал бы Гегель.

Избранники Порудоминского не бронзовеют. Они даны в дви-

женье внутреннем, в умении «трудно жить». Порудоминский признается: «Дни величия и радости открывают мне в человеке меньше, чем дни скорби». Признание важное и характерное. Отсюда и упомянутое болевое ощущение, вызванное романом о Гаршине. Оно теснило грудь автора. И оно передано, сообщено мне, читателю.

Известному литератору П. В. Анненкову принадлежит емкое соображение о биографическом жанре: необходима слитность художнического инстинкта и исторического чутья.

Эта редкая слитность присуща Владимиру Порудоминскому.

Ю. Давыдов

СМЯТЕНИЕ

20 февраля 1880. Петербург. Гаршин

Куда ни повернешься, всюду это число «25»: тут выгибается арабской цифирью, вдруг напоминая о гимназии, где двойки именовались «лебедями», а пятерки — «утицами», там поднимается частоколом римских косых крестов, похожих на андреевские морские флаги, венчаясь стремительно падающим, как предчувствие беды, острым углом...

25...

XXV...

Всюду это «25», «XXV» — на фасадах зданий, и в окнах, и над воротами, и на протянутых поперек улиц разноцветных транспарантах, всюду одно и то же число, аляповато намазанное прямо по штукатурке или на вывешенных из окон простынях, изящным вензелем выведенное по стеклу, сплетенное из еловых гирлянд.

Юбилей...

Иные дома и вовсе упрятали стены под сине-бело-красными полотнищами флагов, гигантскими венками — живыми, зелеными, и искусственными, посеребренными и вызолоченными, под холстинами ярких декораций, долженствующих изобразить в картинах и символах величие и благоденствие нынешнего четвертьвекового царствования.

Погода совершенно отвратительная, февраль едва перевалил за середину, а на дворе не то что снега нет — дождь; брызжет, как из прохудившейся водопроводной трубы, и под ногами какая-то невообразимая холодная каша, так и жжет, протекая в сапоги.

Странно: при самом тщательном осмотре сапоги, хотя и поношенные, казались совершенно целы, и подметки, и в швах, но вот ведь не выдержали испытания, и как их там ни подшивай и ни подлатывай, а теперь уж придется, без сомнения, заказывать новые.

Впрочем, он бы и не поехал в ту даль и глушь, куда собрался, без пары новых сапог в чемодане, ехать же он решил непременно, так что все устраивается само собою.

Удивительное дело: сколько себя помнит, вечная забота — о сапогах; пока целы — тревожишься, что прохудятся, а прохудились — чем заменишь, пока чинятся, и неотвязная мысль, что пора откладывать деньги на новые.

Еще в отрочестве, в гимназическую пору, — болезненная неловкость, когда случалось не в срок просить у матери на обувку; пальто, сшитое у верного Михеля, недорогого и очень порядочного харьковского портного, он носит два и три года, что называется, не снимая, сапоги же так на нем и горят — то ли ходит много, то ли второпях ступает куда ни попадя.

Известно, что забота о сапогах есть удел не слишком имущих особ.

Правда, в обозримом будущем на сапоги ему, кажется, хватит: «Русское богатство», новый журнал, издающийся с недавних пор на артельных началах (в чем он принимает самое горячее участие), напечатал в январском номере сказку о гордой пальме, сломавшей решетки оранжереи; в марте идет рассказ про денщика Никиту, отрывок из задуманной далеко наперед огромной вещи — это будет его, Гаршина, эпопея, его «Война и мир»; другой рассказ, тоже недавно законченный, отправлен в «Отечественные записки», и Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович, сообщил на днях письмецом, что нашел его весьма хорошим и в мартовской же книжке думает поместить.

Все это принесет сотню-другую; таких денег станет ему надолго, да и тратить в деревне не на что; многое из необходимого на первое время он возьмет с собой про запас: уже куплены чай, сахар, табак, папиросные гильзы, лампы, масляная и керосиновая, подсвечники и большая коробка свечей.

Куплены также: издание Лермонтова, более полное и точное, сравнительно с прежним, четыре тома сочинений Льва Николаевича Толстого и — очень удачно — три романа Жюля Верна по-французски, все три за рубль четыре копейки (французские книги предстоит, правда, переплести, чем он охотно займется на досуге).

Да и уезжает он не баклуши бить, не на чужие хлеба — работать; жалование обещано маленькое, конечно, но постоянное, пятнадцать рублей в месяц, плюс бесплатная квартира — отдельная изба; ехать же надо во что бы то ни стало, пора «приткнуть куда-нибудь свою особу», — объясняет он друзьям-приятелям (он часто говорит о себе, иронизируя, — совестно взваливать на других ту неимоверную тяжесть, которую постоянно носишь в груди).

Он уже сообщил матери о своем безусловном решении; самое трудное позади; бедная мама, она-то все хлопочет, чтобы ее Всеволод

«лез в самую центру», так она выражается, может быть, в шутку, но, похоже, всерьез; все-то ей хочется, чтобы он писал безостановочно, как машина, чтобы всякий месяц печатал в журналах новенькое, чтобы подогревал интерес публики, которая, если постоянно не колоть ей глаза своим именем, беспременно тебя забудет.

Как объяснить ей, что это не рука, набравшая ловкости, нижет одну буковку за другой, что он сам, весь, с нервами и кровью, переходит в написанные им слова; как объяснить, что он, хоть семь шкур с него дери, обвиняя в бесхарактерности и лени, совершенно неспособен во всякое время загнать себя за стол, что слова являются, когда задуманное стало там, внутри, нестерпимой, кричащей болью; как, наконец, объяснить, что при всей его славе ему ужасно неуютно в компании важных «литературных человеков» (так аттестует он в письмах к матери своих именитых собратьев по перу), что слава не тешит его — стесняет, зовет держаться подальше от «центры», в сторонке, в толпе со всеми этими «и мн. др.», как именуют их в объявлениях о подписке.

Никому он ничего не станет объяснять, оно и в самом деле может показаться либо вопиющей нерассудительностью, либо даже тщеславной страстью совершить нечто неординарное, либо, наконец, попросту болезнью, обычным для него расстройством нервов, — известный писатель, взамен того, чтобы попользоваться изменчивой славой, отправляется писарем в какое-то сельское товарищество, в глухомань — пятьдесят полных верст от Самары.

Конечно, «мамашу это убьет» (так восклицает по всякому поводу одна знакомая барышня): с высот популярности — и в деревню, «на съедение» мужикам. Той недавней осенью, когда он, по принятому выражению, «однажды проснулся знаменитым», той осенью разноцветными картинами волшебного фонаря вспыхнули в мечтах у бедной мамы публичные чтения, освещенные сцены, овации, лавровые венки, подносимые восторженными студентами, плотные томики собрания сочинений, газетные известия, что-нибудь вроде: «...приняли участие гг. М. Е. Салтыков, И. С. Тургенев, гр. Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, В. М. Гаршин...»; два с половиной года пролетело с той осени, сочинил он всего-навсего семь небольших рассказцев (негусто, мама!), публичности избегает, со студентами и курсистками ведет себя возмутительно запанибрата, перед Михаилом Евграфовичем робеет, с Тургеневым и Толстым до сих пор не познакомился. Ивана Александровича Гончарова видел лишь издали, два раза, на Моховой, когда он, держа за пазухой маленькую собачку, шел в сторону Мойки, к гостинице «Франция», где имеет привычку обедать.

Совершенное разочарование!

Никому не объяснишь, что стремиться к собственному благополучию он не может и не хочет, таковое благополучие ему, пожалуй,

и противопоказано: его хоть в масле с сухарями обваляй, бес, в нем сидящий, непременно о себе напомнит, отравит сладостное мгновенье, ударит, и по самому больному месту, — и тотчас глаза откроешь, чтобы взглянуть окрест себя.

Такая у него доля — стыдиться собственного счастья, отзываться на него отчаянием и болезненным «ковырянием» в себе, тяжкой неудовлетворенностью и мучительным поиском пути (знать бы — куда!). Тут, если есть выход, так именно тот, чтобы растворить себя со всей своей единичной жизнью в жизни общей, в общей радости и общем страдании, каковы бы они ни были, — он это с семьдесят седьмого года знает.

Об этом он написал рассказ «Ночь», тот самый, который отдал Салтыкову в «Отечественные записки»: человек привык слушать две торопливые однообразные нотки собственных карманных часов и почитал свою жизнь благополучной; но однажды, распахнув окно, услышал дальний звон колокола, собирающего людей. Вот, оказывается, есть же общее время, как есть общее пространство — огромное, усеянное яркими звездами небо над заснеженным садом, над городом, над целым миром, общее для всех небо; человек распахнул окно и увидел звезды — сколько лет замечал он разве что бронзовые гвоздики на обитой зеленым сукном входной двери. Человек-то задумал покончить с собой, и заряженный револьвер лежит на столе, но с отворенным в морозную ночь окном, звоном колокола и звездным небом открылась ему мысль о жизни общей, с которой непременно надо связать себя, единоличное свое «я» отвергнув. Человек этот все-таки умирает, и те несколько знакомых, которым он, Гаршин, решился прочитать рассказ, были убеждены, что, несмотря ни на что, застрелился. А ведь у него черным по белому сказано в конце, что оружие осталось лежать заряженным: человек не выдержал радости прозрения. Но что-то его и самого, автора, точит. Есть в рассказе какая-то смута, есть что-то, что сам он не может понять и объяснить: полно, умирают ли от радости, и так ли просто уйти в эту общую жизнь?..

Но Михаил Евграфович известил письмецом, что рассказ весьма хорош...

Число «25» покоя ему не дает. Две с половиной недели назад он самым скромным образом отметил свое двадцатипятилетие: втроем, с Надеждой Михайловной — Надей Золотиловой, которую он считает своей невестой, и Мишей Малышевым, Мишуноем, добрым старым другом (комнату снимают вместе), торжественно распили бутылку шампанского и в четверть часа уничтожили некое роскошное сооружение из теста, апельсинов, фисташек и миндаля под названием «торт Евгения». В знаменательный день, второго февраля, он даже отправился к фотографу; с карточки смотрит на него весьма благопристойный господин: бородка, сюртук, черный шелковый галстук —



вполне годится в горные инженеры, каковым по первоначальному замыслу надлежало ему стать, и даже в известные писатели, очень приличный господин — никто не удивится, если такой нацепит на выразительный нос пенсне, извлечет из кармана тетрадь в черном кожаном переплете и, важно откашлявшись, что-нибудь и прочитает на благотворительном вечере.

Чепуха, конечно, нелепость, мистика, извечное пристрастие к некоторым цифрам! Право, «25» не более в себе таит, нежели «24» или «26». Что до него самого, Всеволода Гаршина, то его число, если угодно, — «22»: двадцать два ему было, когда он, студент Горного института (впереди — благополучная карьера), решился — и: «Мамочка, я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули...» Такую он единым духом — как с обрыва в реку — послал тогда телеграмму и спустя месяц уже месил грязь на военных дорогах.

Но это «25» не только отовсюду лезет в глаза — число сидит внутри, мучает: юность, *начало* уплывают с лебедями да утицами к другому берегу по темной воде. Второе двадцатипятилетие жизни надо начинать по-новому, совсем по-новому; иначе, почитай, и первое прахом пошло — вот что его толкает, движет, заставляет шевелиться быстрее и думать еще напряженнее, чем обычно, — просто кузница в голове.

Одно время совсем было собрался прапорщиком в «глухую армию», как он говорил, — жить среди солдат, непременно в массе, учить их грамоте, растолковывать происходящее вокруг, помогать чем умеет, быть для них примером справедливости и нравственным примером. Он, конечно, не мечтал изменить порядок вообще, но поверил было, что хотя бы в пределах одного полка, пусть одной роты, сумеет побороть мордобой, сквернословие и прочие творимые господами офицерами гадости, не дозволит красть у солдата положенную ему краюшку хлеба.

Минувшим летом отправился в Ярославль — 138-й пехотный Болховский полк, в котором он воевал и к которому приписан, стоял в лагерях неподалеку от города. Офицеры приняли его с необыкновенным радушием, совершенно как своего, он был теперь гордостью полка, почти легендой — герой-вольноопределяющийся, раненный в бою, и к тому же известный писатель; все вокруг него роились, новый полковник, лихой воин с Георгием на груди, явился к нему представиться; а он, взамен благодарности, недели не выдержал — улизнул при первом же случае — не мог перенести, когда бьют людей по лицу, оскорбляют бранью. Не мог пожимать руку, только что ударившую другого человека, не мог слышать похвалы из уст, только что другого человека оскорбивших. Его хуже всякой пули убивала пошлость, пошлость в поступках, разговорах, мыслях, ничтожество интересов и помыслов. А ведь и это мои читатели, думал он, и таких-то

всего больше: он им про невыносимые страдания начавшей думать о себе и о мире вокруг «девицы» Надежды Николаевны, а они веселой толпой мчатся по вечерам в город, в бордель, и, возвратясь на рассвете, шумно и подробно обмениваются впечатлениями.

В петербургском военном госпитале, куда положили его на переосвидетельствование как раненного в минувшей кампании, молодежь в офицерской палате — почти сплошь сифилитики, весь день карточная игра, выпивка и бессмысленные разговоры «о службе», то есть о том, как некий находчивый поручик (непременный герой) ловко «поддел» командира или полкового адъютанта.

На войне многое искупается возможностью завтра быть убитым, но жить в бездействии и чувствовать, как пошлость во множестве обличий прорастает сквозь тебя густым, колючим чертополохом, — от этого через год, много два, руки на себя наложишь, сознавая полное свое бессилие что-нибудь переменить.

Бессилие что-нибудь в душах переменить — вот что всего мучительней...

Не лучше, конечно, и гражданская служба: о ней тоже, случалось, подумывал — несколько раз порывался искать какой-никакой должности где-нибудь в провинции. Бедная мама, не скрывая разочарования, опять же уговаривала держаться Петербурга: найдется же в министерстве — вон их сколько! — или всероссийском банке, на худой конец, подобающее место для ее знаменитого Всеволода. Но не все ли равно — провинция или Петербург, петербургская провинция: чиновничество оно всюду чиновничество, те же входящие-исходящие («Это мы пишем или нам пишут?» — анекдот про директора департамента, прочитавшего поданное письмо), взятки, хищения, угождение власть имущим, беззастенчивые пируэты, чтобы самому «в люди выбиться», непременные графинчики и картишки, винт или преферанс.

И ведь тоже читатели! Откроют «Отечественные записки» — пролистают «Отечественные записки», попадет в руки «Вестник Европы» или «Русский вестник» подвернется — и тот будет хорош и другой. Гаршина читают, или Каразина, или Вас. Немировича-Данченко — все, знаете ли, необыкновенно занятно пишут про войну...

Недалеко, на Литейной, живет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, годы работает, не ведая отдыха, «с вида еле-еле дышит, но как пишет — Этной дышит!» — недавно веселился кто-то в шуточных стихах, но и он, Михаил Евграфович, лишь великим трудом доискивается своего читателя, — какое же у него, у Гаршина, право, с его редкими и мимолетными, как искры от степного костерка в ночи, творениями, избирать литературу образом жизни? Перед самим собой какое право?

Объявить себя на весь белый свет писателем, знать, что люди от тебя ждут, — и хандрить, сомневаться, бездействовать, принимать

овации и предъявлять свое сердце (Михаила Евграфовича острое словцо) на публичных заседаниях и чтениях, вместо того чтобы всякий день и час сжигать сердце свое в каждом слове написанном.

...Жил да был художник Рябинин, написал замечательную картину, всех поразил, только слава ему не в радость: живут на холсте мысль, кровь, нервы художника — но кто и когда видел хорошее влияние хорошей картины на человека? Вот что бедному Рябинину спать не давало, доводило его до исступления, до болезни. Не лучше ли, решил наконец, послушаться совести, вовсе бросить искусство: сначала в учительскую семинарию, а там в деревню — учить крестьянских ребятишек уму-разуму? Только в деревне-то он не преуспел.

Это Миша Малышев, любезный Мишуной, дорогого друга Всеволода в спорах его же, гаршинским, рассказом, «Художниками», побивает: как ни желал Всеволод своего Рябинина на ясную дорогу вывести, но против правды не пойдешь — не преуспел на учительском поприще одаренный художник!.. Ах, милый Всеволод, так и твоя деревня!

Да ты, Всеволод, вспомни: совсем недавно, на нашем уже веку, товарищи и однокашники сбрасывали сюртуки и студенческие мундиры, неумело натягивали на себя купленные в торговых рядах ситцевые рубахи, чуйки, сапоги с лакированными отворотами, по которым узоры вышиты красными и синими нитками, — не «сцены из народного быта» играть собирались — «в народ» шли, просвещать, призывать, поднимать. А потом — грязь по колено, проселки, тяжелый короб с книгами через плечо, недоверчивые глаза мужика на пороге избы, удивленный взгляд бабы на чуйку, на отвороты сапог, на неловкое знамение, которым осеняет себя пришелец, прежде чем сесть к столу. Еще потом — горечь отрезвления. И венцом всему — тюремные замки и крепости, пересылки, полицейский надзор.

Но ведь не по обязанности шли, отвечает он Мише, дорогому другу в светлые, широко расставленные и всегда будто несколько удивленные глаза его глядя, — не по обязанности шли, стыдно было сидеть, развалясь, в деревянных амфитеатрах университетских аудиторий, стыдно за тихими, в смешных чернильных рожицах, столиками читален перелистывать ученые трактаты, стыдно спорить до хрипоты в набитых сизым дымом курилках и толковать о светлом будущем в уютных комнатах, где лампа под зеленым абажуром и густо заваренный чай в стакане, — стыдно, совестно...

Не в том суть — преуспел Рябинин, не преуспел: *не мог не* поехать в деревню — вот в чем суть!

«Я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули...»

Ах, Мишуной, Мишуной, какая сила сорвала нас тогда, под пули бросила?

Рисовал бы ты антики в своей Академии художеств, я бы в Гор-

ном зубрил минералогию, утром за чаем-кофием читали бы в газетах сводки с мест сражений, ругали бездарных генералов и плутов-подрядчиков, поставляющих в армию дурной харч и негодное снаряжение, привычно бы скользили глазами по трехзначным, четырех-, пятизначным цифрам потерь...

Отчего же мы негодуем, отчего горячимся, когда в интеллигентной гостиной упоенный собственной мудростью юнец корит нас высокомерно: как же так, господа, вы ведь против войны, а пошли воевать, вас не гнали, а пошли — сами пошли.

Как объяснить, втолковать это: не могу не... когда другие... лбы и груди... под пули?..

Бывают, наверно, времена, когда не о том забота — «преуспел — не преуспел», когда не результат важен, важно совершить действие, поступок.

Года два назад познакомился с молодой докторшей: тихая, скромная, а в семьдесят шестом отправилась с добровольцами в Сербию, в семьдесят седьмом тоже добровольно — на театр войны в Болгарию, оттуда подалась земским врачом в глухой уезд Новгородской губернии, и все тихо, серьезно, без самодовольства, без рисовки и аффектации — на что ей походные госпитали, фуры, палатки, крики увечных, кровь, на что ей курные избы, смрад, вши, дифтерит, голодные детишки, невежество и пошлая жестокость уездного начальства — на что?

Да все потому же — *не может иначе* и, когда совесть зовет, не ковыряется в себе, не мечется в сомнениях — *поступает...*

Раненый с перебитыми ногами лежал вниз лицом и видел комок сора, былинку, муравья, по ней ползущего, но потом, несмотря на боль, перевернулся — и увидел небо и звезды.

Не век же лежать с перебитыми ногами, носом в землю, видеть сор, прошлогоднюю траву, былинку и муравья.

Надо превозмочь себя, перевернуться...

Это он в ответ друзьям-приятелям, Мишуною в ответ, свои «Четыре дня» вспоминает.

В учебнике душевных болезней он прочитал однажды о «равновесии уменьшенных сил»: ни одна из способностей организма не уничтожена, но все равномерно ослаблены, как бы укорочены. Часто ему кажется, что и он сам, и люди рядом с ним живут с укороченными силами, способностями, чувствами.

Одиннадцатое августа семьдесят седьмого, когда на Аясларской высоте он бросился вперед из цепи, под огонь, чтобы помочь раненому солдату, — лучший день его жизни, единственный день, прожитый в полную силу.

Иначе не мог... — и под огонь!..

Высокоумный юнец говорил:

— Нет, как хотите, Всеволод Михайлович, только это безнрав-

ственно — добровольно идти воевать, оттого что другие воюют. Теперь все читали «Четыре дня» и «Труса», вслед за вами твердят про бессмысленный ужас войны. А снова начнется — вы что ж?..

Юнец держал в руке стакан с чаем, чай крепкий, темно-янтарный, накрыт бледным золотистым ломтиком лимона. Юнец по-профессорски неторопливо помешивал в стакане ложкой. Ложка звякала о стакан, стакан о блюдце, на котором был поставлен; Гаршин терпеть не может звяканья посуды, он почувствовал, что слишком горячится, и потому отвечал смирно, с вымученной улыбкой:

— А снова начнется, придется снова подставлять грудь.

— Но ведь это же нонсенс, любезный Всеволод Михайлович!.. — свысока, и ложечкой, ложечкой о стакан, от резкого ее звяканья — совершенная одурь. — Что значит — грудь подставлять? Да сами-то вы, что ж, и вовсе не стреляете?

Победно вопросил и отхлебнул наконец чаю.

...Там, на горе под Аясларом, он лежал за камнем, прижимая к щеке темный, немного темнее, чем у других, приклад винтовки с длинной царапиной по лаку; снизу, со дна котловины, поднимались к нему шедшие цепью темные фигурки, фигурки бежали и падали. И хотя пули визжали над головой и гранаты разрывались вокруг, обдавая людей осколками, хотя уже закричали, запричитали первые раненые и первый убитый совсем рядом с ним молча повалился ничком, он, вольноопределяющийся Гаршин, как-то не сразу понял, что и он стреляет, что пальцы автоматически заряжают винтовку, а глаз совмещает мушку и прорезь прицела и что фигурки внизу падают, наверно, и от его пуль.

Поступать, действовать во всю величину отпущенных природой сил — но удастся ли только грудь подставлять?..

Минувшим летом Соня Никитина, девочка совсем (кажется, и девятнадцати не было), ехала с Украины в Петербург, полный чемодан нелегальной литературы, в Курске вышла прогуляться по перрону: впереди состава, следом за паровозом, вагон с решетками на окнах, часовые у дверей, за решетками, в полутьме, движутся темные тени; не выдержала девочка, поклонилась низко — вагону, решеткам, теням — грудь подставила; ну, понятное дело, задержание, обыск, арест...

Мало ли, даже среди его знакомых (тоже многие — мальчики, девочки), людей с неукороченными чувствами и способностями, тех, кто с оружием в руках и — на верную смерть? Он отводит глаза, когда иной из приятелей, попросившись переночевать, перед сном быстро перекладывает револьвер из кармана брюк под подушку, и разве бедная Соня отказалась бы вместо книжечек и листовок везти в чемодане бомбу — за честь бы почла!..

Второе двадцатипятилетие его жизни началось страшным взрывом в подвале Зимнего дворца. Во втором этаже, в столовой комнате,

взрывом подняло пол, разбросало столы, выбило стекла, но царь и на этот раз остался цел — чудом. Высочайший обед, пишут в газетах, по случайному обстоятельству был отложен на полчаса. Пострадали низшие чины караульного лейб-гвардейского финляндского полка: десять убитых солдат, пятьдесят три раненых...

Гаршин не в силах поверить, что ужасное дело обдумано и подготовлено умными, серьезными, добрыми, пусть с револьвером в кармане, людьми (со многими из них он коротко знаком), людьми, способными подставить грудь. Он убежден, что это один кто-то, повинуясь своему единичному «я», взял на себя страшную ответственность. Каково-то было тому, одному, когда десять солдатских гробов поставили на общий катафалк?.. Но с противной стороны — в верхах, в «обществе», в прессе, — конечно, ненависть, вопли, подлое науськивание.

Чего только не пророчили в ожидании вчерашнего юбилея — девятнадцатого февраля! Город был наводнен слухами: девятнадцатого — точно известно! — взлетят на воздух Исаакиевский собор и Государственный банк; кроме того, минированы Невский проспект, Большая Морская, Фурштадтская; злоумышленники взорвут водопровод, газовые трубы, конечно, тоже, тут еще полиция нагнала панику: приказала на этот случай держать в домах наполненные водой баки и запас свечей.

Но день миновал совершенно благополучно, ничто не нарушило праздничного оживления, разве что унылый дождь мочил разноцветные полотнища, транспаранты, стены, окна, с которых смотрело на город все одно и то же число: двадцать пять...

20 февраля 1880. Лорис-Меликов

Ну, тара-бара — крута гора, пронесло!

Он, граф Лорис-Меликов, любит приговорки, прибаутки, словечки; скоро вся Россия будет их повторять.

Вчерашний день, когда в десять с четвертью государь вышел на балкон — кланяться народу, сердце, признаться, екало: а ну как найдется дурень!.. Пронесло! Теперь как по маслу пойдет, как по бархату!

Только погода премерзейшая, сырость; спина все время мерзнет...

Вчера был государев день и его, Лорис-Меликова, графа Михаила Тариеловича, день.

Все сердца обращены к нему, все надежды.

Народ. Отечество. Столица.

Пятого февраля всякому сделалось ясно: положиться не на кого. Общий ужас и уныние. Каково, однако, прославленное Третье отделение! Полвека только и разговоров что про Третье отделение. А государь (самодержец!) в собственной столовой не чувствует себя безо-

пасно! Злоумышленник проносит в подвал Зимнего два пуда динамита, поджигает шнур и преспокойно уходит, никому не известный.

Не опоздай принц Гессенский к обеду — страшно подумать! Солдат-финляндцев, конечно, жалко — зато всеобщая ненависть к убийцам.

Сейчас первое дело — привлечь к себе видимых, ублажить, обласкать, а тех, невидимых, и мытьем и катаньем принудить сложить оружие: э, ветка, глядишь, не больно крепка — отсохнет, отвалится.

С одной стороны, самые строгие меры для пресечения преступных действий, с другой — ограждение законных интересов благомыслящей части общества. Так он объявил пять дней назад в обращении к жителям столицы.

Всем, конечно, охота быть благонамеренной частью, иметь законные интересы, которые ограждает власть.

Господа «невидимые» уже пустили про него: волчья пасть и лисий хвост.

Что ж, он согласен: будет и необходимая твердость, и привлечение сердец.

Но впереди — борьба. Не одних «невидимых» в оборот взять. Другая забота — сломить сопротивление министров, недоброжелательство вельмож.

Когда — года не минуло — государь назначил его генерал-губернатором в Харьков, они его, Лорис-Меликова, учили уму-разуму: посади, застрели, сошли, повесь. Князем Кропоткиным его пугали — предшественником на губернаторском месте. Ночью, после бала, князь залез в карету, а какой-то дурень подошел, сунул револьвер в окошко и — кончал базар.

Это у него, у Лорис-Меликова, приговорка такая — кончал базар!

Трудно было удержаться: сажать-вешать не кого попадя — с разбором; ему Харьков выпал после того, как Соловьев в самом центре имперской столицы палил в государя.

Не успел он там показаться, явились к нему харьковские «верхи», вроде представляться, на самом деле — пугать прибежали; он вышел к ним запросто, в халате, с длинной трубкой — нарочно взял взамен крученой толстой папиросы, какие привык жечь с утра до ночи: тара-бара — крута гора, что, господа, за страхи, я спокоен, отдыхаю совершенно по-домашнему, вот трубочку курю (простить не могли!).

Он, и правда, не боялся, Лорис-Меликов, граф Михаил Тариелович: перед ним его слава бежала.

В Харькове к его приезду возвели триумфальную арку — надпись золотом: «Победителю Карса, чумы и всех сердец».

Он Карс брал штурмом, а вокруг твердили, что крепость неприступна; потом сделали его губернатором астраханским, самарским и саратовским, сам он в шутку именовал себя губернатором ветлян-

ским, весь смысл его назначения был в этой чертовой Ветлянке, где вдруг объявилась чума: боялись, что эпидемия двинется вверх по Волге и западнее — на Кавказ и Украину. Он обложил заразные губернии войсковыми кордонами, через охваченные болезнью станицы бесстрашно прикатил в Ветлянку — а ну, что за пистолет такой, эта ваша чума? — ввел строжайшие карантинные меры: мало, не дал эпидемии ходу — из четырех миллионов кредита потратил всего триста восемь тысяч, остальные возвратил казне, копейка в копейку.

Он всегда побеждал, никогда не боялся...

Одно дурно — познабливает, беспрерывно мурашки по спине... Это от сырости...

Он им сказал, там, в Харькове:

— Во время поры точи топоры, а пройдет пора, не надо и топора.

Они ему не простили.

Не могут понять: ежели благонамеренному человеку объявишь, что он не крамольник, это для него как награда — он из одной благодарности будет тебе истово верен; а скажи ему, благонамеренному, крамольник-де, крамольник, он, глядишь, в отчаянии и неспособности оправдаться до крайности дойдет. Он и государю сказал: не объединять всех с крамольниками, но объединить всех противу крамолы.

Теперь вожжи в его руках.

Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия — такой штуки прежде в России не было.

А он — главный начальник.

Государь так ему и объяснил: делай, Михаил Тариелович, что найдешь нужным, ничем тебя не стесню, можешь высочайшие повеления объявлять по личному усмотрению — но огради законное правление.

За глаза, а иные проныры и в глаза уже именуют его «диктатором», «вице-императором» даже.

Вчера, когда государь на балконе снял каску и помахивал султаном из перьев, тревожная, правду сказать, была минута. Он видел, как батареи, точно курильщик, равномерно обволакивались дымом — торжественный салют, сто один залп, видел, как Вурм, капельмейстер гвардейских хоров, подымал и опускал жезл, как несколько сотен барабанщиков взмахивали палочками и несколько сотен трубачей, надув щеки, устремили к небу до сияния надраенные трубы, но не слышал ни орудийного грома, ни грохота барабанов, ни пения гимна, все чудилось ему, что вот-вот, в тишине, которую он только и слышал, раздастся несильный щелчок. Потом он увидел, как государь снова водрузил на голову каску и, повернувшись к толпе спиной, удалился во внутренние покои, — и тут обрушился на него такой шум, гул, пение, гомон тысяч голосов — он едва на ногах устоял.

Еще он почувствовал, что из открытых дверей ужасно дуло — совсем закоченел...

Нет, что ни говори, вчерашний день, девятнадцатое, был его, Лорис-Меликова, день.

Это ведь не оправдание, что всего неделя как возложил на себя полномочия, теперь все взоры на него и только на него — народ, столица, отечество — теперь он один надежда, он и ответчик, — пронесло!

И государь цел и невредим, и водопровод, и Исаакий на месте, и Невский, и Большая Морская.

Вот он как раз сворачивает с Невского на Большую Морскую.

Дождь мелкий, осенний какой-то, шелестит по крыше кареты, снова будет мучить кашель, ну да шут с ней, с погодой, меньше народу будет шататься по улицам.

Дождь, впрочем, не помешал вчерашней иллюминации: по всему Невскому фонари заменили разноцветными звездами, всюду вензеля, приветственные надписи, цифры «25», составленные из лампочек, плошек, зеленых и желтых стаканчиков, такие же стаканчики и плошки пристроены на подоконниках, карнизах, даже на столбах коновязи, все спешили к фотографии Левицкого, где в витрине устроено ярчайшее электрическое солнце.

В театрах и увеселительных заведениях полно публики. По докладам полицейских и жандармских чинов, все в совершенном порядке. Праздник трехдневный — пусть гуляют.

Он, Лорис-Меликов, граф Михаил Тариелович, хочет начать среди веселья и бодрости, ему надоели перепуганные, унылые рожи.

Он обещал спокойствие — все спокойно.

Он так и чувствовал, что пронесет.

Никому не скажет, себе не говорит, потрохами знает: везун.

Везун он — граф Лорис-Меликов: в главную минуту беспременно ему повезет.

И под Карсом ему повезло, и когда в жестокий мороз полезли в горы брать Эрзерум, и четверть века тому, в первую его войну, там же, на Кавказском театре, и в Ветлянке чертовой, где чума его не подцепила.

Всюду, конечно, думать надо было, рассчитывать, действовать, но всякий раз уверен был — повезет!

В Ветлянке, когда вошел в наскоро мазанный, зловонный чумной барак, о смерти, ей-богу, не думал, но и такого не помышлял, чтобы через год в Петербурге — диктатор!

Теперь уговорить бы государя уехать в Лисино охотиться, хоть на неделю, — он бы послал с ним целый полк охраны, а сам без главной заботы прикинул что и как.

Но государь упрям.

Едва убедил его совершать утреннюю прогулку не в Летнем саду,

а в саду Аничкова дворца, окруженного казачьим караулом. Мог бы (между нами!) временно отказаться от прогулок. Впрочем, если взрывают в собственной столовой...

Или эти нынешние похороны... По случаю юбилейных торжеств вполне удобно было б не ехать...

Хоронили графиню Протасову, Наталью Дмитриевну, статс-даму императрицы, вдову известного генерала от кавалерии и обер-прокурора синода. Про супруга сказывали, будто предлагал государю Николаю Павловичу подвергнуть цензуре Евангелие от Луки — что-то в книжке казалось ему сомнительным; государь отвечал: «Иисуса Христа, я полагаю, можно пропускать в свет безбоязненно»; но графа любил и осыпал милостями. Дом вдовствующей графини был в городе один из первых. По вторникам весь «свет» столичный — к ней на чай. Графиня бледная, будто неживая, глаза без всякого выражения, целый вечер, как восковая фигура, во главе стола, вдруг пошевелит губами, что-то промолвит еле слышно. Следом и гости говорят едва не шепотом, ступают беззвучно по толстому Ковру, воздух ладаном, что ли, напитан или каким-то маслом ароматическим, скука несносная (Михаил Тариелович всякий раз сюда наведывался, наезжая в Петербург), зато *всех* увидишь, со *всеми* словцом перемолвишься.

Гроб провожали до вокзала, откуда поезд доставит прах усопшей к последнему пристанищу.

Государь твердо пожелал быть. За ним неизбежно потащился двор, министры. Экипажи медленно тянулись по Невскому у всех на виду. Стреляй — не хочу! В нынешнее время только лоб покажи — дурень с пистолетом найдется.

Но коли везет — так везет.

Пронесло... Проехало...

Кончал базар!

Все. Дома.

Только бы в комнатах натопили получше.

Крадут дрова или экономят?..

Скорей приказать кучеру откладывать лошадей — и в тепло. Да городовой, что отворил дверцу, пусть возьмет из кареты каску: такие султаны придумали — в экипаж никак не влезешь с каской на голове...

20 февраля 1880. Млодецкий

Он им докажет. Он им докажет!..

Только не мозолить глаза часовым, стоящим у подъезда, и гуляющим перед домом городовым...

Он очень рад, что он один, совершенно один. Он сам все сделает, в одиночку.

Он что — у них помощи просил? Он помощи не просил. Он просил *санкцию.*

Нет, так нет.

Все равно никто не поверит, что он был один.

Когда его возьмут, он скажет, что за ним двадцать тысяч таких же, как он, рядовых бойцов. Или — двадцать пять тысяч!

Тридцать пять тысяч!.. Он им скажет.

Что-то городовой на него поглядывает. Если приведут в участок — конец: тотчас установят, что в минувшем январе высылался из столицы как лицо подозрительное.

Пойти в сторону площади и быстренько вернуться обратно.

Но если карета попадется навстречу, он уже ее не догонит. Не успеет. Тут все минута решит.

Если бы их было двое, тогда другое дело: можно бы сменять друг друга, установить наблюдение.

Он один. Один как перст в этом городе.

Восемьсот шестьдесят тысяч жителей — и он, сам по себе, Ипполит Осипов Млодецкий, слуцкий мещанин, ныне проживающий нелегально в Галерной улице под фамилией Молодцов.

После пятого февраля он сразу понял, что ему надо быть в Петербурге. Спешил: девятнадцатое, уверен был, так не пройдет — что-то грянет!

Ничего не грянуло — только военные оркестры дудели в свои трубы да обыватели орали «ура» и махали из окон флагами.

Значит — вся надежда на него.

Он так им и объяснил: все берет на себя, от начала и до конца — *до самого конца;* он просит лишь разрешения действовать от общего имени. Правду сказать, он ждал — хоть напутствуют добрым словом. Он к ним не с улицы пришел. Ему в Вильне один надежнейший человек дал этот адрес. Всё: он забыл — что за человек, что за адрес. Не было ни человека, ни адреса, ни Вильны.

Он возвратился в Петербург, снял комнату на Галерной, пять дней, чтобы не навлекать подозрений, сидел почти безвылазно. Только за хлебом два раза вышел и за газетой. Хозяйке рассказал: учится в Технологическом, готовится к экзамену, до прошлой недели делил квартиру с товарищем — вдвоем дешевле, да товарищ возьми и женись. Он решил дожидаться юбилейных торжеств и поступить по обстоятельствам, но когда напечатали указ об учреждении Верховной комиссии и обращение Лорис-Меликова, сразу понял, что ему делать, — и пошел по адресу.

Долго петлял по улицам и дворам, заходил в подъезды на случай слежки, а сам подбирал в уме хорошие слова, складывал фразы, чтобы их убедить.

Он верил, что ему обрадуются.

Там, по адресу, оказалась девушка, курсистка, видом совершен-

но из благопристойной семьи, даже не стриженая — с косой, с круглыми серыми глазами первой ученицы.

Строго на него посмотрела:

— Я вас слушаю.

Он забыл приготовленные слова, что-то бормотал нескладно...

Городовой у подъезда определенно его приметил.

Пройти в переулок — благо, дом угловой, переждать две-три минуты. Из-за угла прекрасно видно.

Городовой приблизился к часовому, болтает о чем-то.

Другой часовой закурил папироску. Ничего себе! На посту!..

Курсистка молчала, только кивала нетерпеливо. Он обиделся: он не к такой спешил. Оборвал фразу на полуслове: «Прощайте». Девушка протянула ему руку:

— Завтра в шесть часов вечера в Казанском соборе.

Он удивился:

— Как я узнаю?..

— К вам подойдут...

Кажется, удача: со стороны Невского — колонна конной полиции.

Там какие-то важные похороны на Невском. Все у них перемешалось — юбилей, похороны...

Быстренько проскочить навстречу колонне, потом, под ее прикрытием, шагов двести обратно. Только поднять воротник, лицо спрятать. Дождь, сырость, в воздухе весной пахнет. А что? Через неделю весна; весны он, надо полагать, не увидит. Пальто насквозь промокло — ветхое пальтецо, шестой год не снимает. Сколько себя помнит, никогда не было денег. Минувшей осенью собрал восемнадцать рублей, отложил на крайний случай — и хорошо сделал: иначе не на что было бы вернуться в Петербург после высылки. Еще в Вильне проездом подхватил в благотворительном святодуховном братстве червонец. Хватило на задаток хозяйке, а полного расчета не будет...

Тот, в Казанском соборе, показался ему знакомым: темные, чуть навыкате глаза, пухлые красивые губы под небольшими усами — позже (там, в соборе, было не до воспоминаний), позже ему почудилось, вроде бы видел этого молодого человека на каком-то студенческом вечере — то ли пел он, то ли был устроителем концерта, а может быть, и вовсе не было никогда этого молодого человека — так, обман зрения, но в соборе, едва увидев, он про себя почему-то окрестил его — «певец».

— Санкции не будет, — сказал «певец» в ответ на его вопросительный взгляд, улыбаясь, точно сообщал что-то необыкновенно приятное.

Он закипятился:

— Но сейчас это самое главное!

«Певец» сильно сжал ему руку выше локтя, чтобы говорил тихо.

— Если желаете, действуйте самостоятельно.

— Я и не прошу помощи, я себя предлагаю...

— Санкции не будет, — «певец» улыбнулся и исчез в толпе.

Что ж, он желает действовать самостоятельно.

Обидно. Хоть бы слово доброе. Улыбался, как чужому. А он пять лет связан с движением, с тех пор как поступал в Технологический (поступить-то поступил — не имел средств учиться).

«Санкции не будет»... Им и дела нет до него, до его жертвы.

Он вышел из собора, под дождь, и кожей почувствовал вокруг пустоту этого огромного, холодного города...

Лошади конной полиции идут у самого края тротуара; он, правду сказать, лошадей побаивается; когда какая-нибудь, круто отворотив голову, с белой пеной на губах, оказывается возле его локтя, невольно отдергивает руку. Чушь — а ничего не может с собой поделать.

Прошлой осенью он жил в Царском Селе, домашним учителем у профессора Академии художеств Николая Егоровича Сверчкова, место было выгодное, с квартирой; профессор без конца писал сцены охоты и конские портреты — их ему заказывали даже высочайшие особы, большие деньги платили. Сверчков как-то спросил его, умеет ли он верхом, он отвечал, что нет, не умеет и вообще лошадей боится. Профессор посмотрел на него весело и, потирая толстый бритый затылок, сказал: коня чего бояться — все худое от человека.

Он сжимает в кармане револьвер, хороший револьвер, он этот револьвер украл в минском полицейском управлении у помощника пристава Лукьяненко.

Дело было в январе, когда его выслали из столицы. Тут он сам виноват. Задержали возле Зимнего дворца — заглядывал в окна подвального этажа. Кто ему теперь поверит — но у него тогда возникла мысль, что можно взорвать Зимний!..

Его отправили на родину, в Слуцк, но дорогой, в Минске, продержали восемь дней под арестом с целью выяснения личности; он же просил о дозволении остаться в городе для приискания подходящих занятий. Они сами предложили ему исполнять в полицейском управлении мелкую письменную работу, ночевать разрешили в той же камере, где спал арестантом.

С револьвером ему посчастливилось: Лукьяненко, уходя с дежурства, положил его в кобуре на подоконник для сменщика. Он револьвер взял, а кобуру оставил, чтобы дольше не хватились...

Надо бы снова пробраться в переулок — но что это: карета уже у самого крыльца, следом два верховых казака на вороных конях.

Ждал, ждал — и так неожиданно!

Он никогда не стрелял из револьвера, но, кажется, дело нехитрое: большим пальцем оттягивает курок, а указательный на спусковом крючке.

Теперь быстренько улицу перебежать.

Лорис-Меликов уже вылез из кареты, что-то говорит городовому, почтительно придерживающему отворенную дверцу; тот опирается ногой о ступеньку и зачем-то лезет внутрь экипажа.

Лорис-Меликов в застегнутой доверху шинели, но без каски.

Неторопливо поднимается по ступеням крыльца.

Часовые у двери берут на караул.

Второй городовой стал «смирно», отдает честь.

Верховые казаки, не спешиваясь, взъехали на тротуар, — лошади переступают ногами, крутят задом.

Как страшно — проскочить между конскими мордами.

Надо бы стрелять в грудь, но не успевает.

Разрывая карман пальто — хорошо, пальтецо ветхое, шестой год носит, — застрял что-то, — вытаскивает револьвер, сзади сует дулом в правый бок графа.

Какой он маленький, Лорис-Меликов, — обернулся: глаза вровень с его глазами — а ведь на крыльцо поднялся...

Дергает указательным пальцем крючок...

20 февраля 1880. Верещагин

Сукины дети все эти «их величества», эти наследники-цесаревичи и великокняжеские «высочества», все эти придворные «сиятельства», золоченые фазаны.

Он знал, что не обойдется дело без ругани, без травли, без яростной прицельной пальбы по нему — и что ж: четверти часа не прошло, как открылась выставка, в воздухе уже запахло порохом.

Все оттуда, сверху, свыше, ненависть кипящая, грязные намеки и вслух оскорбления, правда им глаза колет, им подавай величание, пой-хвали, как невесту, потчуй патокой, ладаном кури, не то съедят и костей не оставят; газетчики продажные так и прядут ушами, так и вынюхивают — ловят в воздухе высочайшие мнения, ахают, шепчутся, царапают карандашиками в карманных книжечках, — завтра пойдет скакать в газетах: «ужасы», «ложь», «клевета», «измена», где «героизм», где «величие», где «победы»!..

Где «правда о войне»?!

Да мало ли превосходнейших сюжетов — например, «Въезд его величества государя императора в Плоешти». Или «Въезд его высочества великого князя в Тырново». Или еще кого-нибудь из них еще куда-нибудь!

Какая сладостная правда!

Ведь и в самом деле — въезжали...

А он им пишет — бескрайнее мертвое поле, грозовое небо, готовое швырнуть на землю сухой, колючий снег, уложенные рядами

трупы убитых солдат, священника в черном облачении с дымящимся кадилом в руке — панихида...

В Париже господа российские доброжелатели толклись вокруг: ах, ах, при дворе мечтают приобрести ваши, Василий Васильич, работы.

Он им послал на пробу «Дорогу военнопленных» — заснеженный путь от Плевны к Дунаю, трупы — конечно же трупы! — на снегу, вороний пир, и на телеграфных проводах отдыхающие после сытной трапезы черные птицы.

Вот уж поистине: избави меня, боже, от друзей, а с врагами я сам разделаюсь!

Наверно, только лишней ненависти накликал.

Всего смешней, что господа доброжелатели ему в друзья наследника цесаревича записали.

Да его высочество имени верещагинского слышать не желает — с души воротит!

«Оскорбление национального самолюбия» — тут уж и впрямь до обвинений в «измене» недалеко.

Счеты давние.

Он не забыл, как наследник заставил его битый час торчать в приемной, а после выслал сказать, что ждет в другой раз. Точно у него есть охота и время шляться по передним. Хотя бы и царским...

И он после, в Париже, прослышав, что его высочество намеревается к нему в мастерскую, просил передать, чтобы не трудился.

Его живопись не для их высочеств!

Хотят купить картины, сохранить их России, — пусть платят назначенную цену; объясняться с ними относительно искусства он не собирается, учить себя никому не позволит.

А уж лакействовать, угождать!..

Это он-то, Верещагин!..

Они видеть не хотят, что мир меняется, что «благородство» для человечества все меньше кастовое понятие, что оно прежде всего мысли и поступки каждого человека.

Их «благородия»!..

Как же, купят они его картины! Гроша не истратят для отечества, о котором на словах пекутся, все себе в карман!

Загвоздка ведь в чем? Жалко распылять серии — индийскую или из войны семьдесят седьмого года. Не возьмут вместе — разлетятся картины поштучно: разные коллекции, страны разные...

Ему-то стократ приятнее, чтобы нашелся купец — не дворец, да где такого купца добудешь!

Есть один — Третьяков: жмется — дорого, не по карману.

А возможно ли уступить?

Разве не известно Павлу Михайловичу, чего ему ст*о*ит всякая работа? Он не машина по изготовлению холстов. Он ни фигурки,

ни деревца, ни камешка какого-нибудь не напишет из головы или по слуху. Все — подлинное.

Он — из конца в конец по белу свету, всегда в гуще: если гора — он на высоте пятнадцати тысяч футов, если пустыня — в знойных и зыбучих песках, если война — непременно в бою.

Был ли когда такой художник и будет ли?

Наверно, еще целое столетие не будет такого.

Но поездки, занятия, самые мысли, потому что он не спешит перекладывать их на полотно, — все кусается, требует денег.

Вся надежда на эту выставку, и если оптового покупателя не найдется, он аукцион устроит, пустит серии в розницу, — ему жить и жить, ему работать надо, планы у него всемирные!..

Полтора месяца назад, в Париже, эту же выставку брали с боя, масса народа, залы полны, окрестные улицы заставлены экипажами, успех громадный. В день открытия выставки Иван Сергеевич Тургенев послал письмо в парижскую газету, назвал его самым своеобразным художником из всех, каких произвела Россия.

Иван Сергеевич теперь в Петербурге, говорили — нездоров, надо бы навестить.

С Тургеневым ему просто.

Рассказывает много и увлекательно; голос тонкий, добрая улыбка. Не обидчив. Едва познакомились, он сразу выпалил Тургеневу: «Отцы и дети» — вещь громадная, а «Новь» невозможно дочитать, читал — бранился и бросил. Тургенев сильно смеялся (голос высокий, пронзительный — при таком-то величественном облике), потом заговорил о скромном своем месте среди русских писателей — то ли дело Лев Толстой. Скромность Ивана Сергеевича была ни к чему — он ему так и сказал. Люди в романах и рассказах Тургенева, по большей части, живут, действуют и умирают естественно — такое немногим доступно. Иван Сергеевич заулыбался, порозовел.

Надо, надо навестить старика.

С Львом Толстым на днях, не познакомившись, разошелся.

В двадцатых числах января Стасов ему сообщил: Лев Николаевич в Питере и желает с ним, с Верещагиным, встретиться — не соблаговолите ли прийти на другой день и в такой-то час в Публичную библиотеку. Другому бы он сразу — знакомиться с знаменитостями не бегаю (он когда-то эдак и на предложение Ивана Сергеевича отрезал, пока случай не выпал сойтись по-настоящему), но тут не хватило сил отказаться — Лев Толстой!

Два часа в Публичке вели со Стасовым разговоры о том, о сем, а «великий Лев» (Стасов этак Толстого именует) не изволил появиться. Ну, такого он никому не спускает, ниж*е* великому Льву!

Письмом объявил ему, что считает его поступок крайне невежливым. Стасова тоже отругал; этот, ясное дело, раскипятился — поссорились.

Но когда начнут по нему палить, Стасов не выдержит, конечно, вступится.

А схватка, по всему видно, ждать себя не заставит.

Эти фазаны и выставки не видели, уже рассвирепели — от надписей на картинах, от каталога с примечаниями. Каждое словечко прочитано, списано, о каждом донесено — до самого верху.

Как же, как же, на выставке в Париже к названию картины «Под Плевной» сделано было пояснение: «Царские именины».

Снять, убрать и думать не сметь!

Он написал царя со свитой на макушке холма — где-то вдали невидимый, но известно, что проигранный бой — тридцатого августа под Плевной погнали заведомо на смерть людей, дабы отметить сражением тезоименитство его величества, — *эти* с холма наблюдают за гибелью сотен людей, точно за маневрами оловянных солдатиков.

И после *такого* корят его, Верещагина, будто он придумал «ужасы войны».

Там, вдали, клубы порохового дыма, а на «закусочной горе» — так ее солдаты прозвали — только пробки от шампанского хлопали.

Написать бы пирамиду пустых бутылок возле этой горы.

Получилось бы, право, не слабее написанной им некогда знаменитой пирамиды черепов.

Была такая бутылочная пирамида — сам видел! Тоже — «апофеоз войны»!..

Еще до открытия выставки — шепоток: одно запретят, другое...

Ну да ведь и он не дает им спуску.

Шесть лет назад, когда показывал в Петербурге туркестанские полотна, наследник перелез через веревку, протянутую вдоль стены, — поглядеть поближе, он ему крикнул, как мальчишке: «Не разрешаю!»

Все он от них уже слышал, тогда, шесть лет назад, — и про «ужасы», и про «клевету», и про «измену».

Он тогда три любимые картины с выставки снял и сжег.

Полоснул ножом вдоль, поперек — и в печь.

Это в ответ им — сиятельствам, высочествам, величествам, фазанам золоченым!

Как пощечина!

Он на их стыд-совесть не рассчитывал.

Но с оплеухой их оставил.

Сжег — и все!..

20 февраля 1880. Гаршин

Все кажется, Верещагин выше ростом тех, кто окружает его, — то ли это выправка, отличная, командирская, то ли манера держать голову величественно поднятой, даже слегка откинутой назад, ост-

рый взгляд небольших глаз не ищет лиц, почтительно к нему обращенных, будто свысока высматривает что-то в дальних углах залы, и над толпой, плотно обступившей художника, — его огромный, точно белого мрамора лоб.

Знакомый газетчик подхватывает под руку: «Пойдемте, пойдемте, Всеволод Михайлович, я вас Верещагину представлю!» Аккуратно освобождается: «Благодарю вас, я не ищу знакомств»; минуту спустя шустрый газетчик, как об утес, бьется об окружившую Верещагина толпу, даже и вскрикивает что-то вроде: «И я! И я!» — просто Бобчинский.

На улице, у подъезда, полно народу, хорошо, в «Русских ведомостях» дали ему билет как собственному корреспонденту: опять взялся за старое — два года не писал статей о художественных выставках, теперь Глеб Иванович Успенский его уговорил, пристроил в эти самые «Ведомости», за последний месяц написал для них две статьи — обе напечатали.

Верещагин рассказывает что-то — голос резкий, металлический.

В бескрайнем поле, на пожухлой траве, лицом в грозное серо-лиловое небо, лежат убитые, печальный священник служит по ним панихиду.

...В конце войны он приковылял в Петербург — сил не было раненым героем и вкусившим первой славы писателем валяться на диване у матери в Харькове, принимать депутации знакомых и незнакомых, выслушивать восторги и по всякому поводу горделиво выносить приговор — сил не было жизнь проводить в спокойствии, на мягком диване, — он схватился и в Петербург, простреленная нога еще болела и худо слушалась, он опирался на палку.

Утром того же дня государь с театра войны возвратился в столицу, на главных улицах флаги, ковры, красное сукно с горностаевой опушкой, несмотря на мороз — цветы, гирлянды, арки, со всех сторон два слова: «Плевна — Карс», «Карс — Плевна», даже браслет какой-то пошлый придумали — публика расхватывала — две половинки из разного металла, на одной выведено «Карс», на другой — «Плевна».

В газетах, в шумных статьях победных — лихие подсчеты: выбывших из строя семьдесят тысяч, что при среднем числе сражавшихся в триста пятьдесят — всего двадцать процентов.

Всего двадцать!

Всего-ничего!..

Будто косточки на счетах весело стучат.

Ах, косточки солдатские, приняла вас сыра земля!..

В Харькове, в знакомом семействе, дядюшка, статистик знаменитый, за горячим капустным пирогом: «В нынешнем году естественное приращение ожидается в двести пятьдесят тысяч младенцев мужеска пола» — и на пирог маслица — «таким образом потери даже в четверть миллиона не затронут основной цифры народонаселения,

ура!» — и на вилке кусок пирога капустного с расплавленным потекшим маслицем в рот победным восклицательным знаком.

Не сдержался, бросил вилку (звякнула сердито о тарелку) — и, приподнявшись с места, дядюшке чужому, ученому статистику, в подстриженную бородку, в губы масляные, в серебряные плевочки очков: «Самая малая цифра потерь — убит один. Но если этот один — я или вы...»

Дядюшка, дожевывая, замахал руками: «Полно, полно, батенька, это уж, изволите видеть, риторическая фигура...»

Он не мог больше сдерживаться — либо зарыдать, либо над дымящимся ароматным пирогом (только бы аппетит им испортить): «Когда под жарким солнцем труп одного убитого, мой или ваш, раздувается, как шар, пока не лопнет кожа, а под ней уже копошатся черви, вот тогда, милостивый государь, это в самом деле — фигура!.. Я такое видел!»

Потом он рассказ написал, «Трус», там герой едва с ума не сходит, читая военные сводки; другие радуются, что потери незначительны, а он укладывает мысленно плечо к плечу двенадцать тысяч павших под Плевной и видит страшную дорогу в восемь верст длиной...

Теперь это на холсте у Верещагина — убитые рядами, в чистом поле, на пожухлой траве...

Крамской Иван Николаевич появляется в зале, быстрой походкой от двери — к одной из картин, постоял, отошел, долго смотрел издали, снова приблизился, на корточки присел, вглядываясь во что-то для него важное. Вот выпрямился и застыл, сжимая в руке бородку.

Шустрый газетчик тут как тут, привстает на носки, дышит в ухо: «Вон Крамской — хотите представлю?»

— Благодарю вас, я картину смотрю.

— И-и, сударь мой, ежели на выставке одни картины смотреть, что про нее писать-то будете!..

Ускакал, слава богу.

Крамской вдруг повернулся к нему, смотрит неуверенно, вспоминает, знакомы, не знакомы, на всякий случай кивает приветливо.

То-то и оно, что знакомы — не знакомы.

Столкнутся случайно, вот этак, на выставке, друг другу не представлены, первому и поздороваться не совсем ловко — подумает, набиваюсь в приятели.

В ответ — дело другое: не совестно поклониться.

Ах, знал бы Иван Николаевич, какая крепкая нитка между ними, просто даже артерия — жаркая, живая кровь!

Ивану Николаевичу и неведомо, что не кто иной, как Гаршин два года тому прислал ему письмо без подписи (только адрес указал) —

о впечатлении, которое сделал на него «Христос в пустыне», и о том, как он, Гаршин, эту картину понял.

Не ведает Иван Николаевич, что не кому иному, как Гаршину, отвечал горячей исповедью — без утайки рассказывал о себе, о творчестве своем, о картине — «Христе», о том, что художник всех менее может объяснить себе и другим, *что* же на самом-то деле создал.

Случай был познакомиться с Крамским, глядишь, и подружиться, но что-то, что выше понимания, его удерживает, — стыдно как-то, пользуясь славой, случаем, искать знакомств с генералами от искусства — и зачем? Не художник для него главное, а этот человек, сидящий на сером камне в бесплодной пустыне. О герое картины не утихают споры — божественное в нем преобладает или современный человек. Сам Крамской в ответе-исповеди так и бухнул: «Это не Христос!», но для него, для Гаршина, всего важнее, что человек на камне, раз увиденный, после тревожит совесть, встает призраком, не к смирению зовет — к деятельности наступающей, зовет ненавидеть зло и бороться с ним. Есть минута в жизни каждого человека — Крамской отвечал — когда на него находит раздумье: пойти ли направо или налево, поступиться совестью или не уступать ни шага злу, — вот что для него, для Гаршина, всего дороже...

Опять показался Верещагин — над густой толпой белый мраморный лоб, тонкий орлиный нос, взгляд поверх голов куда-то вдаль.

Единственный раз он, Гаршин, видел Верещагина шесть лет назад, в марте семьдесят четвертого, тогда открылась в Петербурге первая выставка художника — туркестанские картины.

Что делалось!..

Толпы у здания министерства внутренних дел, где были вывешены полотна, толпы на улице, в подъезде, на широкой лестнице; люди часами ждали, чтобы с улицы — в подъезд, чтобы вверх по лестнице хоть на ступеньку подняться.

Уходили в поту, истерзанные, так и не проникнув в святая святых, и назавтра — снова сюда, и послезавтра, и на третий день, и вот, наконец, счастливец переступал порог — Средняя Азия.

Залитая солнцем Средняя Азия — знойное небо, знойные пески, гробницы и минареты, изукрашенные миражным небесно-песочным орнаментом, странная неподвижность поз, смуглота выразительно-непроницаемых лиц, размеренная леность движений.

И — залитая кровью Средняя Азия. Небо, помутневшее от взвихренного копытами песка... Отрубленные головы на частоколе вокруг гробниц и минаретов. Резкие движения рубящих всадников, искаженные битвой лица... Смертельно раненный, сжимая пальцами кровавую рану на груди, еще бежит навстречу неприятелю... Сраженный солдат, забытый на поле боя, в горячих песках, — воронье над ним кружит, а на раме резьбою печальная песня: «Ты скажи моей молодой вдове, что женился я на другой жене, нас сосватала сабля

острая, положила спать мать сыра земля...» И всему финалом — «Апофеоз войны» — груда черепов в пустыне. А на раме: «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим»...

Была весна семьдесят четвертого. Он ходил в последний класс гимназии, преобразованной недавно в реальное училище, неумолимо грядущие экзамены, на каждом из которых верный шанс срезаться, очень его томили. Свирепый учитель математики, постукивая мелом, быстро покрывал формулами черную блестящую поверхность доски и загодя сулил ему, как, впрочем, и остальным, верную единицу по тригонометрии. Вдобавок — полнейшая невнятность будущего: из реального в университет не берут, только в технические заведения, а у него если есть к чему привязанность, то лишь к литературе и наукам естественным. Гимназические годы тянулись для него невыносимо долго: он устал от учения, еще больше был измучен казенными пансионами и углами с обедами у знакомых, невозможностью побыть одному, необходимостью давать отчеты чужим людям и выслушивать их советы. Унылые мысли не покидали его ни на минуту; занятый ими, он не замечал сжимавшей его со всех сторон толпы; он стоял на лестнице, душной от запаха пропитанных сыростью пальто, сзади и снизу его подталкивали, вверх, вверх, он машинально переставлял ногу со ступеньки на ступеньку, пока выскочившей из дула пулей вдруг не влетел в ярко освещенную залу. Мимо него быстрым шагом прошел какой-то человек — высокий белый лоб, встрепанная борода, военная осанка, следом, едва поспевая, спешил невысокий генерал в золотых эполетах, тот, что шел впереди, сердито оглядываясь на генерала, выкрикивал резкие, металлические слова.

...Но тут он увидел взметнувшуюся в выгоревшее небо пыль, яростно несущихся всадников, небольшой русский отряд, застигнутый врасплох среди пустыни и запоздало бросившийся в ружье.

Тут он этого «Забытого» увидел — и над ним стаю хищных птиц, черными крестами исчеркавших воздух.

Тут он, юноша, реалист, впервые войну увидел.

А прежде были картинки в иллюстрированных журналах — бутафорские битвы, «смешались в кучу кони, люди», героические позы воинов-богатырей и красивые лошадиные ляжки.

Теперь, всеми забытый, раскинув руки, он сам — казалось — лежал на земле, громко хлопали жестяные крылья птиц, обдавали горячим воздухом его похолодевшее лицо, сквозь разорванную сабельным ударом рубаху он чувствовал цепкие прикосновения их когтей, удары крепких клювов.

А вокруг толпа хороводила... Разговорчивый румяный офицер объяснял своей даме, как «натурально» халаты нарисованы, и вообще всякая подробность «совсем живая». Дама соглашалась и каждую

минуту ахала. Чиновник с орденом на шее неспешно и значительно подносил к глазам лорнет. Бойкая институтка вертела головой по сторонам, не задерживая взгляд на картинах; толстая ее мамаша делала ей замечания по-французски...

Ему вдруг почудилось, что он — Лермонтов.

«Как часто, пестрою толпою окружен...»

Он медленно огляделся, он чувствовал, что глаза у него темные и блестят и что в глазах слезы.

Чиновник важно стоял, выкатив брюшко и заложив руки за спину, толковал про живописную технику.

Мамаша в бархатной черной шляпе с огромными полями тормошила институтку: «Ну, смотри же!..»

Он был Лермонтов, он был одинок и поэт.

В голове его стучались стихи — о бездельной толпе с ее жалкими, коротенькими чувствами среди холстов, на которых была смерть.

«Я не увидел в них эффектного эскизца, увидел смерть, услышал вопль людей, измученных убийством...» Дома он стихи записал, поправил и переписал набело, подумал даже — не в газету ли, а ну как тиснут, но что-то, он чувствовал, не ладилось у него со стихами — с этими и с другими, — что-то хлябало, железный стих не получался, совестно было печатать, так и остались строчки — для себя.

А потом пошло-полетело по городу: Верещагин лжет, искажает, клевещет, как только он посмел *такое,* помилуйте, да он и не патриот вовсе, а следом, прежние разговоры накрывая: Верещагин казнь устроил — три картины сжег, с выставки снял и сжег, любимого «Забытого» сжег!

Горько, страшно — картины сжег!

И гордость тайная: что за человек непреклонный, могучий!

И слова верещагинские по городу загуляли: «Я дал им плюху!» Оплеуху дал. *Им.*

Сгорела картина, но *забытый* остался: он, Гаршин, сам его видел, три года спустя, летом семьдесят седьмого, — дело было на болгарском театре войны, недалеко от деревни Коцелево.

Во время Ессерджийского боя их рота оставалась на аванпостах, потери немалые — сменить некем, стояли трое суток, еду не подвозили — ели сухари, да сливы, прямо с веток, да мед, найденный в заброшенном селении. Но другим тяжелее досталось — с правого фланга, где пушки гулко ахали и ружейный огонь, поначалу редкий, похожий на удары топора, слился в протяжный вой, брели и ползли окровавленные люди: «Братцы, братцы!» — «Много побили?» — «Так и валятся!»

После боя на пятый день роту послали хоронить убитых: в густом кустарнике на месте сражения они набрели на раненого — на забытого набрели.

Пять дней лежал с перебитыми ногами, никем не видимый, крикнуть страшился — не приведи господь, в плен попадешь!

Василий Арсеньев забытого звали: лицо, дочерна сожженное пылающим солнцем, брови белые и белые усы.

Ему дали водки, он хватал за руки санитаров, перекладывавших его на носилки, повторяя: «Теперь живу, теперь живу...»

Пять дней Арсеньев воду пил из фляги, снятой им с им же убитого турка, — это, помнится, всего острей поразило...

В тот день они видели разложившиеся под солнцем трупы, с которых сползло мясо, обнажив сверкающе белые кости черепа, — чем не «апофеоз войны»!..

Верещагин остановился посреди залы, громко рассказывает что-то окружающим.

Крамской светлыми, как льдинки, глубоко запавшими глазами взглядывает на него внимательно раз, другой, потом неторопливо и вроде бы неуверенно движется в его сторону. Толпа расступается, пропускает его. Верещагин коротко ему кивает, не прерывая рассказа. Все хохочут. Крамской, улыбаясь, покачивает головой — ну, это уже, дескать, слишком! — достает из кармана сложенный платок, прикладывает ко лбу, к щекам.

Шустрый газетчик опять здесь — черкает карандашиком в каталоге.

— Ну, насмешил Василий Васильевич! Его ломают — снимай надписи с картин да свои заметки из каталога, а он — скажите спасибо, что я только это написал! Да про каждый сюжет такие постскриптумы — обсмеешься!

Тянется к уху:

— В Париже на выставке к «Плевне»-то пришпилил: «Царские именины»!..

Гаршин тоже слыхал про «именины».

Перед ним на холсте — царь со свитой, клубы дыма за горизонтом, скошенным склоном холма; горизонт точно разделяет мир надвое.

...Жары тем военным летом семьдесят седьмого стояли страшные, в походе солдаты десятками падали в дорожную пыль, сваленные солнечным ударом, всего дороже была минута привала, тень от чахлого куста, глоток бурой воды из колодца, до грязи вычерпнутого прошедшими впереди полками.

Однажды в Валахии их подняли с привала, приказали надеть белые рубахи, бегом, бегом — без оружия — повели к железной дороге и построили в две шеренги вдоль полотна. «Государь! Государь! Государь император проедет!» — прокатилось по рядам, а скоро и батальонный, маленький бородатый майор, бодро взбежав на насыпь, крикнул звучным, веселым голосом:

— Ребята! Государь император проедет!

Ждали часа полтора, пока завидели вдали рваный серый дымок. Майор опять выскочил вперед: «Равняйсь! Смирно!» — и под носом у паровоза кубарем скатился с насыпи.

Первый поезд оказался с царской прислугой.

Повара и поварята в белых колпаках выглядывали из окон, показывали пальцем на солдат и отчего-то смеялись.

А следом, саженях в двухстах, уже *его* поезд — погромыхивая на стыках, крутились перед глазами колеса, бежали зеленые вагоны — окна наглухо запечатаны занавесками, машинист, увидев растянувшуюся более чем на версту бригаду, поначалу снизил ход, но скоро снова стал прибавлять, вот и последний вагон промелькнул, на задней площадке казак-часовой с длинной шашкой на боку расставил ноги, рукою держится за поручень.

«Кругом! В колонну по четыре! Стройсь!» — и еще что-то кричал майор, уже снова стоя на рельсах, дрожавших и гудевших. «В ружье!» — кричали офицеры, торопливо вышагивая вдоль строя. Он быстро схватил свою винтовку № 18635 с длинной царапиной по темному лаку приклада; трубачи играют поход; «Ша-гом, — скомандовал ротный, — марш!..»

— Случай удобный, Всеволод Михайлович, — шепчет газетчик-доброжелатель, — и Верещагин и Крамской, оба разом, право, пошли, представлю?

Хоть плачь.

— Да на что?.. Помилуйте... — чувствует, голос ломкий.

— Да как на что, коли случай есть представиться!..

Просто Бобчинский.

...Царский смотр был им в Плоешти.

Государь на сером коне, в простом мундире и белой фуражке.

Они шли перед ним как были, с похода, в грязных белых рубахах, в разбитых, добела пропыленных сапогах, с тяжелыми ранцами и привязанными к ним на веревочках бутылками, куда набирали воду из редких фонтанов и колодцев.

Шли сперва небыстро, стараясь держать равнение и шаг, но, постепенно одушевляясь, зашагали свободнее, и вот уже вырвавшееся из чьей-то груди «ура!», кто-то, не выдержав, пускается бегом, и вот один срывает шапку и машет ею над головой, другой подымает вверх винтовку, — и он, вольноопределяющийся Гаршин, вдруг чувствует, что и он бежит, уже неразделимый с этой катящейся массой, и кричит «ура!», и шапкой машет, и рука, сжимающая винтовку № 18635, вскинута над головой...

Может быть, это и есть общая жизнь, вот так бежать, ни о чем не спрашивая, не задумываясь «куда?», бежать со всеми, как все, с чистой душой и спокойной совестью?..

Лежат солдаты долгими рядами в чистом поле...

— Достанется Василь Васильичу на орехи! — весело говорит опять

точно из-под пола вынырнувший газетчик. — Ох, ругать будем — ничего не поделаешь! Надо же: войну выиграли, а он эдакое понавыставил. Возмутительное дело!

Ай да Бобчинский!..

20 февраля 1880. Лорис-Меликов

Ну, выдался денек!

Он, когда почувствовал удар в бок, ничего не понял — задумался о чем-то; выстрела не слышал, только ошпарило, будто кипятком плеснули.

Увидел: городовой, дворник к нему бегут, часовой взял винтовку наперевес, казаки спешиваются.

Городовой, болван, пока стреляли, честь отдавал, ладонь под козырек, ел глазами начальство.

Лишь бы по форме, а начальство убивают в это время.

Издать приказ, запрещающий чинам полиции отдавать честь на посту...

Он не ждал, пока подбегут городовые, казаки, — резко обернулся: такое жалкое лицо перед собой увидел, прямо перед глазами.

Бледное — голодный, наверно, подлец! — бородка рыжая.

Он его кулаком по башке, подлеца этого.

— Негодяй, разве я могу погибнуть от такой пули!

Он сразу понял, что не убит, не ранен даже, что опять пронесло.

Из двери навстречу — управляющий его канцелярией, прекрасный молодой человек, профессорский сын и либерал, любую мысль — только дай — так, этак разовьет, и все довольны; он профессорского сына больше года держит при себе неотлучно, именует: «состоящий при мне» — такому чину и генерал позавидует!

Он — «состоящему при нем» сразу:

— Первая за всю жизнь пуля сзади, остальные грудью встречал!

Так хорошо сказалось — пусть развивает.

Там внизу, на тротуаре, повалили этого дурня, лупили впятером или вшестером, городовой, болван, проморгал злодея, а теперь больше всех старался — сапогом.

Он приказал «состоящему при нем»:

— Следствие по всей форме. И не мешкать. Одна нога здесь, другая давно здесь. Пока болтать начнут, все кончено. О враче не хлопочи: я старый солдат, знаю, что невредим.

Ну, дурень: изловчиться надо — в упор не попал.

Прежде, поди, револьвера не видал, стрелок!

Ах, везун, граф Михаил Тариелович, ах, везун!

Злодея подняли с земли — с виду некрепок, волосы густые, темные, а усы и бородка рыжеватые, жиденькие, точно от другого человека прилеплены.

Шапка с него слетела, пальтецо распахнулось.

Казаки заломили ему руки за спину; дворник держит повода коней.

Хороши лошадки, красавцы вороные!

Приказал до следствия отвести арестованного в швейцарскую или дворницкую.

Злодей подергал разбитыми губами — хотел улыбнуться:

— Застегните мне пальто, так простудиться можно.

Историческую фразу норовил произнести, сукин сын!

В прихожей сбросил на руки швейцару шинель, подошел к зеркалу — вот он, начальник Верховной распорядительной, диктатор всероссийский, во весь рост. Ростом, прямо сказать, душа моя, не вышел. Зато остальное, как говорится, при нем.

Поджар, подвижен, лицо смуглое, пожалуй, и красивое, прическа, пышные усы, бакенбарды черные с проседью — перец с солью — придают прелести, глаза небольшие, зато взгляд умный, внимательный.

Может быть, только худоба излишняя?

Это — от легких, от чертовой простуды постоянной.

Забавно: в карете знобило, а как пошли по нему палить, и про холод позабыл.

Сказать, однако, чтобы натопили получше.

Сменить мундир — и ехать самому доложить государю.

На правом боку пуля-дура на два вершка сукно порвала.

Горячо было, близко — пронесло, тара-бара...

Как раз бы легкое пробила или там почку-печенку какую-нибудь.

Когда всю жизнь под пулями ходишь, лучше про эти органы не знать ничего. Э, лучше думать, будто соломой набит!

Решил мундир не менять — пусть все видят, пусть государь видит!

Не угодно ли кому на мое место, господа?

Это одно.

Только граф Лорис-Меликов не вам чета — его и пуля в упор не берет!

Это другое.

Повезло, крута гора: убивали — не убили.

Господа консерваторы, господа либералы — куда ни повернись: удача!

В разорванном мундире отправился во дворец.

Государь горячо руку пожимал, горячие слова говорил, просил не милосердничать.

Он отвечал: как суд решит, ваше величество.

Вернулся от государя — дома столпотворение: весь город явился — поздравляют с благополучным избавлением. Даже великие князья и княгини пожаловали.

Так и ходил в простреленном мундире.

До поздней ночи жег свои крученые папиросы, рассказывал весело, как дело было.

Он им шутку придумал: каков дурень — в упор сумел меня не убить!

Весь вечер ходил прямо, глядел браво, как еще в юности, в школе гвардейских прапорщиков, учили, — министрам, князьям, послам, как бы невзначай, от полноты чувства, «ты» говорил, «душа моя», говорил, «отец родной».

Мало что не морщились — радовались!

Вот он каков теперь, Лорис-Меликов, граф Михаил Тариелович!

Все равно весь вечер на себя злился: как негодяя не заметил, как мог допустить, чтобы в упор, дулом в бок!

Это он в карете замечтался: пронесло... государь... юбилей...

Был бы ему юбилей — в легкое навылет!

Покойный отец, умница (едва умел фамилию подписать, а с заграницей торговал), учил: прибыль — не прибыль, пока деньги в карман не положены.

Во всероссийском масштабе показать, и тем и этим, что не для мечтаний власть в руки взял.

С одной стороны гукают: «Огонь!», с другой верещат, что воробьи: «Дайте нам хоть куцую, но только конституцию» (сляпали уже стишок!), — не для того в него стреляли, чтобы он тем-этим уступал...

Около половины двенадцатого ночи привезли от прокурора судебной палаты обвинительный акт — молодцы, справились в два счета, при Лорис-Меликове, господа, волокиты не будет: не виноват, гуляй, никого не бойся, сунул голову в петлю, затянем в тот же миг.

«Состоящий при нем» шепнул, чтобы пройти в маленький кабинет — гости туда не заглядывают.

В маленьком форточку — прохвосты — оставили открытую, так и садит от окна.

Пробежал глазами поданные бумаги: обвинение составлено толково, приговор как божий день ясен, «состоящий при нем» сообщил, смущаясь, — просили передать, что за палачом уже послано в Москву.

Он сказал (пусть там, перед гостями, разовьет мысль): пожалей меня, душа моя, в этом деле я не только начальник комиссии, еще и пострадавший, каково мне решать.

Привыкли потягуши разводить — в Москву за палачом: приказать бы ребятушкам из его охраны, сами все охотно исполнят.

Ладно: где тут подписывать, давай, душа моя, перо, кончал базар!..

20 февраля 1880. Иван Сергеевич Тургенев

Ноги болят, и этот кислый ржаной привкус во рту, должно быть, от искусственных зубов, — надо бы гвоздичку пожевать... Горюй, не горюй, а перевалило за шестьдесят — старость окончательная.

Нелепость, конечно, — рвался в Петербург, строил планы, а едва приехал, прикинулась проклятая подагра, две недели бездействовал, лежа в меблированных комнатах Квернера на углу Невского и Малой Морской, без костылей шагу не ступить, глотал жозефовы капсули по девять за раз (мерзость!), и думы одолевали тягостные...

Пять дней как выходит. Два раза в театре был — Савину смотрел, несравненную Марию Гавриловну. Девятнадцатого февраля торжественно отобедал по случаю очередной годовщины крестьянского освобождения. В речи говорил о кулаке, который плодится в деревне, что грибы после дождя, нещадно угнетает и грабит крестьянина, про стальную кулацкую хватку — зацепил, так уж зубы не разожмет. Слушали, как всегда, с почтительным вниманием, аплодировали, но, он чувствовал, слова летели мимо. Он знал эту снисходительность к нему, искреннюю, горячую, но снисходительность к Ивану Сергеевичу Тургеневу, в общем-то парижскому барину, представляющему русскую деревню по собственным «Запискам охотника», — он не слишком уважал суждения этих господ и все-таки обижался.

Как дети, играя, перебрасывают один другому мячик, так противодействующие силы в той борьбе, которая происходила в России, перебрасывали его, старого человека и писателя, или друг у друга отнимали, совершенно не желая прислушиваться к собственным его словам и объяснениям.

Год назад, в прошлый его приезд в отечество, его осыпали овациями Москва и Петербург, профессора, вполне благонамеренные, и самая что ни на есть «нигилистическая» молодежь, главное — молодежь, от которой веяло бодростью, надеждой, что будущее России, что бы ей ни выпало еще претерпеть, устроится к лучшему. Прежде молодежь многажды на него обижалась — из-за «Дыма», из-за «Нови» — все вычитывала в его романах нечто чуждое, противное своим взглядам и устремлениям; отныне все иначе. Его славно чествовали в тот, прошлый, приезд, и дело не в лавровых венках, не в адресах, не в овациях, хотя, что скрывать, грели сердце: люди будущего верили ему, протягивали ему руки — вот что было всего дороже.

Он покинул тогда Россию с жгучим чувством сострадания к этой прекрасной молодежи, которая задыхается от недостатка воздуха, как птица под пневматическим колоколом, он хотел верить, что найдет она, эта молодежь, мирные и ясные пути борьбы. Но едва

возвратился в Париж — безумный выстрел Соловьева; государь, слава богу, остался невредим, но какой случай колоть глаза всем, кто ждет перемен; а пока терпеливые ждут, молодых и нетерпеливых вешают чуть не дюжинами.

Минувшей осенью в парижской «Le Temps» печатался очерк одного из таких молодых людей, просидевшего четыре года в одиночном заключении, он предпослал очерку небольшое письмо — что началось! А все письмо — двадцать строк, и в нем яснее ясного: убеждений этих молодых людей он не разделяет, но уверен, что они не так ожесточены, как их хотят представить.

Он уже собирался ехать в Россию, когда явился подлый донос в «Московских ведомостях»: Тургенев-де своею аттестациею признал правым «гнусное дело» нигилистов. Пришлось отвечать: без публичного изложения своих убеждений появляться в России он ни в коем случае не желал. Он отвечал: никогда не кувыркался, не заискивал — вот уже сорок лет «постепеновец», противник революций, ожидающий благодатных реформ; в последнее время не он шел к молодому поколению, молодое поколение шло к нему, это ему дорого, тут видит он сочувствие молодежи к его неизменным убеждениям.

Петербург встретил его взрывом в Зимнем дворце пятого февраля. Признаться, опасался, не предложат ли убираться восвояси, прошлый раз тоже ведь этак, посреди лавров и оваций, вдруг является в «Европейской гостинице» флигель-адъютант его величества с деликатнейшим вопросом: государь интересуется знать, когда, любезный Иван Сергеевич, думаете отбыть за границу. На такой вопрос много не ответишь: либо — «сегодня», либо — «завтра». Государь будто бы отозвался о нем: «Это у меня бельмо на глазу» — честь немалая, однако пришлось поспешить.

Но пока вокруг все тихо, он, правда, и сам живет смирнее некуда, и, хотя начал выезжать, проклятая подагра вовсе не отпускает, зовет на диван в гостиной, где он полеживает без сюртука и халата, в синей шерстяной фуфайке, с желтым клетчатым пледом на ногах.

Поглядишься в зеркало, вся стать вроде бы при тебе, и лицо почти без морщин, белоснежная седина лишь оттеняет его моложавость, но грусть в глазах выдает неостановимое увядание души.

Порой ему кажется, что он уже неспособен более увлечься ни красотой, ни женщиной, и с этим горьким чувством приходит мысль о пределе способности творить и вообще о пределе жизни.

И пряный аромат гвоздички не заглушает кисловатого привкуса.

Пять лет назад, спроси его про любимое занятие, он бы не задумался — охота; теперь он часто шутит, что более всего любит заниматься ничегонеделанием. Охота — как и литература — страсть: сердце колотится, и весь ты ожидание одного мгновения, когда можно будет вскинуть ружье и нажать спусковой крючок.

Даже сейчас, бездействуя на диване под желтым клетчатым пледом, он остро чувствует, что ему хочется погладить собаку, ощутить ладонью выпуклость ее лба, мягкие висячие уши, густую, жаркую шерсть на загривке.

Страсть — дело темное: охота, литература, любовь...

Но разве не из темной глубины страстей рождается прекрасное?..

Какая страсть заставила явиться на свет Венеру Милосскую — идеал совершенства?

Добрый Глеб Иванович Успенский, когда беседовали в Париже, сердился и сетовал, что у него, у Тургенева, где-то сказано, будто Венера Милосская несомненнее римского права и принципов революции семьсот восемьдесят девятого года. Но в том-то и соль, что римское право или принципы восемьдесят девятого года отменяются и пополняются грядущими поколениями — Венера же Милосская окончательна: есть творения, в которых человек выражает себя вполне.

У Глеба Ивановича трогательная манера говорить: сидит сгорбившись, неподвижно, глаза следят внимательно за отлетающим к потолку дымком папиросы, время от времени он прикасается двумя пальцами, указательным и средним, к груди, как бы показывая собеседнику, что там, в груди, жжет его едва переносимая боль.

Успенский — живой талант, жаль только, сам же и не доверяется этому своему таланту, старается проверять его анализом и рассуждениями, и под ударами «что?», «почему?» и «как?» страдает нечто, схваченное непосредственно, глубоко и художественно. Между тем вопросы должны предшествовать созиданию; когда выведено здание, леса, без которых его не поставишь, снимаются.

Для него, Тургенева, в молодой литературе всех привлекательнее — Гаршин: этот задает самые жгучие вопросы, но не стремится к умозаключениям, отдается на волю искусства, умолкает, чтобы дать слово искусству.

Прежде, когда сотрясала его лихорадка любви и творческая лихорадка, когда ему везло на охоте, потому что и там охватывала его эта счастливая дрожь, когда подагра не валила его на диван и не держала неделями недвижным, он был слишком погружен в настоящее, чтобы думать о будущем. Теперь он часто думает о наследниках и охотнее, чем на других, останавливается мыслью на Гаршине.

На днях он встретится с молодой литературой, с наследниками: Успенский приглашает его побеседовать с группой писателей, взявшейся издавать на артельных началах журнал «Русское богатство». Писатели больше народнического толка, Гаршин среди них, пожалуй, белая ворона и по тому, что́ он пишет, и по тому, как пишет, но одиночество пугает молодых, со временем испуг проходит, жизнь сама незаметно о том заботится.

Посмотреть бы на этого Гаршина; пишет непохоже на других:

не мудрствует — горит и обжигает; но все у него просто, безыскусственно, правдиво и в высшей степени художественно. Сколько было в жизни разочарований, когда, увлеченный созданием, спешил познакомиться с автором, но с Гаршиным (чутье подсказывает) такого случиться не должно, есть в нем какая-то поразительная искренность — несомненная! Его рассказы рождают уверенность, что в них сказанное полностью совпадает с тем, как живет, о чем думает и что чувствует человек, который сказал это.

Посмотреть, послушать...

Разве что глупый нынешний выстрел — уже весь город только о нем и говорит — помешает.

Опять явится лощеный флигель-адъютант — и пожалуйте, любезный Иван Сергеевич, в свой Париж.

И в Москву на Пушкинский праздник не попадешь.

Беднягу, стрелявшего в Лорис-Меликова, повесят, конечно. И это не меньшая глупость, чем самый выстрел. Власти не желают понять, что террор молодых людей вызывается и поддерживается правительственным гнетом.

Трудный путь, грязь, колдобины на дороге — и все-таки он верит.

По дороге сюда, в Петербург, проезжая через Берлин, он видел мраморные горельефы третьего столетия до рождества Христова, открытые в Пергаме и приобретенные прусским правительством. Он смотрел на древний алтарь, заново возводимый в залах берлинского музеума, счастье его переполняло, оттого что он не успел умереть, не взглянув на все это. На полу в залах лежали тысячи небольших обломков, которым еще не нашлось места в восстанавливаемом целом, и каждый из них, какой-нибудь изваянный из мрамора клочок волнистой туники был, бесспорно, несомненнее многих совершающихся ныне событий.

Пергамский алтарь, о котором надо бы написать (три недели как приехал, ничего не писал), Пергамский алтарь изображает битву богов и титанов, победа несомненная на стороне богов, на стороне света, красоты, разума, но темные силы еще сопротивляются, бой не кончен.

В борении страстей рождается будущее, создается прекрасное.

В неуютных меблированных комнатах лежит на диване старик, греет ноги под желтым клетчатым пледом, жует ароматную гвоздичку и все ищет рукой под диваном в глупой надежде погладить собаку (та собака, которая ему представляется, померла давно) — лежит и думает о будущем.

Гейне говорил где-то, что человек в разгаре деятельности подобен солнцу в зените: чтобы иметь о нем верное понятие, надо видеть его при восходе и при закате...

Ноги у человека при закате болят ужасно...

20 февраля 1880. Гаршин

Этот выстрел точно с неба грянул.

И настала тишина, тяжелая, томительная.

Как грозовое небо над верещагинским полем, где рядами убитые.

Явилась в памяти — и застряла, неотступно стоит перед глазами картина детства: красное пламя сальной свечи, красный ковер на стене, раскалившаяся докрасна дверца печи и сквозь узкую щель жаркий красный свет догорающей соломы — тихая вечерняя комната в отцовском доме.

Прелесть детства: красное было просто красное, а не отражающее красные лучи, всякое впечатление ново, свежо, остро.

Оттого что печь топили соломой, в комнатах стоял приятный резковатый запах.

Отец толковал ему Новый завет: и если кто ударит тебя в правую щеку...

Потом, он помнит, дядя бил при нем своего человека по лицу: по правой щеке, и по левой, и снова по правой, и человек подставлял, а дядя все бил.

Но человек мог ударить в ответ. И дядя бы ударил еще сильнее. Человек позвал бы других людей. А дядя привел бы отряд солдат с винтовками и саблями. И солдаты стали бы стрелять и рубить. А дядин человек, вместе с другими людьми, с веселым отцовским Николаем, который выдумал покрасить ручному ворону, Ворке, клюв и лапы красной краской, натащил бы соломы, разбросал по комнатам и поджег дом...

И снова мрачное, тяжелое небо и ряды убитых в чистом поле...

Кто-то должен разорвать цепь.

Сейчас у храброго генерала такая минута, что может померкнуть слава неприступного Карса и грозящей гибелью Ветлянки. Тот, кому дано казнить или миловать, должен первым показать пример.

Какое могущество — не ударить противника ни в правую щеку, ни в левую, не выстрелить в подставленную грудь!

Неразумно брать власть, чтобы питать противоборство зла, подбрасывать солому в огонь.

Иллюминация... Светятся, мерцают во влажном воздухе красные, зеленые, лиловые плошки.

Как убедить всех, что первые шаги нового двадцатипятилетия должны быть шагами добра и разума?

Из фотографии Левицкого бьет вдоль Невского проспекта яркий белесый луч электрического солнца.

Яркий белый луч, от которого начинают светиться рассеянные в воздухе мельчайшие капли, частички тумана...

Может быть, нелепый выстрел необходим для обращения, обновления общества, страны.

Ему кажется, все вокруг готово, мир готов обновиться, преобразиться, зажить иначе, пусть мир еще и сам не ведает об этом, но готов; может быть, его, Гаршина, острая потребность начать второе свое двадцатипятилетие совершенно по-новому — тоже отзвук, частица этой всеобщей готовности.

Недавно в Питер наезжал Лев Николаевич Толстой; после рассказывали, был он задумчив и встревожен, к удивлению знакомых, внезапно исчез из города; вскоре заговорили о толстовском обращении, вспоминали его слова — хочет отказаться от жизни, в которой доныне свой век прожил, оторваться от привычной и потому покойной лжи, каждым днем, каждым часом идти к добру, к истине.

Владимир Васильевич Стасов ужасно сердится, твердит, что Толстой поглощен учением религиозным и нравственным, всех примирить желает, изобретает царство всеобщей любви и, чего доброго, романы писать бросит.

Владимир Васильевич гневается и не берет того во внимание, что человек порой не в силах не обновляться, не обращаться, не поворачивать на иной путь, не отказываться от всего, чем жил прежде.

Так и с ним, с Всеволодом Гаршиным. Друзья (каждый ему добра желает, каждый искренне уверен, что лучше него знает, чт*о* ему нужно для счастья) горячо удерживают его от опрометчивого, на их взгляд, поступка, а ему-то всего нужнее именно — поступить. Тут, на посторонний взгляд, даже дружеский, опять все то же — литератор с именем, сидит в Питере, рассказы пишет, в журналах печатается, чего бы, кажется, еще надо, а ему надо — просто по-другому не может, одно только досадно, стыдно: человек собрался письмоводительствовать в деревню, а квохтанье поднимается — долг народу отдает!..

Счастье, что Надя его понимает.

Ах, Надя, голубчик Надя, как жаль, что невозможно сразу ехать вместе. Но она права: надо ей окончить факультет, докторшей стать. Хватит с них одного недоучки. Два года пролетят быстро, не заметишь, а ведь есть и вакации, зимние и летние.

Слава богу, у Нади, в отличие от него, — *характер.*

Минувшим августом он осмелел, махнул в новгородское село Федосьин Городок, — Надя гостила в том селе у родных.

Большой дом высоко на холме над Шексною; внизу, отражаясь в темной воде, тянутся пароходы, барки, с лязгом набирая цепь на лебедку, движутся буксиры-туера.

В честь его приезда был устроен бал-маскарад; Надя наскоро изготовила ему костюм Пьеро — белая блуза до колен, длинные свисающие рукава, черные помпоны вместо пуговиц; он густо напудрил лицо мукой, намалевал углем скорбно переломленные брови. Кто-то сел за фортепьяно, принялись танцевать, сперва чинно, потом расшалились, пошли отхватывать кто во что горазд. Надя в расши-

той по вороту малороссийской рубахе — светлые глаза сияют, золотистые волосы распущены — звонко смеялась, приглашала: «Всеволод Михайлович, гопака, гопака!», а он — никогда не вытворял ничего подобного! — высоко подпрыгивал, широко расставляя ноги и взмахивая свисающими рукавами, крутился, приседая на одной ноге, — и так, пока в изнеможении не плюхнулся на пол. Вдруг он почувствовал, что сейчас зарыдает (эта постоянно хватающая его посреди веселья тоска), Надя быстро на него взглянула, сразу все поняла, крикнула, чтобы перестали играть, и протянула ему руку, помогая подняться. Он овладел собою, встал и, не отпуская ее руки, начал читать Лермонтова — свое любимое: «Не смейся над моей пророческой тоскою...»

В версте от дома старый женский монастырь, всякий день ходили туда гулять и за почтой; монахини в черной одежде, смиренно склоняя голову, проплывали мимо; вдруг накатило следствие — оказывается, монахини-смиренницы чуть не год назад за какую-то провинность стащили одну из «сестер» в подземелье и приковали цепью к стене...

Поразительная у него способность: все сладкое, даже самое сладкое воспоминание, оборачивать горьким...

Никогда ему не вернуться в ту комнату детства, где красное — просто красное, а сладкое — сладко, где свеча таинственно светит, где от натопленных печей тянет дымом соломы, где никто никого еще не ударил по подставленной щеке...

21 февраля 1880. Орел. Раиса Радонежская

Прочь, мечты, прочь!

Слишком много пережито, передумано, чтобы дать увлечь себя радужным мечтаниям, воспарить над грязью, темнотой, пошлостью, рисовать в воображении идиллические картинки, вроде тех, что помещают в иллюстрированных журналах и календарях, рядом с трогательными стишками: «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно...» — пряничная избушка, и петушок, и мальчик с девочкой в аккуратных полушубках и валенцах спешат в школу с книжкой под мышкой.

Жизнь научила ее обмакивать кисть в грязь, разведенную слезами, и писать картины с натуры.

Так и отвечала она в «Орловском вестнике» иным недовольным читателям ее «Картин народной жизни», упрекавшим автора в мрачности и требовавшим побольше радости и света: и я, милостивые государи, отвечала она, росла с мечтой об искусстве возвышенном и прекрасном, да жизнь, которою мы вынуждены жить, предлагает иные образы и краски. Пишу, потому что не могу не писать, как птица не может не летать, имея крылья, жгучими слезами обли-

ваюсь — и пишу, рада бы яркие цветы разбросать по холсту, но нет у меня больше моих чудных красок. Не судите же меня за это!

Часто встает в памяти смешная сценка: яркий весенний день, за окном радостно сияет апрельское солнце на вымытом до чистой лазури небе, на вершинах берез воздух в тесной сквозноте глянцевых молодых ветвей густеет сиреневым цветом, и под этим небом, под этим солнцем, под березами, наливающимися весенним соком, огромная, поперек всей улицы, лужа, и молодая девица на противоположном тротуаре стоит, подобрав юбки, и все пытается перейти улицу, — вот дошла до середины, утопая по щиколотку в грязи, тоскливо огляделась и вернулась обратно.

Грустно на душе от смешной сценки, но она-то не повернет назад, Раиса Радонежская, сельская учительница, а с недавних пор и литератор (скрылась под инициалом «Р»).

Через три месяца она окончит полный курс орловской гимназии, экзамены сдаст если не первой по баллам, то уж, без сомнения, среди самых первых учениц, победительно обгоняя этих кисейных барышень из лучших и обеспеченнейших семей города. Господи, ну на что им математика или естествознание? Чтобы замуж выйти, разве не довольно с них того, что бренчат на фортепьяно да заучили три десятка необходимых «в обществе» пошлых фраз.

Вот и ей говорят добрые люди: пора отречься от мечтаний и выходок юности, пора устраивать свою жизнь надолго и прочно. Ей — двадцать пять, она в полтора старше остальных девиц, с которыми сидит за партой выпускного класса гимназии, куда правдами и неправдами пробилась, остро чувствуя, как не хватает ей знаний, обретенных в сельской школе и пополненных упорным чтением. А каково было зацепиться, удержаться в гимназии, не имея поначалу ни хлеба, ни денег, ни крыши над головой!..

Теперь, когда «Картины народной жизни» понаделали кое-какого шума (говорят, даже в столице известны), когда многие признают за ней литературные способности, добрые люди от души советуют позабыть про деревню, про школу (другие найдутся — мечтатели и неудачники), — можно, глядишь, выбиться в писатели, даже и знаменитые, полно упрямиться, грешно зарывать талант в землю.

А ей — и смешно, и грустно — все на память приходит девица, которая, подобрав юбки, норовила перейти широко раскинувшуюся во все стороны грязную лужу, — она и сама в прошлый раз, как эта девица, дошла до середины, огляделась тоскливо и повернула назад, — теперь, что бы уж там ни было, она пойдет до конца.

В тот день, когда девицу увидела, она стояла у окна в кабинете инспектора народных училищ, терпеливо ожидая, пока хозяин соблаговолит восстать после дневного сна, — она пришла просить место сельской учительницы.

Инспектор наконец появился из соседней комнаты, заспанный,

в наспех наброшенном на плечи сюртуке. Долго не мог взять в толк, о чем речь, потом вдруг:

— А что вы... того... гм... не нигилистка?

— Нет.

— А что ж вы стриженая? Все стриженые... гм... нигилистки.

— Я острижена вследствие болезни.

— А то у меня была одна, тоже стриженая, — что бы вы думали? Чему она детей учила? В церковь не ходить. Книжки какие-то мужикам читала. Я сижу себе, ничего не ведаю, а ее, голубушку, гм... уже с полицией. Вот она какова, ваша-то стриженая братия... я... гм... теперь и боюсь...

Она заставила этого тюфяка дать ей назначение.

Она презирала самую мысль, что свой требовательный ум, свои жаркие чувства запрет, заточит в стенах спальни и кухни.

Она жаждала всю себя отдать служению народу, она и теперь от этого ни на шаг не отступилась, только прежние мечты кажутся ей ныне смешны и печальны.

Чего не навыдумала она, трясясь в неистово скрипевшей телеге, то и дело по ступицу утопавшей в грязи.

На дороге догнал телегу какой-то мужик, высоко сидевший на белых от муки мешках и сам весь перепачканный мукою, спросил возницу:

— Какая же это такая?

— Учительша это.

— Во... Чего на свете не бывает!..

Тогда она улыбнулась невольно, видя, с каким изумлением оглядел ее случайный попутчик, но час-другой спустя вспомнила это «чего на свете не бывает»: волостной старшина, высокий и важный, с окладистой русой бородой, в черной свите и красном поясе по сытому брюху, повертел в руках ее назначение и без дальних слов объявил, что школа в селе не идет, да и не пойдет, крестьяне до грамоты не охочи, а тут еще дело к весне, всякая пара рук дома нужна. Но коли уж приехала, живи, книжечками забавляйся или чем другим, жалование будем платить сполна, а инспектору в город можно отписывать, что в школе, мол, все благополучно.

Теперь-то она знает, что и волостной старшина не вовсе неправ: вишь ты, объяснял он, школа наша построена давно, и учеников прежде бывало довольно, а грамотного на селе, почитай, ни одного. Коли дьячок охрипнет или запьет, так по мертвому и псалтырь некому прочитать. Мальчишек, бывало, гоняют, гоняют, года по четыре гоняют в школу, а дай книжку — на первой строчке спотыкнется. Она знает теперь, что грамоту, полученную в детстве, крестьянину некуда приложить. Труд его не требует даже азбуки, книжки читать ему некогда, да и не приучен, сочинить или огласить редкое на крестьянском веку письмо грамотей найдется, а коли и впрямь

дьячок хватит лишку, кто-нибудь и псалтырь пробубнит, хоть бы и спотыкаясь.

Но тогда она вспылила: от школы не откажусь!

Наверно, самый горький в жизни день, когда на мирской сходке держала речь о пользе школы. Говорила долго, голос дрожал, и сердце, думала, наружу выскочит, — смотрела, не опуская взгляда, сразу в сотню пар глаз, уставившихся на нее из-под косматых волос, ей казалось, говорит она понятно и убедительно, только каменную душу не тронет ее горячая речь, но вот остановилась: «Ну что ж, миряне, согласны?» — помолчали — и лениво: «На что ж нам соглашаться-то?..»

Как совестно, как стыдно было за свою наивную любовь к этим косматым головам, к этим настороженным глазам, к этим потрескавшимся, темным, жилистым рукам, к дырявым зипунам и лаптям заскорузлым, сколько бы отдала тогда, чтобы все слова пламенные, влюбленные, которые только что им выкрикнула, назад вернуть!

Даже старшина ей посочувствовал: вы, сказал, барышня, могарыч им пообещайте, может, и пошлют ребятишек учиться-то.

Козьма Лукич, мужик-богатей (держит от себя питейные заведения на стороне и деньги дает под заклад), щуря глаз, поучал:

— И как же, душечка, вы на свете жить будете? На свете надо всякую химику понимать, а то плохо придется!..

А она не желала химику понимать, шла напролом, отправилась по окрестным деревням — набирать детей в школу. Она видела бедность, невежество, злобу, голод и холод, видела, как «девицы-красавицы» (вот бы на картинку в иллюстрированный журнал!), срывая одна с другой кокошники, в клочья раздирая одна на другой сарафаны, в кровь бились при семейном разделе, видела, как покойник лежал одинешенек в покинутой всеми избе, — поп, в цене не сойдясь с живыми, отказывался хоронить, видела, как, напившись допьяна, втаптывали ногами в землю почитавшегося колдуном старика, — только что, пока трезвые были, перед ним, как перед Иваном Ивановичем, становым, опасливо сдергивали шапки, видела, как тихая молодая жена топором зарубила нелюбимого мужа, за которого выдали ее против воли, видела, как оборванный мужик грозил искушенному в химике Козьме Лукичу: «Пущай мое горе поперек горла тебе станет! Разживайся нашим добром! Час придет, погоди, вспомнишь наши слезы!»

— И отколе ты такая упрямая, погляди на себя — в чем душа-то держится! — причитала над ней Лизавета Никифоровна, добрая душа, маленькая, почти квадратная старушка, отпаивая ее горячим чаем и поминутно испуганно крестясь на всякий шорох (всё ей черти мерещились).

Поглядеть на себя было ей никак невозможно: имелось у нее одно лишь маленькое, в ладонь, круглое зеркальце в оловянной

оправе; да и в него смотрелась она редко — и ни к чему, и недосуг.

Уже в городе, ночуя однажды у знакомых, раздевалась она перед большим овальным трюмо — и правда, откуда силы берутся! — с какой-то робостью даже подивилась худобе шеи и ключиц, узким своим плечам, маленькой, точно у девочки-подростка, груди.

И все-таки она едет снова — сельская учительница Раиса Радонежская.

Второе двадцатипятилетие ее жизни начнется для нее еще одной долгой дорогой, скрипучей телегой, ныряющей в колдобины, — возница укажет кнутовищем на пятно, затемневшееся у горизонта, и произнесет прежде ей неведомое название деревни, где отныне ей век вековать.

Прочь, мечты, прочь!

Жизнь повытрясла из воображения идиллические картинки, повымыла яркие, светлые краски, поостудила надежды на скорое исполнение желаний.

Но, кроме наших дней, есть же и будущее!

Ради него, ради будущего, надо ехать, надо спать на гвоздях, терпеть горечь разочарований, надо хранить огонь.

А иначе — и жить зачем?

21 февраля 1880. Млодецкий

Все: «...через повешение».

Завтра в это время его уже не будет.

Странно: невозможно себе представить.

Что значит — не будет?

Рук не будет, ног не будет, живота, головы.

То есть это-то как раз будет, зароют где-нибудь на свалке, засыплют известью, так, кажется, у них делается.

Но он не сможет даже подумать, что его нет, — вот что совершенно невозможно понять.

Через семнадцать часов ему наденут петлю на шею — и больше ничего не будет, ни его, ни мира вокруг.

Даже этих четырех серых каменных стен, двери с глазком для часового, зарешеченного окошка, замазанного белой краской.

Даже этого мерзкого запаха сырой извести, чадящей где-то в коридоре печи, человеческих нечистот.

А ведь все теплится дурацкая надежда, что хоть вполглаза сумеет подсмотреть, что тут на свете будет делаться после него.

С детства учили, учили верить в бога — толком не научили.

Мальчиком чего-то еще боялся неведомого, а чем старше становился, тем крепче укоренялся в мысли, что он-то и есть хозяин жизни и судьбы.

Сказано: «не укради», «не убий» — вот украл револьвер, пошел убивать.

И не жалеет ничуть.

Сидит — ест щи с мясом.

Мяса целый фунт, наверно, бросили в миску. Он уж и не припомнит, когда мясо ел. Кормят, как на убой (смешно!).

Он на суде говорить отказался: подослали в камеру какого-то генерала-весельчака — выведывать. Генерал, беседуя, подмигивал свойски — генерал *ему* подмигивал! — расспрашивал, много ли их, и кто вожаки, и он не из вожаков ли. Он отвечал, что их тридцать пять тысяч, что вожаков он не знает и сам не из вожаков: когда займут власть, он генеральского чина не получит, будет разве что школьным учителем. Генерал перестал подмигивать: ну, вы-то, сказал, никем не будете — или надеетесь бежать? Он подумал и ответил: если бы убежал, второй бы раз стрелял метче.

Выстрелом он все-таки был доволен, хотя не убил.

Когда его, избитого, подняли с панели и, выворачивая руки, поволокли в дворницкую, он возбужден был, даже боли не чувствовал, но ужасно стыдно было: в упор стрелял — и промахнулся.

И те будут смеяться и эти.

Не объявишь же на суде, что первый раз в жизни стрелял.

Но в зале судебного заседания ему предъявили вещественное доказательство — графский мундир: дыра на боку — вершок в диаметре. Он так обрадовался!

Только бы в газетах написали.

Он и тем доказал и этим.

Еще там, в дворницкой, при первом допросе, он сказал: «Не я, так другой, не другой, так третий, но Лорис-Меликов будет убит». Улыбнулся — им назло — и прибавил: «И не он один».

Теперь, на дырку в мундире глядя, призадумаются.

И те и эти.

Тоже держат себя генералами.

Ему до их санкции дела нет.

Он не генерал — будущий школьный учитель, тоже имеет право решать, что добро и что зло; они могут не дать ему санкцию, но он сам отвечает за свои поступки.

Нет, не промахнулся: не убил, но грозно предупредил.

История не позволит отречься. Что ей до ваших санкций! Я вашим путем иду, я ваш, теперь вы обязаны продолжать.

Часов шестнадцать, наверно, осталось. Или шестнадцать с половиной?..

В одиночке никогда не поймешь, как идет время: то еле тащится, то несется как бешеное.

Хорошо, что он в бога не верит: на том свете его бы второй раз приговорили к смертной казни, уже вечной. Все заповеди пере-

ступил, только что жены ближнего не желал, ни времени на любовь не было, ни денег; да и голодал часто. Так, случайности какие-то, нечего и вспомнить...

От щей с мясом, что ли, его разобрало, чушь в голову лезет.

Может, уже и шестнадцати часов не осталось.

На суде он вел себя молодцом: от защиты отказался, отвечать на вопросы отказался, председатель потребовал удалить его из зала заседания за неуважение к суду. Он обрадовался: в зале полно народу, через два часа разнесут по городу, пусть эти узнают, каков Молодцов-Млодецкий.

Санкции не будет! Он убивал без санкции и умрет без санкции, он приносит себя в жертву будущему, его смерть послужит делу, укореняя страх в одних и решимость в других.

В задней комнате суда, куда его вывели, какой-то важный чин, не стесняясь, при нем обучал городового давать свидетельские показания. Чин спрашивал: «Ты что ж, дурак, не видишь, что это тот самый, который стрелял?» А городовой твердил в ответ, что как есть тот самый, только он, когда выстрел раздался, смотрел-с не на злодея, а его сиятельству, графу Лорис-Меликову, в лицо. Так было смешно! И фамилия у городового смешная — Чегрухин.

Идти в зал для слушания приговора он сначала тоже отказался, но тут за ним прислали вторично, пригрозили, что поведут силой.

Он вышел, сопровождаемый конвойным, садиться на скамью не стал, стоял, опустив голову, слова, произносимые председателем суда, как бы отскакивали от его слуха, он терпеливо дождался двух последних — «через повешение» и только эти два слова и услышал.

Он усмехнулся — искренне, от презрения к судьям и от того, что жизнь вдруг взяла да и кончилась, но ухмылочка, он сам почувствовал, вышла кривая, — что-то в нем вдруг сжалось.

Он поднял глаза и оглядел зал: одни уже потянулись к выходу, другие, торопливо приблизившись к высокому деревянному барьеру, разглядывали его; ни «певца», ни «первой ученицы», конечно, небыло — конспирация; он повернулся к конвойному: «Пошли!» Когда его подвели к тюремной карете, одна из лошадей вдруг попятилась, он вздрогнул — и громко рассмеялся: теперь его испуг был совсем нелепым. Конвойный сильно толкнул его в плечо: «Полезай, не задерживайся!»

...За побеленным окном совсем смерклось, вот часовой вошел, зажег свечу в фонаре.

Сколько там осталось? Ах, да не все ли равно! Надо привыкнуть к мысли, что тебя больше нет. Надо просто лечь спать, заставить себя заснуть и спать до последней минуты.

Пока не повезут на Семеновский.

Койка жесткая, почему-то и одеяло не положили — ну, нет так нет.

Закрыть глаза, ни о чем не думать.

Провалиться куда-то, как в детстве, без снов.

Для чего-то лезет в голову отцовская лавка — даже в самый яркий день полутемное помещение с таким же, как это, зарешеченным окном; тяжелая дверь на отвратительно скрипучей, тугой пружине — всякий раз, затворяясь, дверь, как выстрел, сотрясала воздух, тесные, захламленные полки, мешки и ящики по углам, запахи сальных свечей, подсолнечного масла, засахаренного меда, лаврового листа, селедки, банного мыла, висящей в воздухе мучной и крупяной пыли, от которой сохнет во рту и на концах пальцев.

Он не любит вспоминать детство — пору зависимости и унижений, пощечин, подзатыльников, раздраженных отцовских поучений, скрипучих, как дверная пружина, вечное щелканье его счетов, при которых он стоял сгорбившись утром, днем, вечером, ночью, точно именно он отсчитывал на них ход времени в этой лавке, бесконечных материнских остережений — чтобы, упаси бог, избегал мальчишек-товарищей, реки, лошадей, городового, простуды, собак, занозы, лазанья по чужим садам...

Он давно заставил себя забыть прошлое, как кислотой вытравлял в душе его следы, оно не было ему нужно в новой его жизни, не знающей ни благополучия, ни жалости, ни страха. И вот вылезло откуда-то.

Из детства он любил вспоминать только груши — их выращивали и в самом городке, и в окрестных садах, — большие, желтые, душистые, они полнились распиравшим их сладким соком, сок глянцевыми потеками застывал на грязных мальчишеских щеках и подбородках.

Как ни вытравляй из памяти — прошлого никуда не денешь, это прошлое — целый мир, который отличает тебя от другого человека, даже если живете рядом. Огромный мир скопился за двадцать пять лет из всей этой чепухи, из всех этих груш и скрипучих пружин, завтра этот мир исчезнет вместе с ним.

Нового двадцатипятилетия не будет.

Даже памяти не будет, потому что это *его* память, — вот что удивительно.

Ничего не будет.

Точно пар изо рта: выдохнул — и уже нет его...

Замок звякает — заснуть не дают.

Опять этот генерал — с подмигиваниями.

— Не мешайте мне спать!

— Скоро наспишься!

Обозлился — и очень хорошо.

Однако, в самом деле: спать, спать...

21 февраля 1880. Гаршин

«Ваше сиятельство, простите преступника! В Вашей власти не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) — и в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виновных и невиновных...»

Так он пишет не кому другому, графу Лорис-Меликову, начальнику Верховной распорядительной, — он, Всеволод Гаршин, о котором граф, скорей всего, и слыхом не слыхал.

Надо, непременно надо подписать письмо во избежание предположений о мистификации, хотя, по правде-то, и не следовало подписывать — граф должен, читая письмо, голос Человека услышать, Человека вообще, а не одиночного Иванова, Петрова — Гаршина.

В том, что с пера сорвалось, всего страшнее и всего важнее слово «казнь» — его подчеркнуть, тут весь смысл в этом: *казнить* идею. Как легко и как вопиюще п*о*шло привыкли мы распоряжаться человеческой жизнью, чванливо полагая, что стоит только перехватить кровеносный сосуд, перервать ниточку и с нею жизнь носителя идеи, как и сама идея, рухнет. Или это бессильная злоба разгулявшейся плоти, потерявшей способность общаться с высотами собственного духа? Ибо победа в борьбе идей есть победа ума и совести, способность, глядя на мир, увидеть чаяния большинства людей, в этом мире живущих, способность всеобщие чаяния человечества сделать своими. Казнить идею — значит предложить свою, другую, к которой люди потянутся умом, душою и сердцем, — а не два столба с перекладиной и с намыленною веревкой.

Он чувствует, как на голову ему надевают плотный мешок и шершавая холстина царапает ему лоб, нос, уши и щеки, которые через несколько минут вовсе и навсегда перестанут что-либо чувствовать, потому что вместе с ним перестанут существовать; в мешке ему темно и душно, тяжелая рука палача, лежащая между его лопаток, подталкивает его и заставляет, неловко ощупывая ногами ступеньки, взбираться на лестницу, он чувствует, как палач прилаживает ему петлю на шею, заранее покрепче подтягивая веревку, он начинает задыхаться, голова у него раздувается, виски, кажется, выломаются сейчас наружу, но он еще безнадежно пытается устоять на этой шаткой лестнице, прежде чем его столкнут в никуда.

«Вы — сила, Ваше сиятельство, сила, которая не должна вступать в союз с насилием... Помните растерзанные трупы пятого февраля, помните их! Но помните также, что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения...»

Господи, зачем ему все это, чт*о* ему, писателю Всеволоду Гаршину, от «центры», от славы своей убегающему письмоводительст-

вовать в дальнюю самарскую деревню, до револьверов и виселиц? Вот рядом на бумажке записано: «Михайловская улица, склад Макинтош», на складе предлагают первой доброты резиновые сапоги — ими надо непременно обзавестись, отправляясь в деревню.

Чт*о* ему до Семеновского плаца, до эшафота, точно его одного они касаются в громадном, густо набитом людьми городе, — он уже успел окунуться мечтами в будущее: деревня, весна, остро пахнущий влагой ветер разгоняет волокнистые серые тучи, в промоинах ярко голубеет небо, зеленеет пятнами луг, упрямая травка быстро расталкивает плотный слой почвы и выбирается наружу, золотой россыпью светится в зелени лютик едкий, или *ранункулус ацер,* именуемый в народе куриного слепотою, розовеет *трифолиум,* клевер или кашка, — с детства он не знает ничего увлекательнее, чем собирание гербария, у него на это особый нюх, в самой бедной, на неискушенный взгляд, местности берется найти и две и три сотни разнообразных растений; в мечтах ему уже виделась изба, где живут они с Надей, раннее зимнее утро, он не спит, ждет ее — ночью позвали Надю к больному ребенку или роды у бабы принимать, — вот слышит скрип полозьев, узнаёт, наконец, ее шаги на крыльце, спешит навстречу, торопливо развязывает у нее на спине узел простого серого платка, волосы золотистые, наспех схваченные шпилькой, рассыпаются по Надиным плечам, он ставит самовар, а пока греет в ладонях ее холодные руки, тем временем на дворе совсем рассвело, за окном бело, только рябина у плетня краснеет гроздьями подмерзшей, необклеванной птицами ягоды, рябина обыкновенная — *сорбус аукупария...*

Ну зачем ему от такого — и к револьверам-эшафотам, один он, что ли, в этом городе — восемьсот шестьдесят тысяч жителей! — почему именно он мечтать больше не может, есть, пить, спать не может, оттого что рядом, на Семеновском плацу, должны убить человека?..

Знакомые, что были в суде, рассказывают про несостоявшегося убийцу: невысок ростом, худощав, узок в плечах и груди, выглядит гимназистом, между тем ему двадцать пять (ровесник!), на лице (несколько странном от того, что при темных, почти черных волосах усы и бородка светлые, рыжеватые) следы лишений, бедной, неустроенной жизни, говорить решительно не захотел, процедил что-то вроде: «Думайте, что вам угодно» и, услышав приговор — «через повешение», все старался улыбаться.

Неужели кто-то всерьез думает, что, если этого голодного, неустроенного человека — в петлю, русская история повернет по новому руслу или, наоборот, будет продолжать победное течение в прежнем?..

«Простите человека, убивавшего Вас! Этим вы казните, вернее

скажу, положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство...»

Здесь надо подчеркнуть слово «идеи», чтобы понял: казнить идею — не человека казнить!

Да поймет, поймет, коли умен и благороден, не может не понять, а ведь еще и храбр — за ним Карс, и чумная Ветлянка, и в Харькове не пошел с теми, кто толкал его, чтобы сажал и казнил.

«Простите человека, убивавшего Вас!.. Этим же Вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди...»

Еще подчеркнуть — «людей». Чтобы понял: убить нравственную силу людей — не людей убивать!

Поймет, поймет, непременно поймет: приговор в назидание, не для исполнения.

Слишком ясно, чтобы не понять!

Вон выставлена на всеобщее обозрение картина профессора Семирадского «Светочи христианства» (говорят, Лев Николаевич Толстой, будучи в Петербурге, ездил смотреть). Много света, цвета, блеска, много мрамора, золота, тканей, и, наверно, слишком много слишком эффектных фигур, всё на громадном холсте вширь, не вглубь, но уже который год перед картиной неизменная толпа — тревожит холстище! Он и сам, Гаршин, подойдя впервые, тотчас забыл про путаницу мраморов и тел, увидел привлеченную казнью толпу — и тех, кого привязали к столбам, готовясь сжечь вместе с ними идею: старики, юноши, девушки — как непохожи они на преступников, на подрывателей государственного строя (написал он тогда в статье о картине).

Восемнадцать столетий назад уже можно было вполне убедиться, что идею не уничтожить огнем и веревкой. Ваше сиятельство, взгляните на картину! Неужели сегодняшний диктатор, не побоявшийся взять в руки судьбы миллионов соотечественников, уподобится бессмысленно жестокому Нерону, или циничному в своих расчетах сенатору, или сидящему вблизи места казни игроку в кости, равнодушному к жизни и смерти ближних?..

«Ваше сиятельство! В наше время, знаю я, трудно поверить, что могут быть люди, действующие без корыстных целей. Не верьте мне, — того мне и не нужно, — но поверьте правде, которую Вы найдете в моем письме...»

«Поверьте правде...» — да кто там ждет его письма, его правды! Время к ночи, никто его сиятельство и беспокоить не станет; нафабренный хлыщ-адъютант, развалившись на диване в приемной, ковырнет отточенным длинным ногтем облатку на конверте, лениво пробежит наискось, как не относящуюся к делу его, Всеволода Гаршина, на крови замешанную писанину, скомкает, выбросит в корзину и руки оботрет душистым платочком.

Нет, тут надо идти самому, идти, во что это ни станет, — не с его слабыми силами рассуждать, *как* и *почему,* загодя сводить итоги.

...Зачем, спрашиваешь ты, непременно нужно оборачивать сладкое горьким, из прекрасной мечты, как из поднебесья, шлепаться плашмя в грязь, в ужас действительного, подставлять грудь там, где стреляют в другого, взваливать на себя тяготу, предназначенную для восьмисот шестидесяти тысяч, зачем норовишь поймать пулю, не тебе предназначенную, и быть раздавленным, где мог бы дышать, — ну пускай вполгруди, и зачем отказываешься от сладкой мечты, когда осталось руку протянуть?

Да затем всего лишь, что не можешь иначе, не можешь отсиживаться за чужими спинами, стыдишься собственного благополучия возле чужого злосчастья, а разделяя злосчастье другого, стараешься взять себе долю побольше.

Станешь объяснять, непременно ударишься в пошлые выспренности, а объяснять нечего: просто приспеет минута, что-то (толком и не поймешь — чт*о*) толкает вперед и идешь — *поступаешь*; эти-то поступки и дают после силу жить.

Такое устройство организма, такая уж там машинка: упустишь минуту, не шагнешь вперед, не бросишься, — что-то лопнет, оборвется внутри — и конец.

Так брат Виктор, двадцати не было, не в силах видеть пошлость кругом и ложь, рынок чувств, где самое святое и светлое чувство огрязнят, осмеют, да еще и цену ему назначат, оробел, заметался на месте, не сумел разорвать круг, — только и оставалось нащупать дулом револьвера сердце и спустить курок («из-за неудачной любви к публичной женщине» — записали в полицейском протоколе).

Так молоденький доктор на войне, не в силах видеть, как солдаты впрягались в дышла взамен несдюживших лошадей и под хлещущим ливнем вытаскивали из трясины орудия и повозки, уехал один вперед и повесился в сквозном ольшанике.

Так и он бы, наверно, — если бы не послушался силы, созревшей внутри и ударившей его в сердце, как ребенок ударяет во чреве матери, если бы не кинулся на верную гибель под шквальный огонь в лучший свой день, одиннадцатого августа семьдесят седьмого года.

11 августа 1877.
Высота близ деревни Аяслар. Гаршин

Он всегда поражался внезапной тишине, наступавшей в ту минуту, когда батальон поднимали по тревоге. Только что бивак был, шум, пестрота, круговращение — ни дать ни взять ярмарка где-нибудь в

большом торговом селе: белые солдатские палатки ярко сверкают на солнце, желтеют, синеют, зеленеют ситцевые рубахи, алеют кумачовые, густо темнеют лиловые пестрядинные — в черном суконном мундире жарко, да и несподручно на хозяйственной бивачной работе; кружатся над лагерем звонкие голоса — оклики, понукания, разговоры, перебранка, смех сливаются в единый гул, все идет, все движется, переходит с места на место, рубит, строгает, стирает белье, разводит костры, ведет на водопой лошадей, чистит оружие, копает землю, натягивает брезент — и вдруг: тревога! И тотчас напряженная тишина, разрываемая лишь короткими, как клацание затвора, командами, стуком разбираемых из козел ружей, бряканьем манерок и котелков, топотом строящихся колонн. Точно осенним ветром сорвало белые палатки, смахнуло с зеленого луга яркие цветы, и вот уже на месте веселой ярмарки — напряженно застывший черный четырехугольник. «Из середины, рядами!» — командует, сидя на вороном коне, маленький бородатый майор, батальонный. Из темного четырехугольника начинает вытягиваться, стекая головою на дорогу, длинная походная колонна.

...В Ковачице стояли две недели и, хотя — с необъяснимым опозданием и к тому же несуразно искаженные — получали вести с передовой, хотя что ни ночь загоралось вдали за горизонтом зарево подожженных неприятелем болгарских деревень, хотя само собой ясно было, что не сегодня, так завтра придет приказ сниматься с места и вступать в бой, за эти две недели успели привыкнуть к ленивой лагерной жизни. Солдаты подлатали разбитые сапоги, перештопали белье и рубахи, пообносившиеся в походе, и, пользуясь свободой, собирали пшеницу с оставленных жителями полей, молотили ее палками на расстеленном брезенте, мололи зерно на стоящих поперек ручьев маленьких здешних мельницах, именуемых «воденицами», или просто между камнями и пекли самодельные лепешки — хлеб из войсковых пекарен сюда не поспевал, а зачерствевшие сухари всем надоели.

Кругом раскинулись сады, в них, а то и просто в поле, созревали груши, яблоки, сливы. «Эх, был бы тут рай земной, кабы не война!» — говорили солдаты, глядя на перебегающие с холма на холм золотые неубранные поля, на согнувшиеся под тяжестью плодов ветви фруктовых деревьев. Но война была рукой подать.

Однажды он, вольноопределяющийся Гаршин, забрел в брошенный хозяевами дворик, поднялся на галерейку, примостившуюся под самой крышей дома, и стал всматриваться в ту сторону, где должны были располагаться передовые части. Перед ним расстилалась желтая, залитая солнцем равнина, на всем ее бескрайнем просторе ни фигурки, ни дымка от ружейного выстрела; он собирался уже ступить на узкую с резными балясинами лесенку, чтобы спуститься с галерей-

ки, когда далеко-далеко отделился от земли маленький плотный комочек белого дыма, прошла целая минута, наверно, пока донеслось до слуха — и не хлопок даже — всего лишь негромкое «пуф!», будто кто-то большой пыхнул там, далеко, своей трубочкой. И следом еще один пушистый комочек отскочил от земли, за ним другой, третий, и всякий раз долетало оттуда нестрашное «пуф!», но в его, Гаршина, памяти при виде золотой равнины, голубого неба и белых, неторопливо растворяющихся в воздухе сгустков дыма возникло поле под Ессерджи, где он с товарищами после боя укладывал на носилки, чтобы закопать в общей могиле, зловонные, обезображенные смертью и жарой трупы. Он быстро сбежал с лесенки, в небольшом ухоженном саду стояли абрикосовые деревья, вокруг них рассыпаны были в траве не снятые вовремя, просмяклые плоды, дремали на грядах огромные огненно-желтые тыквы, поднимались скрученные трубкой стебли кукурузы, цепляясь за воткнутые в гряды подпорки, вился горошек, его нежные розово-фиолетовые цветы распространяли в воздухе тонкий сладкий запах. Так, во время прогулки, случается, туча, ползущая прямо на тебя, вдруг останавливается в каких-нибудь двух шагах, — совсем рядом, руку протяни, дождь что есть силы лупит по земле, а ты стоишь на солнце, под чистым стеклянно-синим небом и с изумлением смотришь на буйство разгулявшейся стихии...

Но уже двинулись колонны, «выступаем», «выступаем» — шелестит по рядам, команда — ранцев не брать, оно куда легче без ранца, без «телятины», как кличут его солдаты, — плечи не болят и спина не взмокает от пота после пяти минут ходьбы, даже в свежую погоду; и вместе: без ранца — значит в бой. «Ну, брат, коли без „теленка", не миновать дела», — пророчат те, кто поопытнее, охлаждая радость необстрелянных еще товарищей.

Изумительно, как осязаемо ясно возникает в памяти всякая подробность, едва вызывает он в воображении картины минувшей войны: он помнит звенящий зной того перехода от Ковачицы к Попкиою — неподвижны были запыленные кроны грушевых деревьев, стоявших вдоль дороги, и кукуруза не шелестела длинными, похожими на клинки, листьями, и ни одной птицы не встретилось им во все время перехода.

Он помнит, как в минуты короткой остановки проталкивались они с фельдфебелем Гаврилой Васильичем Кулевым к фонтану — железной трубке, торчащей из дикого камня глыбистой, серой, местами побуревшей от мха стены; прозрачная струя, сверкая на солнце, стекает по желобу в каменное корыто; Гаврила Васильич проталкивается сквозь толпу теснившихся у фонтана солдат, наполняет свою, а следом его, Гаршина, манерку и протягивает ему над головами соседей, вода плещется через край, те вскрикивают, весело ругают Гаврилу, «кто вымочит, тот и обсушит», посмеиваясь, отзы-



вается он, выбираясь из толпы; потом они долго и сладко пьют холодную воду в тени старого тополя; Гаршин помнит веселые голубые глаза Гаврилы Васильича, его ладное, стройное тело, но всего яснее — мокрые белокурые усы и бородку, которые он утирает рукавом...

Двух суток не прошло, он, Гаршин, своими глазами видел, как Гаврила Васильич, заряжая ружье, вдруг охнул, схватился руками повыше правого паха, точно желая затолкнуть обратно в разорванный гранатой живот выпадавшее оттуда кровавое месиво, и повалился ничком. «Как же так? — подумал Гаршин. — Как же так?..» Все в нем смешалось — недоумение, и страх, и стыд, что веселый, добрый Гаврила Васильич, напоивший его водой, не помня себя, визжит и корчится на земле, умирая, а он, Гаршин, жив и невредим, но подумать в ту минуту он успел только — «Как же так?»: неприятельские орудия стояли в полутора тысячах шагах и осыпали нашу позицию гранатами, снизу, из котловины, поднималась в атаку вражеская цепь, капральный, лежавший рядом, кричал ему, чтобы менял высоту прицела.

А до этого, прежде чем на рассвете их бросили в бой, они спустились на ночлег в узкую, тесно зажатую со всех сторон лощину. По краю дороги в несколько рядов стояли лазаретные повозки и поневоле рождали тревожные думы о завтрашнем дне. Со дна лощины поднимались гигантские, в шесть обхватов, тополи, и, лежа лицом вверх на холодной, пьяно пахнувшей мятой траве, он, Гаршин, видел уходящие в вышину и как бы сходящиеся в ней стволы и совсем высоко черно-синий, круглый, как колодец, клочок неба и в глубине его одну-единственную слабо голубевшую звездочку. Рядом бойко журчал ручей, а где-то за горой шла неспешная артиллерийская перестрелка, вершины деревьев с равномерными промежутками озарялись слабым красным светом, и долетавший в лощину гулкий звук на мгновенье заглушал пение ручья, но отблеск тут же гас, темнота делалась еще мрачнее, а журчанье бегущей по каменному изложью воды еще звонче.

Когда свет невидимой из лощины луны осеребрил вершины тополей, солдат разбудили командой «В ружье!» и между цепкими стволами карагача, кизила и терновника повели вверх, к гребню горы.

На озаренной лунном светом каменистой площадке стояли рядами невысокие каменные плиты, на серебристой земле чернели длинные тени. Это было мусульманское кладбище. Ночной бой на склоне горы был хорошо виден отсюда. Снизу пунктирная линия огоньков-выстрелов отмечала цепь двинувшегося в атаку нашего Софийского полка, выше такая же линия огоньков обозначила турецкие цепи. Софийцы шли вверх, и вот уже цепи сбились, огоньки перемешались, недолгое время метались и вспыхивали на одном месте, но скоро снова поползли к гребню высоты — турки отступали. Длинные огненные

иглы пронизывали воздух — это были гранаты, они взрывались с давящим на уши звоном. На рассвете гаршинский Волховский полк бросили на смену Софийскому.

С каждой дюжиной шагов склон становился все круче, пока вовсе не перешел в отвесную скалу, на которую, казалось, нет никакой возможности взобраться. Пули громко визжали, перелетая через нее, трещали сломанные ими ветки кустарника, в воздухе кружились мелкие красноватые листья и осыпали тех, кто стоял под скалою. Но надо было идти — и болховцы пошли, по одному, карабкаясь с камня на камень и подставляя себя под выстрелы, и он, Гаршин, тоже, не раздумывая, карабкался вместе со всеми, пока не выбрался на вершину скалы и не побежал опять же со всеми вперед, пробираясь сквозь колючий кустарник. «Куда же вы, братцы? И-и-и, как жарит!» — жалели их отходившие им навстречу софийцы, всю ночь атаковавшие под огнем.

Впереди, в полусотне шагов, стояло невысокое кизиловое деревце, сплошь покрытое красными плодами. «Добегу и лягу», — подумал Гаршин; сердце ухало в нем с бешеной скоростью и, казалось, заполняло его всего, но он продолжал бежать, не останавливаясь и не сбавляя ходу, пока не воткнулся на бегу в это примеченное им дерево: он бросился возле него на землю, приложил к щеке темный, поцарапанный приклад винтовки и начал стрелять. Поднялся было из цепи, на ходу заряжая винтовку, Гаврила Васильич — и тут же схватился за живот руками и, пронзительно крича, повалился ничком. «Как же так?» — он, Гаршин, только и успел тогда подумать. Отдельные выстрелы уже невозможно было различить, все вокруг слилось в сплошной гул и жужжанье — и ему вдруг показалось, что настала какая-то удивительная, незнаемая прежде тишина.

Он перестал стрелять и осмотрелся. Он лежал один на засыпанном красными плодами крошечном кусочке земли; цепь болховцев отошла шагов на двадцать, а он и не заметил этого; несколько турецких солдат с винтовками наперевес бежали прямо на него; «Да ведь они же меня на штыки поднимут!» — мелькнуло у него в голове: уходить, уходить; ему вдруг почудилось, что он видит прямо перед собой черную грифельную доску и страшный учитель математики, которого он в гимназии пуще огня боялся, пишет на ней мелом: «Уходить!» (даже почерк был его, Ростислава Николаевича, — казалось, давно забытый), — и в тот же миг он услышал свое имя: «Михалыч! — так звали его солдаты. — Батюшка Михалыч!» Перед ним, чуть правее, лежал на земле Степан Федоров, молодой солдат, балагур и запевала, едва скомандуют: «Песенники вперед!» — он тотчас перед строем, выбор песен у него был несколько странен: либо исторические — про царя Петра, либо бессмысленно непристойные: «Это так, Михалыч, для моциону груди, — говорил он в ответ на Гаршина укоры, — идти веселей!» Мудреные слова, вроде «моциона»,

Степан Федоров знал оттого, что еще мальчиком попал из деревни в столицу и научился читать газеты. «В Питере цивилизация», — часто повторял он, рассказывая про благословенную, как все солдатские воспоминания о мирном времени, питерскую жизнь; но «цивилизация» странно его не испортила, душою он остался чист и по-детски наивен, это влекло к нему Гаршина; они часто беседовали, да и в строю шли рядом — Федоров впереди, Гаршин следом.

«Батюшка Михалыч! Батюшка Михалыч!..» — звал Федоров, неведомо как оказавшийся на ничьей полосе между своими и неприятелем; из большой раны у него на плече, волнами, выталкиваемая биением сердца, лилась яркая алая кровь. Он не успел ни о чем подумать тогда, ни о бегущих навстречу турках с их штыками, ни о том, что сам остался между своими и чужими и сейчас непременно упадет рядом с несчастным Федоровым, он не успел подумать о неминуемой смерти — какая-то сила толкнула его, подняла, бросила вперед, и вот он уже тянет, старается поднять Степана, кличет своих: «Братцы! братцы!» — и видит, как никто не решается перебежать эти двадцать шагов под сквозящим ружейным огнем, видит, как лицо Федорова, безбородое и безусое, с удивительно правильными, как на иконе святого Георгия, чертами, все белеет и белеет, точно превращается в мрамор, чувствует, как тело Федорова становится тяжелее, и горячая кровь уже не бьет из него волнами, а стекает ему, Гаршину, на руки быстро убывающей, спокойной струйкой. «Братцы!» — позвал он совсем тихо, уже не надеясь на помощь и все еще не вспомнив про турок, и тут-то словно разбудило его могучее «ура!» — цепь болховцев снова бросилась вперед. «Примером личной храбрости увлек товарищей в атаку», — напишут позже в полковой реляции, представляя его к кресту (впрочем, креста так и не дадут).

Потом будто огромным камнем хватило его по всему телу, он упал...

В этот миг рядом резко закричала сойка, он слегка повернул голову и увидел ее в гуще кизилового куста, за зеленью листьев и красными ягодами, — красивую, черно-коричневую, с белым зеркальцем на крыле и ярким лазоревым перышком. Почудилось, должно быть: откуда взяться птице — под огнем...

Ночь с 21-го на 22-е февраля 1880. Лорис-Меликов

Вот народ: протяни палец — руку отхватят, хочешь сделать послабление — тут же самого заседлают и взнуздают и верхом сядут!

На дворе светает, а он спать не ложился, начальник Верховной распорядительной, полномочный диктатор, добро бы чт*о* важное — надо же, всю ночь сидел в осаде, приступ сдерживал — упрямый такой нашелся: Гаршин, писатель.

Что за обычай глупый: ни в чем не виноват, сиди дома, радуй-

ся, — нет же, так и подмывает лезть к властям со своими суждениями. Кабы не известный писатель, запереть бы в холодную, пыл остудить, чтобы не в свое дело не путался!

Притом такой нервный, просто горячечный, на глазах слезы, просит, молит, только что за руки не хватает, ты ему слово, он тебе десять, толкует одно и то же, два раза на колени норовил, всю свою убедительность пришлось в ход пустить, пока выпроводил с миром, — вконец измучил.

Явился уже к полуночи, адъютант пришел докладывать, он приказал не принимать, папиросу закурил, последнюю перед сном; чтобы без дела не сидеть, взял бумаги просматривать; шум такой — даже в маленьком, дальнем кабинете слыхать.

«Состоящий при нем» отправился лично все разузнать, возвратился: Гаршин, писатель, требует немедленного свидания, имеет сообщить нечто важное.

Полицмейстер нынче докладывал: при проезде государя по Дворцовой набережной какой-то человек устремился к карете его величества, сопровождавшие карету казаки на этот раз не растерялись, схватили своевременно, начато расследование — пока никакого толка.

Снова «состоящего при нем» послал в приемную — разведать, что такое важное Гаршин этот имеет сообщить, час ждал, жег папиросы, бумаги читал — дождался: чушь какая-то, пришел, оказывается, за того дурня просить, который его, Лорис-Меликова, умудрился в упор не убить.

Э-э, поди скажи этому Гаршину: время позднее, граф Михаил Тариелович спать хочет, и ему, Гаршину, спать пора; или пускай стихи пишет, стихи всегда по ночам пишут, когда добрые люди спят.

Столько писателей развелось — не упомнишь! Прежде Пушкин был, Лермонтов, любо-дорого, он Пушкина—Лермонтова стихи страницами наизусть помнит, теперь возьмешь полистать журнал — никого не знаешь, незнакомые имена. Некрасов тоже хорошо стихи писал, четырьмя годами всего старше него был — надо же, помер...

Познабливает, спина мерзнет, не по себе...

Читать совсем некогда: то война, то чума, то государственные заботы. О народе-отечестве думаешь, голову ломаешь, не до стихов!

«Состоящий при нем» стал напоминать: рассказ какой-то про солдатика — четыре дня после боя лежал в кустах, позабытый, с перебитыми ногами — не приведи господь!

Что-то знакомое показалось, — может, сам читал, может, слышал от кого...

Опять с вечера плохо натопили, крадут, должно быть, дрова, еще и окна плохо закрывают, вечно щели или форточку оставят, половины ночи не прошло — все тепло выветрилось.

Велел разбудить лакея, чтоб натопил в кабинете. Хорошо лакею,

завалился спать, ни забот, ни хлопот, — он, генерал Лорис-Меликов, всегда солдатам завидовал: живут, в ус не дуют, но сам отчего-то по ступенькам вверх, вверх, как-то само собою получалось, вот уже и выше некуда — диктатор!

Все вокруг про его, Лорис-Меликова, ум, про сметку да про волю, даже господа революционеры придумали ему лисий хвост и волчью пасть, они-то в укор, в насмешку, а ему лестно: ни про кого такого не придумали, а про него — пожалуйста, потому что не другим чета, есть в нем своя особость.

Вон на какую гору забрался, на невиданную высоту, как в стихах: «Кавказ подо мною, один в вышине» — да разве Кавказ: вся Россия!

Вся Россия — вот она, вожжи на руку намотал, государь право дал по его, Лорис-Меликова, личной воле объявлять высочайшие повеления, — смешно сказать: писатель этот в приемной два часа шумит, спать мешает, проще простого приказать городовому вывести — нельзя. Сплетен-болтовни не оберешься, господа либералы закудахчут, заквохчут, тотчас запишут в ретрограды, — как же, как же, знаменитого писателя выдворил, не пожелал принять, — попробуй, оберегай государственные интересы!

Чтобы порядок был, каждый должен своим делом заниматься: один — Карс берет, с чумой сражается, уничтожает крамолу, другой романы сочиняет. Карс брали, Эрзерум брали, Плевну брали — столько всякого: пиши — не хочу!

Он про эти четыре дня, кажется, в самом деле читал, хорошо написано, только очень уж мрачно.

Сколько лет-то Гаршину этому — показания взяты? Двадцать пять? Ну, молод еще. В молодости все либо мрачны не в меру, либо не в меру веселы.

Он, Лорис, юнкером еще, мальчишкой, с Некрасовым компанию водил, проказили до невозможности! Однажды поехали плясать в одно семейство, там барышни водились прехорошенькие, решили маскироваться, заехали к костюмеру, Некрасов нарядился венецианским дожем, он, Лорис, испанским грандом, штанишки коротенькие, бархатные, черные, и черные шелковые чулки, свою одежу оставили в залог, денег в обрез только выкупить, да нечистый попутал, под утро с вечеринки еще куда-то заехали, тут выпили, там на извозчике шиковали, хватились — денег ни копейки, костюмер, подлец, в кредит не верит, разослали приятелям записки, приехали домой (квартировали вместе), сидят, один в балахоне, другой в коротеньких штанишках, стулом печь топят, лопать хочется сил нет, спасибо, знакомый лавочник-сосед отпустил по дружбе кусок студня — кто бы тогда подумал, что из Некрасова этакий поэт выйдет?.. Некрасов, тот в молодые годы веселился, а к старости, говорят, мрачен стал...

Приказать, чтобы обыскали Гаршина: писатель, не писатель, до-

5*

верять теперь никому нельзя, этот не то что дурень, который в него стрелял, — на войне был, ранен при Аясларе, выхватит револьвер — не промахнется.

После обыска принесли письмо — держал при себе: «Ваше сиятельство, простите убивавшего Вас!» Пробежал наискось, одним глазом — сразу доверие полное: стрелять не станет, врать не станет, даже неловко, что обыскивали, ну, да что было, того не воротишь. Сказал «состоящему при нем»: пусть пропустят, знать бы, давно принял, уже бы два часа как спал. Едва увидел, проникся симпатией, похож на священномученика какого-нибудь с картины, лицо прямо-таки библейское, лоб высокий, белый, темная борода, главное — глаза, черные, горят, и слезы — качаются. «Молодой человек, вы нездоровы, ступайте домой, успокойтесь», — нет, не уходит. Тогда он, Лорис-Меликов, граф Михаил Тариелович, этому Гаршину милому сразу «ты» стал говорить, сразу «отец родной»: ты — солдат, и я — солдат, так он Гаршину сказал, твое письмо, сказал, мне медом на сердце легло, потому что — не от болтуна, не от штафирки, ты четыре дня в кустах с простреленной ногой лежал, смерти ждал, я тридцать семь лет что ни день под пулями хожу, последняя вчера было догнала — везение спасло. Он с ним, с Гаршиным милым, как на духу, чт*о* на сердце было, то говорил, ни словечком не покривил. Мы с тобой, сказал, отец родной, жизнь-смерть не по газетам знаем, мы цену единственной жизни по себе знаем, передо мной на колени нечего, я не царь, не господь бог, я как все — живу по суду, по закону, успокойся, отец родной, воды попей, садись рядом, составим вдвоем одно горе, будем вместе думать.

Я везун, — так он, Лорис-Меликов, милому Гаршину прямо и сказал, — везение мое такое: всю Россию в руки дали, а что с ней делать — загадка: вот прощу дурня, одни меня застрелят, не прощу — другие; садись, отец родной, на мое место, я тебе твое же письмо принесу, подпись свою под ним поставлю — решай!

Принципы — одно, а власть — другое, вместе свяжешь, далеко не уедешь: все равно, что в одну упряжку ломовую лошадь с кровным скакуном. Все мои помыслы, сказал, — тут: чтобы связать, запрячь и постромки не порвать.

Ты бы мой мундир посмотрел — в суд взяли: вещественное доказательство. На вершок сукна в правом боку выхвачено пулей, а делать нечего, буду сидеть, думать буду, как с дурнем этим поступить, как волков накормить и овец досчитаться.

Целый час говорил, сл*о*ва не солгал, ничего не обещал — отпустил обнадеженного.

Кончал базар.

Как собака устал, замерз, по спине мурашки, настроение дурное, даже «состоящему при нем» отдавал распоряжения без обыкновенной ласковости.



За окном светает, спать ложиться — смысла нет, только задремлешь, пора во дворец с утренним докладом.

Про этого, что к царской карете подбежал, ничего не выяснили, кругом лодыри, лакея то ли не добудились, то ли не будили вовсе — печи совсем холодные.

Надо бы все-таки в Третье отделение про Гаршина про этого сообщить, хоть для порядка, лишний раз приглядеться, проверить никогда не лишне, отец, покойник, умница был, это понимать надо — бумагу подписывал, в буквах путался, а в голове большие тысячи держал, отец всегда повторял: с дурного человека глаза не спускай, а с хорошего двух глаз не спускай, — умница был, царствие ему небесное...

22 февраля 1880. Михаил Малышев

Угомонился.

Спит.

На рассвете ворвался в комнату — очевидная нервная лихорадка, глаза горят, руки ходуном ходят: «Ну, Мишуной, нынче начинается новая эпоха — преломление меча!»

— Помилуй, откуда ты?

— От него! Он обещал пересмотреть приговор. Но если казни не будет сегодня, ее не будет совсем.

Прямо в пальто повалился на кровать, поверх одеяла: «устал, устал» — и, как порог перешагнул, заснул тотчас.

Что он там наговорил?

Что услышал?

Не накликал ли на себя беды?

Отчего ни свет ни заря пристав явился с вопросом, находится ли в настоящую минуту отставной подпоручик Гаршин по месту постоянного жительства?

Сутки Всеволод места себе не находил, ко всем — с одним вопросом, точно каждый раз надеялся услышать в ответ что-нибудь новое: что сделают с тем, кто стрелял?

А со всех сторон одно: *повесят.*

Кто с сочувствием, кто и со злорадством, большинство же не то чтобы вовсе равнодушно, а как само собою разумеющееся, как про дождь на дворе — «повесят».

Повесят — и все.

Как же иначе? Конечно, повесят.

Повесят.

— Как есть, пить, спать, дышать, как жить, Мишуной, с мыслью, что для кого-то готовят петлю?..

Тут не в болезни дело — в натуре.

Но может быть, мир оттого стоит пока, не рушится, не обраща-

ется в непроходимое болото жестокого, пошлого эгоизма, что ходят по земле люди, которые не в силах жить по обыкновению, когда рядом с ними кого-то убивают, вешают, лишают куска хлеба, заставляют торговать собой.

Родные Всеволода рассказывают: мальчиком, лет четырех или пяти, он все собирался в солдаты. В доме жили еще впечатлениями недавней Севастопольской кампании. Время от времени маленький Всеволод складывал в узелок немного белья, домашние пирожки, мелочь какую-то, приходил к матери, Екатерине Степановне, прощаться. «Прощайте, мама, — говорил печально, — что же делать, все должны служить».

Но для Всеволода не одно то важно, что — все: не меньше (больше, наверно), что — за всех. Он и к диктатору пошел мира для всех просить, потому что не в силах сам один жить в мире, когда для всех нет его на белом свете; но если для всех никак невозможно, он бы искренне рад взамен незадачливого стрелка хоть в петлю.

В семьдесят седьмом году, в августе, он, Малышев, добился разрешения ехать добровольцем на войну в Болгарию; Всеволода он нашел в городе Беле, в пятьдесят шестом военно-временном госпитале, разбитом в палатках над быстрой рекой, на крутом каменистом берегу, — Всеволод лежал на неудобной койке, сооруженной из носилок, морщился и покряхтывал при каждом движении, но был лучезарно радостен, как женщина через час-другой после родов. Он много курил (у него это признак хорошего настроения) и все повторял, что никогда на душе так легко не было. Еще бы! И со всеми был, и пострадал за другого.

На войне он, и правда, совершенно оставаясь собой (именно потому!), легко соединился, слился с другими, со всеми, тянул общую лямку, не отставал в дальних и трудных переходах, с солдатами жил душа в душу, часами беседовал с ними, сочинял для них письма, помогал больным и немощным, пока, наконец, в решительную минуту не бросился, забывая про себя, к сраженному пулей товарищу; рота единодушно присудила ему за подвиг Георгия, да вышла какая-то путаница, не дали ему креста.

Одиннадцатое августа семьдесят седьмого осталось для Всеволода чем-то вроде камертона правильного и оттого доброго душевного устройства. Что-то похожее (как ни терзается он во время работы, как ни сомневается в том, что из нее получилось) приносит ему написанный рассказ. Пишет он мало и трудно, каждая буква, по собственным его словам, стоит ему капли крови, сколько таких капель, даже на десяти, на пятнадцати страницах, и сколько боли; что ни рассказ — сплошная, невыносимая боль, но оттого и счастье: чужую боль на себя взвалил!..

В «Художниках» герой рассказа, живописец Рябинин, по воле Всеволода, изобразил Глухаря, рабочего, который на заводе клепает

котлы. Глухарь залезает внутрь котла, наваливается на металлическую заклепку грудью, а снаружи мастер колотит по ней огромным молотом. Написать такую картину, какую у Всеволода в рассказе Рябинин написал, нельзя, невозможно, — чтобы и темная внутренность котла, и согнутый в три погибели человек, и кружочки света на его лохмотьях, и главное, чтобы эти страшные удары, которые сыплются на его грудь один за другим. Невозможно такое красками на плоскости холста — это он, Малышев, как художник достоверно знает, но для Всеволода вся суть тут: человек подставил грудь, а по ней — молотом. И Рябинин своей картиной жаждет всех вокруг тоже в сердце ударить, потому что нельзя так, немыслимо, не жизнь это, когда одного, кто грудь подставил, — в сердце, а другие смотрят, с сочувствием ли, или со злорадством, или — всего хуже, может быть, — с безразличием: будто дождь на дворе...

Как он маялся, Всеволод, последние сутки; бегал по приятелям, от одного к другому; с его манерой держаться в тени и ходить как-то вдоль стен всюду возникал словно неожиданно, ко всем только с одним вопросом — и со всех сторон: повесят, повесят, да уж как пить дать повесят.

Весь вечер сочинял какую-то бумагу, говорил, что тело у него болит, в голове огонь, глотал рижский бальзам и не пьянел, а обыкновенно почти и не пьет вовсе, соорудил на письменном столе (тоже его привычка) диковинную башню из чернильницы, пресс-папье, бронзовых стаканов для ручек и для перьев и линейки, потом вдруг быстро оделся и вышел: «Казни не будет, Мишуной!» Пока он, Малышев, выбрался из постели (уже спать было лег), пока оделся, выбежал на лестницу, Всеволода и след простыл.

Бросился к диктатору — как на Аясларской высоте: либо спасти гибнущего, либо вместе!

Что он там наговорил, натворил?

Что в ответ услышал?

Вернулся радостный — «преломление меча»...

Неужели Лорис-Меликов, увидев несчастного Всеволода, решил обманом его успокоить? Или — просто отделался от него? Шутят же, что графу при назначении вменено было в обязанность, чтобы правая рука у него не знала, что делает левая: Всеволод в левую руку поверил, а граф лисьим хвостом перед ним махнул — и только.

Всеволод — дорогая скрипка, он постоянно ищет сыграть людям прекрасную мелодию, но жизнь так жестоко, грубо — как ножом полоснет, — так невпопад проводит по струнам смычком, исторгая мучительный звук.

«Преломление меча...» А народ уже спешит по улицам к Семеновскому плацу, один Всеволод угомонился и спит, безмятежно улыбаясь; только левая бровь по обыкновению приподнята, как бы в мучительном недоумении.

22 февраля 1880. Отставной полковник Дементьев

Его бы воля, он извергов этих на площади пытал при всем народе, каленым железом жег, ногти им драл, потом раздевал бы догола — и кнутом, да не просто ременным, он бы на кнут такие насадки делал, наподобие рыболовных крючков, и бил с оттяжкою, и уж после порешал бы совсем, да не вешал, а беспременно четвертовал. Петля им, извергам, тьфу, нипочем, пять минут ногами подрыгал, что в танцевальном заведении, и вся недолга — и народу никакого устрашения.

А народ надобно беспременно в страхе держать, народ глуп и понимает только страх; нынешний государь дал мужикам волю, изверги, смутьяны в судах речи говорят — как не быть бесчинству!

Он, отставной полковник Дементьев, трем царям служил — дело знает.

При покойнике Николае Павловиче пошлют с командой куда-нибудь в губернию усмирять народ — какой суд, какая воля! Палки-розги возами в обозе, время тратить некогда, только завиделось село — пошли гулять: главных смутьянов — в железа, остальных прочих так отделаешь без разбору — год ни сядут, ни лягут, чтоб тебя не вспомнить. Сам для интересу присмотришь какую-нибудь бабеночку, личиком смазливую да в теле, и плетью ее, плетью — пусть наперед мужика своего учит уму-разуму, чтоб не бунтовал.

Про графа-то Лорис-Меликова худо говорят, будто потакает извергам да болтунам, склоняет государя насчет конституции. Ну да как самому-то пулей чуть бок не вырвали, мигом в другую сторону поворотил, зашевелился. Что он там за граф, оно видно будет, а пока дело решил по-нашему: получай, мерзавец, пеньковый ворот.

Он, отставной полковник Дементьев, его бы воля, чего похлеще придумал. Вон народу собралось — полный плац, а много ли тут честных-то людей? Раз-два и обочтешься: все негодяи, в душе бунтовщики, пальцем поманишь — убьют и подожгут. Разве они радоваться сюда пришли? Сочувствовать.

Надо, однако, поближе к помосту протолкаться — не стоять с этим быдлом да и чтоб все как есть видеть получше.

Дома-то супруга начнет вязаться — каждую мелочь выспросит, и звал ведь вместе идти — не пойду, говорит, грех.

Какой же это грех — изверга, злодея, покусителя на тот свет проводить? Еще и за доброе дело зачтется.

Хорошо, бекешу надел праздничную да военную фуражку — без звука расступаются, пропускают вперед.

Ну вот — дальше некуда: оцепление.

Туда, к самой виселице, только знатные господа подъезжают, прямо в экипажах.

Жалко, погода сумрачная, унылая, еще и фабрика дымит, и па-

ровозы по ту сторону плаца, на железной дороге. Серо кругом. Сейчас бы солнышко, так бы все и расцвело!

На палаче новый синий кафтан, шапка смушковая — ишь форсит, прогуливается перед господами гвардейскими офицерами, цену себе набавляет — еще бы: из Москвы привезли!

А на что его было везти, разбаловали народ: эка задача — веревку намылить да на шее затянуть!

Ишь ты, какой туз подкатил — в открытой коляске и с дамой. Не меньше как тайный советник. Дама, конечно, не первой свежести, однако еще ничего штучка!

Супруга, глупая женщина, грех ей, видите ли, смотреть, как человека убивают, не пошла — будто всякий день вешают; теперь, конечно, злится, на стены лезет, Варьку по мордасам охаживает.

Варьку взяли в услужение взамен Василисы, а прежде еще Катерина была — бог прибрал. С Василисой у них промашка вышла — здоровая девка, кормить надо было меньше. Полгода пожила, однажды он к ней вечером по обыкновению с камышовой тростью: «Ну, Василиска, поучить тебя надо!» — супруга, та щипать да за волосы драть — а девка ни с того ни с сего расходилась, табуретом его, хозяина, стерва, ударила по голове, супругу на пол опрокинула — их обидеть долго ли: ему семьдесят пятый пошел и супруге около того? — два замка, лошадь, выбила, со второго этажа из окна сиганула — и поминай как звали. Он к Алексею Егоровичу, знакомому полицейскому начальнику, приятелю, можно сказать, Алексей Егорович туда-сюда, ничего не выходит. Пристроилась, говорит, ваша Василиса в заведение, и теперь она не Василиса вовсе, а Ванда, извлечь же ее оттуда нет никакой возможности, потому как хозяйка через своих клиентов весьма влиятельная особа и Василисой-Вандой вашей очень довольна.

Вот она воля — такой разврат, такое распутство!

Ишь, загалдели вокруг, слава богу, а то уж и ногам холодновато.

Смотри, как его, изверга проклятого, нарядили — куртка ватная и штаны, боятся, что ли, чтоб не простудился, — смех, ей богу, с этой волей! Руки выше локтей веревкой стянуты — накось, выстрели! — и колесница черная, с решеткой — не убежишь. Отчего это их спиной вперед возят — не забыть, спросить у Алексея Егоровича.

Все, голубь сизый, сотню раз еще дохнешь — и переломят шейку. Отлетит душа в ад.

И собою безобразен: худой, желтый, это надо же — волосы черные, а бороденка рыжая.

Улыбается.

Все беды от них, от смутьянов, взяли волю, подговаривают народ не повиноваться, в газетах, в журналах им раздолье, печатают крамолу, разврат, страху нет, все с рук сходит, нынче что ни писатель, беспременно бунтовщик — вешай, не ошибешься!

А палач-то, хоть и разъелся на даровых харчах, однако, сразу видать, мастер: красиво голубя сизого на эшафот ведет, ласково, как невесту, под спину держит, и сам что твой жених — важно выступает, значительно; что ни говори, во всяком деле одного умения мало — красота нужна.

Поставил к позорному столбу, снял с изверга шапку — чиновник теперь будет приговор читать.

Кнута бы сейчас замест этой говорни.

Лучше всех Катерина была. Страх знала; почти и говорить разучилась со страху. Сперва ее на весь вечер в холодный коридор — белье стирать, а к ночи заведешь в тепло, в комнаты, ну, голубка сизая, что же ты так грязно стираешь, матери твоей за тебя ежемесячно пять рублев в деревню отсылается, а от тебя расход один; уж, кричи не кричи, голубка, придется тебя поучить, тросточки-то мои по тебе соскучились, и супруга, пока тебя не поучит, нипочем не заснет, вся извертится. А кричи не кричи, никто не услышит: дом собственный, четырехэтажный, половина второго этажа — своя квартира, вход отдельный, не добраться, не достучаться. Болтать, конечно, не запретишь, но, слава богу, законы есть — предъяви доказательства.

Один разлетелся, смутьян проклятый, щелкопер, воротился с войны, простреленная нога, для журналов — век бы их не читать — кропает что-то, возомнил о себе. Некто Гаршин. Поселился в соседнем доме, наслушался от жильцов — честные-то люди ничего не скажут, а дрянь всякая, вечно за квартиру должали (он, отставной полковник и домовладелец Дементьев, их потом всех прочь погнал), — стал было подъезжать и к Катерине: девка на улицу, в лавку или еще куда, он к ней ковыляет, норовит заговорить. Ну, Катерина страх знала, ни с кем рот не разомкнет, да и попугали ее маленько с супругой — смотри, Катерина, правда-то ведь всегда наша. Тут Гаршин этот самый возьми и подай письмо начальству: так, мол, и так, что-то происходит, не знаем — чт*о*. Ах, господин Гаршин, не знаете — чт*о*, а его высокопревосходительство знает — чт*о*. Вы, господин Гаршин, вольноопределяющийся из студентов-недоучек, особа, можно сказать, без определенных занятий, нигде не служите и по Офицерской в доме тридцать три одну комнату вдвоем с приятелем снимаете, а господин Дементьев имеет быть отставной полковник, трем государям служил верой-правдой, владеет собственным домом на Английском проспекте и у начальства вне подозрений. Вот оно — чт*о*. А посему письмо ваше оставить без внимания. Алексей Егорович потом все смеялся: ну как, спрашивал, подстреленный этот еще не сделал вашей Катерине предложения по всей форме?.. Гляди — писательша будет!..

Ну, слава богу, приговор читать кончили — теперь будем в оба смотреть.

Супруга дома про всякую мелочь выведывать станет.

Вишь, мотает изверг головой, что дурная лошадь, — это палач ему сказал с народом прощаться. Да уж прощай, голубь сизый, больше ни на этом свете не свидимся, ни на том: тебе-то дорога прямо в ад, в смолу кипящую.

На лесенку уже взошел, а все улыбается — дали им волю, о душе забыли думать. Ему бы слезы горькие лить, просить у господа прощения.

Слава богу, мешок ему на голову надели, не видеть лица его мерзкого — это ведь как природой-то отметило: волосы черные, а бороденка рыжая, — улыбку его мерзкую не видеть; мешок, однако, длинный какой, до колен.

Вот уже и петлю палач ему на шею надел, основательно, оправляет, будто под венец снаряжает, а изверг-то вроде и поворачивается слегка — будто на примерке.

Знатоки говорят, вся цена палачу оттого, как лесенку из-под ног у повешенного вынет. Ежели резко выбьет, погубил все дело: повешенный быстро падает, тяжело, шея в момент переломится — считай, пропала казнь. Ее, лесенку, надо потихоньку убирать, тогда казнь хорошая, долгая.

Ну, этот — мастер: так аккуратно достал, что изверг-то и не сдвинулся почти, только на веревке завертелся, ноги растопырил, заплясал, руками за спиной задергал, а ручки-то связаны, не снять петлю, а ножки-то до земли не достают.

Неподалеку шум какой-то: жандармы, конные и пешие, ведут сквозь толпу человек семь, по рожам видать — смутьяны, вроде того, который висит, на веревочке крутится, ногами дрыгает, сообщники, должно быть. Тоже, поди, — писатели!..

Нельзя народу волю давать, ох, нельзя!

Вчера, рассказывают, по городу закрытая карета ездила, сделано было из нее три выстрела — один на Невском, другой на углу Большой Подьяческой, третий возле Мариинского театра; конная полиция пустилась в погоню, кое-как остановили карету, а она пустая!..

Вот что делается!

Гвардейские офицеры окружили палача, чаевые ему дают за работу.

Веревочки бы обрезок, на которой вешал, купить у него на счастье, ходит слух, тоже господа гвардейцы разбирают. Да и боязно.

Сейчас дома завтрак горячий, кофею, рюмочку перцовой, маленькую, много себе не позволяет, семьдесят пять годков скоро, о здоровье забывать не след.

Позавтракает, Варьку уму-разуму поучит, чтобы не слушала этаких смутьянов.

Катерина, однако, лучше всех была: тихая и лицом вышла.

Той самой зимой, как объявился у нее заступник этот, бог прибрал. Отправилась по какой-то надобности на реку, подошла к проруби, край у проруби мокрый, скользкий, оступилась, бедная, — и тю-тю...

3 марта 1880. Надежда Михайловна Золотилова

Пустое «вы» сердечным «ты» — нет, не обмолвясь, не обмолвясь, заменила она «вы» на «ты», как Всеволод шутит, распевая пушкинскую строчку. Нет, не по обмолвке «вы» на «ты» в жизни их заменилось: она любит его, этого ни на кого вокруг не похожего человека — грустного солдата, который пуще всего на свете ненавидит и отрицает войну, но притом что ни день, как ни болят рубцы и раны, по собственной охоте становится в строй. «Все должны служить», — говорит он, получает новые раны; сердце, душа, ум — все изболелось, а он не уходит из строя и, как написанный им Глухарь, подставляет и подставляет грудь под сокрушительные удары молота.

Впрочем, о своей «особе», как он любит себя именовать, отзывается он по большей части иронически; едва разговор о нем в его присутствии принимает хоть несколько возвышенный характер, тотчас его прекращает, с улыбкой сообщая о себе что-нибудь вроде того, что похож на подстреленную галку.

Горячей чернотой, птичьей чуткостью он, и правда, похож на галку или на ворона, как-то он рассказывал ей, что в детстве жил у него ручной ворон, с этим вороном было их не отличить.

Он бывает весел и оживлен, но редко смеется громко, когда же улыбается, глаза его не смеются, как у лермонтовского Печорина; однажды она сказала ему об этом, он отшутился по обыкновению: «Это Лермонтов с меня списал», потом задумался и прибавил серьезно: «Кажется, и у самого Лермонтова глаза оставались грустны, когда он смеялся».

Лермонтова он едва не всего помнит наизусть, чаще всего читает любимое — «Не смейся над моей пророческой тоскою», читает всегда волнуясь, — ей и слушать хочется, и остановить его, оборвать: она чувствует, как всякое слово дорого ему дается, чувствует, как собственное ее сердце сжимается от тоски и тревоги за него. «Ну, не надо, Всеволод, не надо», — просит, молит она в душе, глядя, как прикованная, в горячие его глаза, но произнести вслух не в силах. «Но я без страха жду довременный конец...» — дочитывает он, не отводя от нее печального взгляда, и ей больно и страшно: ведь это он впрямь о себе говорит — о себе.

Минувшим летом явился нежданно-негаданно на Шексну, в Федосьин Городок, — то есть жданно, конечно, и гаданно: уезжая к род-

не на каникулы, она сама дала адрес и все думала, высчитывала, в уме ворожила — приедет, не приедет? — и боялась поверить, чтоб не сглазить, и оттого, когда он примчался, показалось, что — *вдруг,* что не ждала, не гадала.

Он был необычайно оживлен, рассказал весело, как месяц назад на пути в Харьков был обокраден ловким железнодорожным вором, — вор унес чемодан, в нем всю одежду и рукопись «Художников», однако происшествие пошло только на пользу: харьковский портной Михель, жалеючи Гаршина, давнего своего заказчика, сшил ему костюм в кредит, рассказ же переписан заново, отчего, без сомнения, выиграл. К тому же в ожидании нового костюма он разжился у приятеля ярко-красной рубахой, которая очень ему к лицу, — вот, изволите видеть — он тотчас выбежал в соседнюю комнату и через минуту возвратился в этой цвета алого мака рубахе навыпуск и после уже постоянно ее надевал, отправляясь на гуляния, пикники, костры, лодочные катания, которые сам же бесконечно придумывал и устраивал.

Однажды на прогулке он соорудил себе плащ из лопухов, скрепленных травинками, и попеременно изображал Дон-Кихота и Санчо Пансу — произносил монологи обо всем, что попадалось на пути, сперва от имени одного, потом от имени другого, и убеждал ее, что и тот и другой преудобно уживаются в нем одном. «Вместе со мною самим это прямо-таки троица, един в трех лицах», — говорил он, и улыбался, и смотрел на нее печальными, горячими глазами, и невозможно было понять, шутит он все-таки или говорит серьезно.

Когда затеяли костюмированный вечер, она предложила ему нарядиться Дон-Кихотом и Санчо Пансой, — нет, он будет Пьеро, сказал он, образ печального, неудачливого возлюбленного не чужой ему образ, и в юности ему случалось изображать Пьеро, и очень успешно. Она наскоро сшила ему блузу из ночной тетушкиной кофты, приладила на место пуговиц большие черные пуфы, он густо напудрил лицо, навел сажей печально изломанные брови; он был как-то отчаянно весел, стал показывать, как танцуют гопака, высоко подпрыгивал, шел вприсядку, вдруг громко засмеялся глуховатым голосом, и она с изумлением поняла, что впервые слышит его громкий смех, но глаза у него налились слезами. Она взяла его за руку: «Всеволод Михайлович, довольно, голубчик, довольно!» — он сжал ее руку в своей и, не отпуская, стал читать Лермонтова: «Но я без страха жду довременный конец...»

Он держал ее руку в своей сухой, жаркой ладони и так дочитал стихотворение до конца, но и после этого не освободил ее руку, а сказал, почти без паузы, глухим дрогнувшим голосом: «Ах, Надежда Михайловна, голубчик Надя, если бы вы могли всегда быть со мной».

Он сказал об этом так, словно они были вдвоем и никого вокруг не было, и ей вдруг в самом деле показалось, что никого нет рядом с ними, только тени какие-то движутся по комнате.

— Отчего же, Всеволод Михайлович, — ответила она, сама удивляясь спокойной уверенности, с какой произносит это. — Отчего же, вот кончу курс...

— Нет, нет, невозможно... — торопливо перебил он ее.

— Отчего же невозможно, только, пожалуй, надо сперва все-таки курс кончить...

Он снова ужасно развеселился, выпил большую кружку домашнего пива и принялся уплетать да нахваливать всевозможное тамошнее печенье: шаньги, ватрушки, колобки, наливушки. За ужином он вспомнил детство, Олонецкую губернию, где случилось ему бывать мальчиком и где едал он такие же яства, да и места здешние на первый взгляд показались ему похожими на окрестности Петрозаводска; некоторые впечатления детства, объяснил он, оставили следы уныния на его физиономии и в характере; и резко оборвал рассказ.

Ему захотелось тут же выучить всех игре в «благовест»: игра заключалась в подражании церковным колоколам. «Бли-и-н, бли-и-н» — запевал кто-нибудь басом; «полблина, полблина» — вторил ему другой, повыше; «четверть блина, четверть блина» — вступал тенор; «три блина, три блина, пять блинов, пять блинов» — рассыпались женские голоса; и наконец: «блины, блины, блины» — выводило самое высокое сопрано. Всеволод Михайлович вскочил на табурет, дирижируя, — и тут ко всеобщему удовольствию послышался гулкий звук всамделишных колоколов — благовестящие звоны с колокольни недальнего женского монастыря потекли в открытые настежь окна.

В те дни наехало в монастырь следствие: выяснилось, что монахини одну из сестер за непослушание посадили на цепь в глубоком подвале. Всеволод Михайлович ужасно возмущался, бегал объясняться с настоятельницей, услышал что-то вроде «господь терпел и нам велел», стал горячо спорить: Христос не терпению учил, а нетерпимости в борьбе со злом, — еле разняли.

Сам Всеволод, впрочем, вовсе не религиозен, «по миросозерцанию совершенный естественник, хотя и не состоявшийся», — объясняет он иронически, поскольку дело касается его «особы».

Но злу нигде уступать нельзя, ни даже в толковании священного писания, он, кажется, спорил об этом перед картиной Крамского «Христос в пустыне» — и в ней угадывался ему призыв к борьбе со злом.

Она спросила как-то: война — зло, почему же он пошел воевать, принял участие в зле; он отвечал: не страдать вместе с другими от

зла — хуже этого ничего быть не может. Улыбнулся и прибавил, что у него, правда, другая причина была идти добровольцем — экзаменов испугался и убежал из Горного института на войну.

Они познакомились полтора года назад, он находился на переосвидетельствовании в петербургском Николаевском госпитале, в том же здании располагались и женские медицинские курсы. Курсистки бегали его навещать: всего-то успел он напечатать «Четыре дня» и «Происшествие», но слава у Всеволода Гаршина была огромная, по рукам ходили его фотографии — молодой человек в солдатской шинели, печальное лицо, глубокая дума в печальных глазах. Поглядеть на него, послушать его было интересно, приятельницы, прежде его знавшие, как-то потянули ее к нему, она не стала отказываться.

Он располагался в ужасной, огромной палате, больные — склеротические старики, неопрятные, с трясущимися руками и гадкими шуточками, молодые, большей частью венерические, всегда навеселе, они часами просиживали с картами за столом, ссорясь из-за каждого хода. Гаршин пристроился с тетрадкой на подоконнике. Заметив знакомых барышень, он отчаянно замахал руками, чтобы не задерживались в палате, и, прихрамывая, вышел к ним в коридор.

Он держал в руке скрученную трубкой тетрадь и тотчас начал горячо рассказывать, что пишет «одну штуку» — добрый молодой человек боится войны, страдает из-за нее и все-таки идет воевать: не может читать в газетах бесконечные цифры потерь, лучше быть убитым, чем прятаться, наблюдая, как умирают другие.

Она спросила: его убьют, вашего молодого человека?

Гаршин пожал плечами.

Он сказал, что в новой «штуке» есть у него также один студент, больной гангреной, — зловонные черные пятна на груди и на плече — такого больного он сам видел и даже дежурил при нем, промывая его раны, это был его приятель по Горному институту.

Она спросила: ваш приятель умер, конечно?

Представьте, выжил, отвечал он, врачи говорили — один случай из тысячи; но у меня в рассказе студент непременно умрет: люди, спокойно читающие в газетах пятизначные цифры потерь, должны сердцем, шкурой Почувствовать цену одной жизни.

Ну, сказала она, тогда и главного героя вы, конечно, убьете, иначе ничего не получится.

Он посмотрел на нее внимательно и улыбнулся одними губами, слегка, будто в печальном недоумении, приподняв левую бровь.

Через день или два она зашла к нему за письмами (он отправлял письма через знакомых, не доверяя госпитальной прислуге), Гаршин рассказал ей, что накануне был у них в палате скандал с мордобитием, схватились сразу четыре человека из-за сущей безделицы и чуть

не поубивали один другого. Некоего прапорщика, участника побоища, как низшего чином, выписали в наказание из госпиталя, и теперь пострадавший, конечно же, надерется с горя и отправится со всеми своими болезнями искать утешения у какой-нибудь «девицы», вроде Надежды Николаевны из его, гаршинского, «Происшествия», вот и мрут эти «девицы» страшной смертью в больнице для бедных или кидаются вниз головой в Екатерининский канал; прапорщик между тем и мизинца на ноге Надежды Николаевны не ст*о*ит.

Она возразила: если прапорщик или поручик из этой палаты, не говоря уже о капитане, сделает завтра предложение барышне-гимназистке, оно будет с восторгом принято благородным семейством; таким образом, участь благородной барышни немногим отличается от участи бедной Надежды Николаевны.

Он, как и в прошлый раз, приподняв бровь, посмотрел на нее с особенным пристальным вниманием.

— Когда я писал «Происшествие», — объяснил он, — передо мной лежала картинка из веселого журнала «Стрекоза»; о ней, об этой картинке, Надежда Николаевна вспоминает в рассказе: посредине хорошенькая девочка с куклой, вверх от нее — гимназистка, скромная молодая девушка, мать семейства, наконец, почтенная старая дама, а вниз — девчонка с коробком из шляпного магазина, уличная женщина, грязная мусорщица с метлой и гнусная старуха.

Она кивнула головой, что помнит про картинку.

— Там, в «Стрекозе», еще стихи были, — продолжал Гаршин. — И между прочим: «Первый путь готовит счастье, счастье верное тебе». Но ужас в том, что девочка слишком часто не вольна в выборе пути, к тому же первый путь также слишком часто готовит женщине грязь и ложь.

Она сказала, что так и поняла: Надежде Николаевне нет спасения, — спасаясь, она опять должна продавать себя.

Он улыбнулся — и глаза вдруг улыбнулись тоже, — взял ее за руку и пожал крепко и быстро.

Сколько было потом разговоров, встреч, записочек от него, с Садовой, к ней, на Литейную («В городе. Литейная, № 52, кв. 42. Надежде Михайловне Золотиловой»), — приглашение зайти или просьба его принять, сколько радости всякий раз, когда по возвращении с курсов видишь в двери уголок конверта.

Последний ясный радостный день — второе февраля, двадцатипятилетие Всеволода Михайловича, он приволок из кондитерской немыслимой красоты торт, называемый почему-то «Евгения», бутылку шампанского, накрыл у себя в комнате стол (даже белая скатерть откуда-то появилась), предложил ей руку и торжественно, как королеву, усадил на почетное место; с ними был и Михаил Егорович Малышев, Всеволод именовал его Мишуноем, старый, еще со школьных времен, друг, с которым они и квартировали вместе.

6—788

В разговоре Всеволод то и дело возвращался к скорому своему отъезду в деревню; Михаил Егорович, большелобый, с широко расставленными глазами, мягко, но упрямо отговаривал его: деревня бедна и невежественна, от этого несправедливость, угнетение, голод, рабский труд, все язвы, все больные вопросы там по-своему явственней, резче, больней, чем в городе, с ними сталкиваешься не то что всякий день — поминутно, там вся изнанка жизни перед глазами, на ладони, не спрятаться, не отвести взгляда.

Всеволод упорствовал: тем более нужно подставить плечо под общую ношу, в армии слышал он об одном молоденьком докторе, который не выдержал, когда солдаты надрывались, вместо изнемогших лошадей тащили на себе из болота орудия и снарядные ящики, бедный доктор от жалости к ним, от бессилия своего повесился, а надо бы впрячься в общее дышло — пусть невелика подмога, но как важно сознание, что ты не в стороне, со всеми.

Михаил Егорович взял в помощь «Художников»: Рябинин написал картину про Глухаря и тысячам людей открыл царящее на земле зло, заставил их задуматься о. том, сострадать; в деревне же гаршинский живописец не преуспел. Так и Всеволод: именно своими рассказами он — в общей жизни.

Всеволод упорствовал: он и не намеревается бросать литературу, и все-таки в стремлении погрузиться в деревенскую жизнь есть что-то, что на весах не взвесить, что-то большее, чем польза, — объяснить он не умеет, но чувствует, что есть...

Она почти не вступала в беседу, лишь изредка, когда обращались к ней, вставляла слово, она знала, что Всеволод ее любит, да он и не таился, и потому была особенно сдержанна, стараясь никак не влиять на его решения.

Гаршин чувствовал это и, хотя никогда не укорял ее, однако, случалось, шутил: его-де унылая особа вряд ли способна внушить здоровой молодой девушке, не склонной принимать сладкое за горькое, сильное ответное чувство.

Но она любит его и оттого понимает все, что он говорит, она и сама, кажется ей, готова жизнь отдать, чтобы ему было хорошо и радостно, ей нравится, что он повсюду смело рекомендует ее своей невестой, — просто она не в силах поверить, что есть будущее у их любви. Она не в силах поверить, что именно ей суждено пройти с этим человеком трудной дорогой его жизни, стать ему нужной, когда он с мучительным напряжением ищет ответ на неразрешимые вопросы, постоянно предлагаемые действительностью, и когда кажется ему, что ответа нет и не будет, вместо него грудь подставить.

К тому же: «мамашу это убьет» (его шутка). С матерью Всеволода, Екатериной Степановной, она незнакома; если Всеволод и сообщал матери про невесту, она, должно быть, не отозвалась, — напиши Екатерина Степановна что-нибудь доброе, он непременно поспе-

шил бы передать. Но шестое чувство подсказывает — хоть и шутит Всеволод, а какая-то убежденность все же есть в его голосе, когда произносит: «мамашу это убьет».

Всеволод все убеждает ее, что мать и умнее его, и прозорливее, что выстрой он жизнь по ее плану, оно, может быть, и в самом деле было бы для него лучше, но вот беда — со своим ковырянием в себе, с неусидчивостью своей, с упрямой неохотой выбиваться «в центру» — он совершенно не способен жить «по-чужому», умеет только по-своему — от этого вечное чувство вины перед матерью, раздражение на нее, на себя, а из-за этого раздражения стыд и еще большее чувство вины.

Что тут делать, чем Всеволоду отвечать — и надо ли? Кто она, в конце концов, такая — всего-навсего студентка-медичка, Надежда Михайловна Золотилова, Надя, для него — голубчик Надя, ей-то откуда взять уверенность, что именно она нужна всероссийскому писателю Всеволоду Гаршину, про которого говорят, что кровью пишет свои рассказы, кто она такая, чтобы за него вступать в борьбу с неведомой и могучей Екатериной Степановной? А подчиниться, «по-чужому» жить она и подавно не умеет — характер у нее определенный, решения она всегда принимает сама, даже вопреки общему мнению, — жаль Всеволода, только здесь ему самому решать...

Но после второго числа, после шампанского и торта «Евгения», хоть и без вьюг, без метелей, такой февраль закрутился, подхватил, закружил Всеволода, — уже не до себя ей стало, не до сдержанного, сдерживающего «вы». Вечером после казни Млодецкого прибежал на Литейную: «Ах, Надя, голубчик, я такое, такое видел...» Что же он видел? — нет, не открыл, нельзя, только голову положил ей на плечо и замер...

А день-два спустя вдруг успокоился, сказал, что все обдумал: отъезд в деревню пока откладывается, очень уж хорошо пошла у него работа. Вещь огромная — похоже, его «Война и мир». Первый отрывок почти совершенно закончен, но теперь необходимо съездить в Рыбинск, где стоит его полк, взять кое-какие подробности военной жизни, потом, не исключено, придется и на Дон махнуть. Так крепко завязывается штука — просто эпопея! Есть у него также важные дела в Москве и Туле. И все просил: жди, жди, кроме тебя, у меня теперь никого...

Мишуной напугал ее: Всеволод перед отъездом курить бросил — признак душевной тревоги.

Может быть, надо было удержать, не пустить — сумела бы, наверно: «ты» — не «вы».

Не решилась.

Заспешил, сорвался — теперь ищи ветра в поле...

6 марта 1880. Иван Сергеевич Тургенев

Недаром говорится: и март за нос хватает — вдруг морозец приударил, подсыпало снежку — высветлил за окном крыши и мостовые, но уже не обманет — весна!

Нет-нет, а и на сером петербургском небе проглянет солнышко, разливается в воздухе особенная, весенняя, до головокружения, до невесомости тела, легкость, и с нею являются смутные, радостные надежды и ощущение недалеких и нежданных удач.

А вместе томит, омрачая надежду, мысль о старости окончательной: не первую весну встречает он невеселым вопросом, сколько еще весен осталось ему встречать, и так горько знать, что, пожалуй, и на одной руке вдоволь пальцев, чтобы пересчитать их.

Теперь он часто выходит — стоило ли ехать в Петербург, чтобы валяться в меблированных комнатах, безликих от долгого проживания многих и разных людей и для него тоже не ставших своими, — но подагра, хоть и дала поблажку, полностью не отпустила.

Впрочем, если не надоедают посетители, он, правду сказать, любит эти часы одинокого лежания, в теплой фуфаечке, под желтым жарким пледом, — мысли тянутся вереницей, сегодняшние впечатления сплетаются с давними, и, сколько там ни осталось впереди, неуемная душа все толкает заглянуть в будущее, не в его, Ивана Тургенева, с воробьиный шаг будущее — в будущее вообще.

Нынче он видел это будущее воочию и испытал к нему искреннее тяготение, даже и любовь, но, как бы это поточнее выразить, что-то неуютное было в людях — вдвое и втрое моложе его, — с которыми провел он несколько вечерних часов.

И в ответ — на сей счет он никак не обольщается — почувствовал их симпатию к себе, но опять же нет-нет, да и казалось, что помещен за стеклом, будто экспонат в музеуме — близкий сердцу, но принадлежащий иным векам.

Вот когда разговор коснулся охоты (среди новых знакомых оказалось несколько заядлых охотников), он почувствовал себя совершенно свободно, речи лились без оглядки, особенно один из них горячо и картинно рассказывал про поединок с кабаном; что ни говори, охота — великое единение.

И еще: маленький и смуглый юноша, похожий на шустрого жука, с беззаветной горячностью убеждал его в возможности скорого социального переворота в России. Очевидно, желая, чтобы ему, Ивану Тургеневу, человеку прошлого поколения, к тому же влачащему век свой за рубежом, понятнее были его выкладки, юноша перебирал обстоятельства, сложившиеся во Франции накануне Великой революции, и доказывал, что теперь в России создались такие же обстоятельства. Он отвечал юноше, что хотя в последние годы

настроение в обществе бодреет, но общественные силы еще не объединились в своем отрицании старого, а без этого революцию не произведешь. Никто, пожалуй, не сумеет с определенностью сказать, какие перемены желал бы он видеть завтра. Юноша усмехнулся, пыхнул папиросой, сверкнул черными, как угли, глазами: сейчас, пожалуй, у нас никто не скажет с определенностью, где находится истинная власть — в Зимнем дворце или на конспиративной квартире.

Вся эта встреча с завтрашними людьми — в накуренной комнате, обставленной недорогими, купленными порознь и лишь необходимости ради вещами, за чаем, старательно заваренным, но не лучшего сорта, — эта встреча была для него, Тургенева, непривычна, все в ней было непохоже на влюбленные депутации студентов и курсисток, на овации и подношение лавровых венков после публичных вечеров и чтений, на неспешные, вольно льющиеся беседы с молодыми эмигрантами в Париже, за поздним завтраком.

Глеб Иванович Успенский, выполняя его, Тургенева, просьбу, собрал у себя на квартире молодых литераторов, с недавних пор издающих артельно журнал «Русское богатство»; литераторам тоже хотелось побеседовать с ним, так что просьба оказалась как бы обоюдной. Глеб Иванович предупредил, правда, что приятелями у него люди весьма крайнего образа мыслей, но его, Тургенева, это ничуть не смущало — уж во всяком случае интереснее казалось, чем слегка приевшиеся адреса и венки.

Он приехал на встречу из ресторана, где обедал с прославленным Скобелевым, бесстрашный генерал, молодой и выхоленно красивый, поразил его мягкостью манер, утонченной любезностью. Люди, которые ждали его у Глеба Ивановича, были совершенно иного разбора: следы повседневной и трудной борьбы за существование явственно отпечатались на их резковатых лицах, в сухопарых, жилистых, сутуловатых фигурах, в настороженности, затаившейся в глазах, в умении сосредоточенно молчать, попыхивая папиросой, не томясь от почти болезненной для него, Тургенева, потребности поддерживать разговор.

Уже здороваясь, он испытал неловкость, ощущая непомерную, как ему казалось, высоту своего роста, свое крупное, привыкшее к сытости тело, свое ухоженное, без морщин, лицо.

Беседа поначалу не клеилась, новые знакомые приглядывались к нему и не спешили ни с вопросами, ни с суждениями, его же смущало воцарившееся в комнате молчание, и он, зная за собой это умение, взял на себя обязанность развлечь общество и пересказал свой весьма любопытный разговор со Скобелевым о восточном вопросе; он как всегда разошелся, говорил плавно и легко, меткие замечания и остроты сами приходили на ум, и необходимые жесты являлись, разве что Скобелев, теперь, отсюда, вспоминался ему впрямь

как нечто музейное, в своем генерал-адъютантском мундире, со своими точными, красивыми движениями рук над хрусталем, серебром и салфетками ресторанного стола, и от этого, он, Тургенев, чувствовал, весь его рассказ невольно обретает несколько иронический оттенок.

После того, как милый юноша, похожий на жука, сорвался с ним спорить, дело стало ладиться веселее, но он нутром понимал, что нужно еще что-то, чтобы растопить лед, махнул рукой на великолепного генерала и предложил им историю, озаглавленную «Всемогущий Житкин». Сей Житкин — лицо вполне реальное, крепкий кулачище, замучивший крестьян поборами, штрафами, обманом захвативший у них землю, с каковой целью ни много ни мало переставил межевые столбы. Самое замечательное, что господин кулак купил на корню и уездную и губернскую канцелярии, планы землевладения переделаны согласно его воле, Тургенев желал было заступиться за крестьян — пока, увы, силенок не хватает. Руки чешутся написать о всемогущем кулаке рассказ — чем не герой нашего времени.

Тут собравшиеся литераторы-артельщики начали наперебой уговаривать его не откладывать прекрасный замысел, а напишет — отдать только им, в «Русское богатство». Он посетовал, что не пишется, но коли выпадет ему снова такое счастье — непременно им отдаст.

Когда заговорили о делах журнальных, он подивился непрактичности артельщиков, подробно расспросил о предполагаемых доходах и расходах нового издания, об отношениях с властями, с цензурой, — слушая их оживленные ответы, он вдруг понял, что люди эти, несмотря на трудный житейский опыт, изрядные идеалисты, но тут же подивился и самому себе: да как же могло быть иначе, если они упрямо придерживаются определенных и материально не слишком выгодных убеждений, бедствуют, но не подлаживаются под чужой вкус, оттого и собственный журнал тянут, литература для них святая святых — они ее не разменяют по чужим журналам и газетам.

Несколькими днями раньше Глеб Иванович передал ему на просмотр пять-шесть предназначенных для «Русского богатства» рукописей своих приятелей: старание много и сильно говорить об убеждениях мешает им отдаться на волю художественного чутья. Гаршин в этом кругу, пожалуй, единственный, кто при постоянном напряжении и точном следовании к цели способен довериться собственно творчеству — той беспечности (некоторые не совсем справедливо называют ее бессознательностью), которая, когда ты, как мельница водой (Льва Николаевича Толстого выражение), наполнен тем, что пишешь, сама ведет тебя к правде и художественности. Гаршинских рукописей среди переданных ему Успенским не было. Глеб Иванович

объяснил, что пишет Гаршин до обидного мало. Он, Тургенев, подумал тогда: надо уметь дожидаться такого напора воды, чтобы сам тронул с места жернова.

И вот, сидя с артельщиками за чаем (беседа уже коснулась их литературной работы), он выбрал подходящую минуту, чтобы не обидеть кого-нибудь, ибо жизнь научила его быть чутким к писательской амбиции, и спросил о Гаршине: его удивило, что Гаршина не оказалось среди гостей, — Глеб Иванович называл Гаршина в числе артельщиков, издателей «Русского богатства», много говорил, что именно Гаршин его, Тургенева, очень хочет видеть.

В ответ он услышал поразивший его рассказ о ночном визите писателя к диктатору, графу Лорис-Меликову (на такое, подумал он, кроме Льва Николаевича, никто из нашего брата, пожалуй, и не решится).

Теперь Гаршин скрылся неведомо куда из Петербурга, казнь Млодецкого стала и его казнью — нервы не выдержали. В его таланте, несомненно очень значительном, и впрямь чувствуется некоторая, излишняя, может быть, нервность, — ну да дело молодое, поправимое. Шарль Гуно, композитор, его, Тургенева, ровесник и парижский приятель, в молодости, годов двадцати пяти от роду, тоже пережил какое-то нервное потрясение, что не помешало ему дожить до седин и написать «Фауста». Зазвать бы этого чудесного Гаршина на лето к себе в Спасское, воздух там отличный, гулять есть где, спокойствие и тишина полные, — пусть бы отдыхал вволю и писал в охотку, а ему-то, старику, до чего радостно будет иметь подле себя чистую молодую душу, к тому же наделенную бесспорным и сильным дарованием, — глядишь, наблюдая за ним, разохотишься и сам начнешь водить пером по бумаге. Что ни говори, стареющему писателю, наверно, необходимы наследники. И кто знает: может быть, Державину так же требовалось благословить, как Пушкину получить благословение.

Ему, Ивану Тургеневу, всю жизнь казалось, что живет с пушкинским благословением, хотя, заметив его однажды, Пушкин лишь с досадой повел плечом. Было это сорок три года назад, в зале Энгельгардта, на утреннем концерте: Пушкин был мрачен, запомнилось его небольшое выразительное лицо, быстрый тяжелый взгляд из-под высокого лба почти без бровей; Пушкин стоял у белой с позолоченной лепниной двери, медленно и трудно дышал, точно ему требовалось усилие, чтобы вбирать в себя воздух; поэта раздражало, наверно, бесцеремонное восторженное внимание, с которым он, в ту пору юноша, студент Санкт-Петербургского университета Иван Тургенев, его рассматривал, — он сердито повел плечом. Несколько дней спустя студент Иван Тургенев пришел прощаться с Пушкиным: остались в памяти стены комнаты, окрашенные неприятной ярко-желтой клеевой краской, обитый красным бархатом гроб, поношен-

ное черного сукна платье на покойном, потертый парчовый покров, старенький образок без оклада, высокие желтые свечи, нежно розовеющие вокруг выевшего воск пламени, лиловый налет на крепко сомкнутых губах Пушкина и лиловые тени на веках его, прежде не замеченная седина в волосах; камердинер, по его, Тургенева, просьбе, отстриг ему на память прядку волос с головы поэта — волосы были светлее, чем показались ему давеча, когда он смотрел на живого Пушкина.

Как эту прядку, пронес он через весь свой век частицу пушкинского духа — на этой частице, на этом глотке, в нем, Тургеневе, растворенном, все замешивалось — думы, замыслы, образы, слова. Ведь его, Пушкина, духом русская литература, как все живое, растет и движется. Доживи Пушкин до его, Тургенева, теперешних лет, он успел бы познакомиться со многим прекрасным в отечественной литературе, творениями самого Пушкина завоевавшей право гражданства, он оставил бы этот мир с дорогим чувством: был — благословил.

Пушкин сделал нашу литературу несомненной.

Все это следовало бы сказать в Москве, в мае или июне, на открытии памятника Пушкину, если, наконец, откроют все-таки и дадут говорить.

А после праздника махнуть в Спасское, однажды с вечера проверить ружье, жадно вдыхая запах железа, смазки и пороха, проснуться еще при звездах, кликнуть собаку, — предвкушая охоту, она чутко дремлет на пороге, боится отойти, — и выехать до зари, вслушиваясь в неясный шум облитых тенью деревьев. Лошади разгонятся с горы, телега громко застучит — мимо церкви, направо, через плотину, над едва начинающим дымиться прудом...

На месяц, на две недели забыть про подагру, про старость, про короткое будущее, которое и будущим-то неловко называть...

Взять с собой в деревню этого милого Гаршина — не навек же сбежал он из Петербурга: куда ему деться?..

15 марта 1880. Гаршин. Тула

Такой обыденный, в зубах даже навязший вопрос, истершийся от постоянного повторения, как долго ходивший по рукам пятак, и вместе единственно важный в жизни вопрос — не для того ли жизнь дана, чтобы искать на него ответ: как жить?

Как жить, когда посреди города у всех на глазах человеку надевают петлю на шею, убивают человека?

Поглазеть, как корчится, крутится страшный куль на веревке под перекладиной, а потом пить кофе с булочкой и рассуждать об ожидаемых реформах?

Или попросту не знать, не думать об этой наспех сколоченной

штуке на плацу — почему именно этот несостоявшийся убийца, этот несчастный повешенный, «дурень» этот, как назвал его в ночном разговоре граф Лорис-Меликов, сделался для него, для Гаршина, бревном в глазу, явил перед ним обновленно остро вечный вопрос «как жить?», заставил увидеть рисунок на потертой монете, о которой принято думать привычно — пятак и есть пятак?

То и дело там и здесь на земле тысячами гибнут люди; в несчастной Африке образованными европейцами уничтожаются целые туземные деревни, у нас что ни год крестьяне мрут от голода и нищеты, валятся замертво, надорвавшись в непосильном труде, рабочие на заводах и фабриках, больницы для бедных переполнены обреченными, — неужели участь всех этих жертв меньше для него значит, чем участь одного запутавшегося человека, полезшего с оружием в руках отнимать жизнь у ближнего своего?

Нет, наверно, нет, конечно, нет, но в том-то и ужас, что научились жить, как бы не ведая ни про убитых где-то там, на далеких войнах, ни про сломанных нечеловеческой работой, ни про женщин, выброшенных судьбою на улицу и съеденных дурной болезнью, ни про слабеющих от голода детей. И нужно подчас что-то одно, чтобы иначе увидеть мир вокруг, обрести тревогу, способность напряженно проникать мыслью вглубь явлений, — так, взявшись за качающиеся на поверхности пруда листки водоросли, вытягиваешь и скрытый в темной воде стебель, и корень, зацепившийся в иле.

Так было на войне.

Так было с Глухарем.

Господин на котельном заводе рассказывал, что рабочий — «глухарь», пока жив, обыкновенно добр, даже весел, крепок, общителен, вот только слух быстро теряет от постоянного гулкого грохота внутри клепаемого котла — «ну, да не в оперу же ему ходить» (это шутка такая у заводских господ). И Николай Александрович Ярошенко, приятель, живописец, восторгаясь «Художниками», замечает, однако, что в характере русского рабочего человека в массе нет этой безнадежной обездоленности (Николай Александрович судить право имеет — сам инженер): как ни изнурителен труд, русский рабочий класс духовно не слабеет, наоборот, набирает силу. Но для него, для Гаршина, не могло быть другого Глухаря: в человеке, подставляющем грудь под удары тяжелого молота, сошлось, явило себя все неправедное устройство общества, мира, в котором приходится жить...

«А что, отец родной, кабы этот дурень застрелил меня, ты бы меня тоже эдак жалел?» — граф Лорис-Меликов тогда, ночью, его спросил.

Ходил мягко по текинскому ковру, расстегнутый мундир без эполет, дымил толстыми крепкими папиросами, в левой руке крупные янтарные четки.

«Я — его, он — меня. Он — меня, я — его...» — никак Лорис-Меликов не мог в толк взять, что звенья цепи пропущены одно сквозь другое, ее разорвать нужно.

Он попросил у графа четки — на минуту. Тот настороженно уперся ему в глаза небольшими внимательными маслянисто-черными глазами, высвободил руку из петли, положил ремешок с нанизанными бусинами на протянутую его ладонь.

Он разорвал ремешок: желтые куски янтаря покатились по темно-красному ковру.

Как объяснить ему, что мир хорошо не устроишь, убивая друг друга?..

В его тетрадях упрятан черновик рассказа, который теперь не будет докончен: исповедь человека, взорвавшего дом своего отца. Здесь собрались властелины современного мира: вельможи, промышленники, банкиры — величайшие преступники, ежедневно убивающие десятки тысяч людей. Человек не жалеет о содеянном: он ждет дня, когда взлетят на воздух все особняки мира. «Я пожал его руку, и мы разошлись», — кончается рассказ. Разошлись — но пожал руку!

Потом, после пятого февраля, он видел, как везли хоронить убитых караульных солдат-финляндцев — десять гробов поставили на общий катафалк.

И еще потом, в полдень двадцать второго, он проснулся, словно его встряхнула чья-то сильная рука, одним движением поднялся на ноги, Мишуной в ответ на его взгляд отвел широко расставленные свои глаза, он запахнул пальто и вышел на улицу. Он не выбирал дороги, вообще не думал, куда идет, ноги сами несли; лишь обнаружив перед собой обширное пространство плаца, он понял, где очутился. Было пусто, вокруг лежала голая, дочерна истоптанная ногами земля, по краю площади стояли некрасивые кирпичные дома, вдали дымили фабричные трубы, свистели локомотивы на подъездных путях Царскосельского вокзала. Проехала телега, на ней стоял длинный ящик, прикрытый рогожей, — он лишь минуту спустя догадался, что это увозят тело казненного. Следом, о чем-то деловито беседуя, неторопливо шли два офицера, один, в форме военного врача, вытирал носовым платком затянутую в перчатку руку. Арестанты в неуклюжих серых куртках, громыхая досками, разбирали помост и виселицу...

Как жить?

Как жить?..

Да живи, как все, — слышит он со всех сторон, и снова взамен осмысленных слов бросают ему в ладонь донельзя истертую монету.

Разве не оттого и донимает, мучает его, Гаршина, тоска, что *все* живут неправильно, смирились с этой неправильной жизнью, при-

выкли к ней, убеждают себя и других, что именно эта жизнь, которой они живут, — правильная, или безуспешно бьются над поиском иного пути и с годами теряют веру, что когда-нибудь найдут его, что он вообще есть, этот иной путь. Он, Гаршин, не знает, как *всем* жить, — вот в чем суть вопроса!

И кто они — *все?*

Опять истасканное, пошлое слово.

У него в «Трусе» добрый, образованный молодой человек — *как все* — грудь под пулю подставляет, и в другом рассказе — во «Встрече» — тоже некогда добрый молодой человек — «как все» — грабит и ворует, наживается за счет другого, потому что «все» берут с жизни что могут, самый воздух — и тот, кажется, тащит.

Как сделать, как жить, чтобы мир стоял не казнями, не грабежом, не насилием, не подневольным трудом, чтобы властелин переломил меч, а террорист выбросил в мусорную яму динамит, высыпал из револьвера патроны, чтобы люди не воевали друг с другом, а работали сообща и делили поровну заработанный хлеб, чтобы Глухарь не глох и по воскресеньям ходил в оперу слушать Лавровскую и Хохлова, черт побери!

Несбыточность?

Но если так — зачем жить?

Он часто думает: тогда, под Аясларом, возьми пуля на вершок выше, останься он навсегда лежать на этой заросшей колючим кустарником горе — что изменилось бы в мире? Ровным счетом ничего. Идти или не идти со всеми на войну — дело его, Гаршина, совести, а не борьба с царюющим в мире злом. Но как разбудить совесть каждого и заставить всех прислушаться к голосу своей совести?..

Робинзон Крузо попадает на необитаемый остров, где он никому не должен и ни от кого не зависит, как никто ему не должен и от него не зависит никто. Здесь, на острове, он не только заново изобретает все ремесла, чтобы устроить свою жизнь, — он учится думать и чувствовать иначе, в мире, где он сам творит закон и сам исполняет его. Как заставить каждого человека словно бы пережить кораблекрушение, оказаться на новой, чистой, вымытой солеными волнами земле, начать все сызнова? Вот за что не жалко жизнь отдать — кому нужна его жизнь!..

Ни Лорис-Меликов не попытался отнять ее, ни московский обер-полицмейстер, к которому он пробился дорогою, чтобы и ему сказать о необходимости, о неизбежности устроить жизнь иначе.

И тот и другой уверяли его, что он нездоров: лучший довод в споре — убежденность в душевном нездоровье собеседника.

Знакомые, приятели, близкие объяснят его поведение болезненной неуравновешенностью, в его действиях, начиная с визита к диктатору, увидят цепь безумных поступков, заодно присоединят к ним

и предполагавшийся отъезд в деревню, который пока откладывается, оттесненный новыми маршрутами, начнутся разговоры о лечебнице, — в каком-то смысле удобнее, даже учитывая общественное положение, возможные сплетни и пересуды, чтобы Всеволода Гаршина числили законно сумасшедшим, нежели возмущающим покой искателем истины.

Всякий шаг человека становится понятным и оправданным, пока он каждым своим словом, видом своим, каждым жестом публично объявляет, что поступает — как все!

После реального училища, когда пошел в Горный институт, убеждал себя словами почтенных знакомых: инженер-де в наше время — поприще прочное, не то что, к примеру, филолог. Филологом он хорошо коли найдет место преподавателя в гимназии, скорей же всего так и будет всю жизнь собирать рублевики по частным урокам. А инженер всюду нужен и всегда инженер. (Бедная мама, конечно, тотчас возмечтала увидеть его важной особой: «У тебя, Всева, голова прекрасно приспособлена к техническим наукам; глядь — и директором каким-нибудь станешь».) Но — двух лет не прошло, еще первую студенческую тужурку не истрепал — он уже разделил всех господ инженеров, горных и не горных, на три категории: первые (эти — самые важные особы) — как и все, загребают деньги, чины, места; вторые спиваются, тоже — как все; третьи — люди хорошие, честные, как все хорошие, честные люди, страдают оттого, что не делом занимаются, а стоят у пустого места, волей или неволей помогают набивать мошну господам первой категории и от безысходности страданий оказываются кандидатами во вторую.

Не потому он бьется над этим «как жить?», что обдумывает, к какой категории прилепиться, а потому, что ни в одной из трех состоять не хочет; жизнь не устроена, чтобы прожить ее так, как полагаешь единственно возможным.

Просто привыкаешь не замечать чужой погубленной жизни за цифрами потерь, как привыкаешь, биологически существуя, не замечать, что живешь с укороченными мыслями, чувствами, потребностями.

Но вот происходит нечто, точно все неустройство жизни сгущается в одном-единственном событии, и становится очевидно, что дальше нельзя жить по-прежнему: нужно идти, действовать, отдавать себя ради чего-то иного. Так три года назад война сорвала его с места, захватила, понесла. Так теперь эта казнь что-то перевернула в нем, заставила отложить исполнение собственных планов, снова толкнула в путь.

Что поделаешь, мама, надо идти, все должны служить, — вот он мечется, скитаясь, ищет линию фронта.

Проходит мимо крепостей, гарнизонов, казарм, лагерных расположений, у ворот, у шлагбаумов, на мостах и переправах стоят

часовые, «все спокойно», «все в порядке», «никаких происшествий не произошло» — все живут *как все.*

...Однажды ранней весною императрица Екатерина Вторая изволила прогуливаться в Летнем саду и заметила первую фиалку. Тотчас к цветку, чтоб не сорвали, не затоптали, поставлен был часовой. Императрица, понятное дело, за государственными заботами скоро забыла о прелестной фиалке; годы прошли; новые царствования сменяли одно другое; корни цветка распространились под землею, и он давно уже появлялся заново на свет в иных местах сада; но по-прежнему посменно становились в караул рослые гвардейцы, браво, со звоном, отдавали ружьем честь приближающимся офицерам — сторожили пустое место.

Есть у него и такой сюжетец.

Как открыть глаза часовым?

Как узнать пароль, заветное слово?..

Как обновить смысл истершихся слов и при этом попытаться что-то переменить в жизни своей и общей?..

«Тула. 15.III.1880.

Дорогая мама! Я в Туле с разными целями, между прочим познакомиться с Л. Н. Толстым. Отправляюсь к нему завтра...»

4 мая 1880. Ясная Поляна. Лев Николаевич Толстой

Как живописцу нужно света для окончательной отделки, так и ему нужно внутреннего света, которого он всегда чувствует недостаток в темные осенние и зимние месяцы, и, наверно, поэтому работа, которой он жег себя беспощадно целую зиму, именно теперь, с наступлением весны, сделалась для него самого окончательно ясной, быстро приблизилась к завершению и неизбежно привела его к замыслу новой работы, без чего прежняя оказывалась недостаточно глубокой и полной.

Бумаги минувшей зимой он измарал много, не сказать, чтобы делал это радостно, но с большим напряжением, главное же, что, несмотря на мучительную трудность обдумывания и писания, его ни на минуту не оставляла уверенность, что так нужно.

Нужно это потому, что, будучи приведен жизнью к неизбежному признанию необходимости веры, видя, что вера служит основой жизни всех людей, он счел своей обязанностью исследовать принятое учение церкви, найти в нем истину и отделить от лжи. То, что в учении есть ложь, было для него несомненно, как несомненно, что весь народ имеет знание истины, иначе бы он не жил.

Когда отчаянные попытки найти утраченный смысл жизни породили в нем, уже немолодом человеке, семьянине, писателе Льве

Толстом, искреннее убеждение, что самое лучшее, что он может сделать, — это повеситься, только странная, физическая даже любовь к простому народу помогла ему пробить стену, отгородившую его, «ученого и мудрого», от «глупых и невежд», очнуться, выскочить из душного колодца на свет, увидеть истину там, где видят ее так называемые безграмотные и неученые люди, и принять ее.

Но невозможно постигнуть истину без того, чтобы прежде не обнаружить ложь, не открыть на нее глаза людям, не откинуть то, что не лезет в здоровую голову, и вот, всецело занявшись этим, изучая изложение веры и древними церковными авторами, и современными богословами, он с трудом заставлял себя воздерживаться от негодования и насмешки и пришел к твердому решению доказать ложность толкований церкви вообще, апостолов, соборов и так называемых отцов церкви.

И хотя во всей этой его работе сильно отрицательное направление, отсутствие смирения, разоблачение, протест, борьба — понятия, весьма далекие от идеала жизни, который он стремится утверждать, — его не оставляет чувство, что он выбрал правильный путь, проломил лед, по которому ходил прежде, и пошел материком. Нелепо возвращаться на им же самим разбитый ледок, чтобы легко и весело по нем кататься; бояться же теперь и вовсе нечего, потому что нет таких сил разбить то, на чем теперь стоит, стало быть, оно настоящее.

И поэтому он очень много работает и не может оторваться и счастлив, а тут еще весна — много света, наружного и внутреннего, чудный запах леса, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков...

Нынче проводил он из Ясной Поляны заезжавшего навестить его Тургенева, три дня не брал пера в руки, все три дня велись бесконечные разговоры, но это ничуть не огорчает — и потому, что все же замучил себя работой, устал, голова слабеет, и потому, что внутри сделалось ясно и хорошо, и потому, что весна и, как бывает с ним весною, чудится подчас, что ты обыкновенное растение, такое же, как миллионы вокруг, и вот только теперь распустишься вместе с другими и станешь себе расти просто, спокойно и радостно.

И хотя после былых недоразумений, о которых они с Тургеневым желали бы забыть, оба тем не менее знают степень сближения, между ними теперь возможную, это нисколько не повредило впечатлению от встречи: чувство, что Тургенев и дорог и мил, не пропадало даже во время споров, вместе и тяжелых и утешительных, и дружелюбие, царившее между ними, приносило радостное удовлетворение.

Тяжело было то, что споры возникали вокруг предмета, для него, Толстого, совершенно очевидного, предмета, которому он посвятил все мысли и занятия последнего времени и в котором заключен для него смысл жизни, ибо суть всех его раздумий и занятий — поиски ответа на вопросы: «что нам делать?», «как жить?»; мучительно спо-

рить не по существу предмета, а доказывая самую его необходимость. Утешительно же было, что в этих спорах случалось то, что обычно случается в спорах с ним: сначала — «Что это Толстой какими-то глупостями занимается? Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал»; а потом советчикам делается стыдно и страшно за себя.

Это между ними смолоду: Тургенев всегда звал его заниматься только литературой, был искренне убежден, что все иные занятия, раздумья, интересы мешают ему, Толстому, поплыть на полных парусах.

Но есть два Тургеневых: один, всем известный Иван Сергеевич, милый человек и прелестный собеседник, передвигается сверху, на виду, другой затаился под землею на десять футов, и самое удивительное, что тот, который сверху, не знает того, который в глубине, часто пишет ненужное и выдуманное, хотя и хорошо выдуманное; чтобы понять настоящего Тургенева, нужно читать «Фауста», «Довольно», «Гамлет и Дон-Кихот», тогда видишь, как привычное и удобное сомнение сменяется у него мыслью об истине.

Впрочем, крупные таланты всегда пишут не так ровно, как средние.

Тургенев приехал в Ясную, правда, и не без задней мысли — зазвать его в Москву на открытие памятника Пушкину и торжество, но разговор не затянулся: он отвечал Тургеневу, к счастью, не задорно, но и не оставляя ни сомнений в истинности ответа, ни возможностей для спора, что такого рода чествования представляются ему неестественными и не отвечают его душевным требованиям; Тургенев тотчас понял тщетность возражений и доводов, развел руками и покончил дело.

Хорошо, наверное, что приезд Тургенева совпал с этой чудесной весной, с пробуждением природы, к которому так тянутся душа и тело, — видно было, что и береза, и фиалка, и сморчок так же сильно трогают Тургенева, как его самого. В лесу Тургенев, настороженно подняв голову, умело различал голоса птиц, о природе он говорил, как об огромном, близком ему живом существе, которое постоянно и неутомимо трудится рядом; когда он рассказывал, что, охотясь, проводил ночи на опушке леса и прислушивался к тому, как природа работает ночью, тяжело дышит и по временам, переводя дух, говорит: «Уф!», хотелось расцеловать Ивана Сергеевича в его душистую седую бороду.

И так грустно стало, когда на тяге, в казенном лесу, за речкой Воронкой, вальдшнепы отчего-то не летели на Тургенева и он, опустив ружье, уныло сказал Софье Андреевне, что на охоту ему, пожалуй, больше незачем ездить, да и писатель он конченый: стар, не может больше ни любить, ни писать.

Тем дороже, что Тургенев не устает следить за литературой, хло-

потать о ней и о литераторах — о нем, Льве Толстом, и о тех, кто следом идет, и вовсе о молодых, и о таких, которые только пробуют перо, хотя, может быть, лучше им не пробовать (о «романистках», как пошучивают в Ясной Поляне).

Прелестна изящная и умная привычка Тургенева рекомендовать новое сочинение или неизвестного прежде писателя как бы между прочим, небрежно, стараясь никак не повлиять на чужое мнение.

Так два года назад, будто невзначай, привез он в Ясную Поляну несколько номеров «Отечественных записок» — в них были и первые рассказы Гаршина; так и теперь захватил он с собой книжку нового журнала «Русское богатство» с Гаршина же неоконченным произведением «Люди и война».

Тургенев рассказал, что в Петербурге искал случая увидеть молодого писателя, но неудачно, и ужасно был озадачен, когда услышал в ответ, что он, Толстой, успел познакомиться с Гаршиным.

Получив от Тургенева журнал, он, не откладывая, прочитал написанное Гаршиным: история денщика Никиты, обманом взятого в солдаты, история мужика, умеющего пахать, сеять, убирать хлеб, ходить за скотиной, плотничать, класть печи, но волею господ, которых он своим трудом кормил и поил, обреченного на пустую, бессмысленную жизнь при бездельнике, годном лишь к строевой службе и танцам и притом почитающем строй и танцы превыше всего остального, очень на него подействовала.

То, что говорит Гаршин, важно и необходимо для всех людей, и по тому, как он говорит, видно, что он понимает важность и необходимость этого и говорит из внутренней потребности, нимало не думая о правилах мастерства, как человек, когда ходит, не думает о правилах механики, но, поскольку он овладел мастерством, все у него получается, и получается хорошо.

Он горячо поддержал Тургенева, утверждавшего, что между нынешними, начавшими в последние годы писателями Гаршину, бесспорно, принадлежит первое место, и прибавил, что, перелистывая книжку журнала, просматривая оглавление или читая объявление о сотрудниках, с удивлением видишь, что рассказ Гаршина значится наравне с каким-нибудь Федоровым, Сидоровым и проч., и проч., то есть, поправился он, в оглавлении, конечно, никого нельзя выделять за счет другого, но обидно оттого, что редакция, чуется, не подозревает, что Гаршин и эти «и проч., и проч.» совсем не одно и то же.

На ночь он унес журнал к себе, чтобы еще раз прочитать рассказ, и, прочитав, радостно убедился в правоте первого своего впечатления. И от этого личность Гаршина, как он его понял, встретившись с ним, и сохранил в памяти, сделалась для него еще привлекательнее.

Гаршин понравился ему сразу, с первого взгляда — открытое, светлое лицо, большие, глубокие, лучистые глаза, и во всем — в лице, в глазах — чистая, светлая детская доброта.

Самое же замечательное было, что и после, во время долгой беседы, когда разговор коснулся ужасов жизни и страданий людей, это детское, доброе, светлое не уходило, и оттого всякое слово Гаршина, его слезы или улыбка — все поражало особенной, проникновенной искренностью.

Гаршин появился в Ясной Поляне в середине марта, кажется шестнадцатого, часов около шести, как раз кончали обедать, все сидели в зале за большим столом, лакей Сергей Петрович, подавая пирожное, доложил, что внизу дожидается «какой-то мужчина».

Он тотчас спустился к гостю — молодой мужчина, красивое лицо, с которого можно, пожалуй, писать лицо какого-нибудь подвижника или мученика, поношенное пальто; он спросил: «Что вам угодно?» — и даже растерялся от неожиданного ответа:

— Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки.

Он вгляделся в лицо незнакомца — было неприятно встретиться с гаером, наглым просителем, с самовлюбленным недоучкой, пришедшим потешить пустословие и прячущим за шутовской фразой свою униженность и ущербность. Но тут-то он увидел эту детскую улыбку, лучистые глаза, все это детское, доброе, светлое, исходившее от Гаршина, и детский ответ про рюмку водки и хвост селедки обернулся тем, что иным представляется юродством, но в нем, на самом-то деле, милая сердцу непосредственность, доверие к ближнему и свобода.

И ему, Толстому, сразу сделалось легко и просто с этим человеком, он засмеялся шутке, пригласил гостя в кабинет и попросил Сергея Петровича подать туда водки и какой-нибудь закуски.

И тут снова радостная неожиданность: оказалось, пришедший к нему в Ясную душевный и добрый человек — не кто иной, как Гаршин, а ведь совершенно непохож на писателя, тем более знаменитого, на вопрос, чем занимается, сказал нехотя, что немножко пишет, назвал «Четыре дня» и прибавил тут же, что на этот небольшой рассказ можно было и не обратить внимания.

Главное же, что цель прихода Гаршина была не литература, не писание, а происходившая в нем и мучившая его душевная работа: острое, не дающее ни минуты покоя искание истины, которая бы открыла всем, как жить и что делать, чтобы устроить мир, где люди могли бы жить так, как это свойственно людям. И чувство, что он, Толстой, не одинок в своих поисках и своих мучениях, что рядом есть люди, для которых прежнее и привычное существование невозможно, сделало встречу с Гаршиным особенно отрадной.

Жизнь Гаршина, не столько даже то, что он рассказал, сколько то, что он, Толстой, понял из его рассказа, — уход на войну, потребность подставить грудь под удар, наносимый другому, растущее желание растворить себя в общей жизни, неспособность принять насилие как неизбежное в отношениях между людьми — вся эта

7—788

жизнь свидетельствует, что истина, которую он, Толстой, напряженно ищет, составляет суть и смысл самой натуры Гаршина, сызмала и постоянно определяет его чувства, мысли, поступки, притом не становится для него ни догматом веры, ни нравственным правилом — просто он не умеет иначе чувствовать, думать и поступать.

Он, Толстой, любит повторять услышанное как-то в народе: истина-де шершавая, ершом, не лезет в людей, нужно располагать человека к принятию истины; для него, Толстого, одно из важнейших мест в Евангелии, что царство божие дается усилием. Гаршин себя не располагает, не приуготовляет, не думает про сорок веков, которые смотрят на него с высоты пирамид, не берет истину усилием, она естественно в нем. В самом деле, сколько приходится изучать, уяснять самому, доказывать другим, когда никакого фокуса не нужно, — все так же просто, как то, что надо ковать, чтобы быть кузнецом: должно любовь к ближнему ставить выше любви к себе, к своей единичной жизни, человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей — только и всего. И такие люди, как Гаршин, собственным примером подтверждают возможность иного, лучшего устройства мира.

Беседуя с Гаршиным, он вспомнил мудрую восточную сказку: человек уронил в море жемчужину, взял ведро и семь дней, не переставая, вычерпывал из моря воду — морской дух испугался и сам вынес человеку жемчужину.

Гаршин рассказал, что у него написано о человеке, который ставил во всем на первое место себя, пока однажды не осознал, что жизнь свою погубил: все, что казалось ему богатством жизни, было на деле бессмысленной ее тратой; настал срок расчета, надо платить, у злостного банкрота одна возможность — умереть, уже револьвер заряжен, но в ночь, назначенную для расплаты, приходит прозрение — нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради своего «я», все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды.

Рассказ Гаршина сильно его взволновал: он, Толстой, сам пережил такую точно ночь — это случилось одиннадцать лет назад, в Арзамасе; там он ночевал по дороге в Пензенскую губернию, где намеревался прикупить земли, будто мало было ему земли, которую он имеет и которую не в силах сам один вспахать и засеять и убрать с нее урожай. Ночь осталась в его памяти «арзамасским ужасом».

Ужас был красный, белый, квадратный, тоска и страх, каких никогда не испытывал, мысль о неизбежности смерти явилась перед ним во всей наготе и с нею ясное сознание того, что живет мерзко, стыдно, что так жить, чтобы в конце умереть, — бессмысленно; надо взять ружье, застрелиться, или повеситься на шнурке. И после ужаса ночи — радость прозрения: если все-таки живет, наверно, можно и нужно жить как-то иначе.

Он не раз собирался написать об этой ночи, ужасе, отчаянии и прозрении — прозрение же состояло в том, что человек не желал более основывать свою выгоду на горе других людей, стремился к общей с ними жизни.

Рассказ можно назвать «Записками сумасшедшего», впрочем, можно и «Записками несумасшедшего» — в том и суть, что человека, пришедшего к простой и ясной идее, окружающие объявляют невменяемым — ничего нет легче, да и сам прозревший человек вряд ли станет отрицать это: ему, Толстому, когда слышит разговоры окружающих о покупке имений, вложении капитала, прибылях, наказаниях, казнях, неизбежно приходит в голову, что кто-нибудь тут непременно сумасшедший — он или они.

Так и нынешняя его работа кажется близким противной здравому смыслу. Софья Андреевна убеждена, что это — болезнь и пройдет, как болезнь, он сердится и в разговорах с домашними называет свои последние писания — сумасшествием.

Он ничего не рассказал Гаршину об «арзамасском ужасе», хотя и произнес какую-то пустячную общую фразу о том, что всякий человек, наделенный умом и совестью, должен пережить такую ночь, как у него, у Гаршина, в рассказе. Он вдруг понял, что «арзамасский ужас», необходимый, чтобы человек по-иному посмотрел на себя и на мир, никогда не оставляет Гаршина, что этот ужас для Гаршина — обычное состояние души, что Гаршин, быть может, рожден с той острой потребностью жить иначе, нежели принято жить, потребностью, которая приходит к другим лишь ценой мучительного духовного перелома...

Через несколько дней Гаршин наведался снова, но, к несчастью, его самого, Толстого, на этот раз в Ясной Поляне не было. Дети говорят, что он приезжал верхом, на неоседланной лошади, произносил какие-то речи, попросил карту, желая уточнить путь, ни учителя, ни прислуга, неведомо чем напуганные, в дом его не пригласили, он скоро повернул обратно и с тех пор более уже не появлялся.

Сейчас все твердят — вот и Тургенев тоже — про душевную болезнь Гаршина, он же, беседуя с ним до полуночи, ничего ненормального не заметил, разве что говорил Гаршин много и слишком интересно. Непогрешимость тех, кто берется распознавать болезнь и здоровье в душевной жизни человека, у него, у Толстого, всегда вызывает сомнение, особенно когда речь идет о таком искреннем, полном планов служения добру человеке, как Гаршин.

Он чувствует, что встреча с Гаршиным что-то значит и в его, Толстого, жизни, и в работе, целиком его захватившей, в той глубокой пахоте поля, на котором он призван сеять, и поэтому, если Гаршина и в самом деле сочтут сумасшедшим и запрут, надо бы отправиться туда, где он будет находиться, чтобы еще раз поговорить с ним.

4 мая 1880. Харьков. Екатерина Степановна

Что ни случится — ей распутывать, и она же еще виноватой остается: «несчастная мать», как писали в старых французских романах, да и теперь пишут (добыть бы для перевода французский роман, из новых, позанятнее, договориться с хорошим журналом, полгода, семь месяцев печатали бы приложением из номера в номер, какой-никакой, а постоянный приработок).

Минувшей зимой Всеволод бывал, конечно, подавлен, беспокоен, писал, что работа не идет, про хандру и всякое такое — обычное для него дело, — но страшного исхода ничто не предвещало.

Может быть, только дикая идея поселиться в деревне таила грозный заряд. И любовь, конечно, — как втолковать Всеволоду, что треволнения любви не для его слабеньких нервов?

Всю жизнь так. Чуть выпустишь вожжи из рук: сыновья что слепые котята — начинаются глупости, нелепости, лишь бы матери доказать, что сами с усами; а после — наделают дел — не угодно ли вам, мамаша, Екатерина Степановна, все обратно с головы на ноги поставить?..

Это же надо умудриться — к самому Лорис-Меликову, среди ночи, шуметь, требовать, заступаться за террориста, за убийцу! Хорошо, если в Третьем отделении числят сумасшедшим, не то ведь живо — возьмут под полицейский надзор, чуть что — и милости просим!

Слава богу, на себе испытала, двадцать лет почти под надзором, насмотрелась, натряслась, натерпелась — знает, как вваливаются с обыском во всякое время, как любимого человека уводят, не дозволяя попрощаться, — внизу, на улице, заталкивают в карету, обернется, рукой махнет, а ты в комнате, у окна, лбом к холодному стеклу, чтобы этого взмаха рукой не пропустить.

Сама не убереглась — тем более сыновей просила: смолоду держаться подалее от политики — и опасно, и нервы у них не для политической борьбы; в ответ — упреки в ретроградстве, в недоверии к молодежи, в стариковской косности (а ей и теперь-то только-только за пятьдесят перевалило!). В революцию, правда, не пошли, но что покойный Виктор, что Всеволод — удивительная способность не в меру горячо принимать все дурное на свете, хотя бы оно до них и не касалось. Всеволод ее успокаивает, что «красным» не сделается, — толку-то. С его болезненной жаждой справедливости, с неуемной искренностью, с несознанием здравого смысла больше бед наделает, чем иной «красный».

Надо же — заступник: к диктатору, к правителю России, можно сказать, полез просить за убийцу! Уму непостижимо, как Всеволод сам цел остался: недаром говорят, что граф истинно благородный человек. А и все равно, начнут дознаваться, накопают чего надо и

не надо, одних приятелей среди нелегальных у Всеволода пруд пруди, из рассказов его, ежели пожелать, тоже можно всякое вычитать — заварится каша, потом расхлебывай.

Евгения жалко — младший, на ноги не встал (ему бы в университет — и способный, и деловой), уже делит с матерью заботы и хлопоты о всем семействе; единственный из четверых братьев соображает действительный ход вещей, нет в нем, слава богу, гаршинского сумасбродства; с братьями (двое осталось), хоть и меньшой, придется ему, бедному, повозиться. Уже и на этот раз такого хватил — не приведи господь: две недели месил грязь на дорогах в Орловской и Тульской губерниях, отыскивал Всеволода по следу, пока, наконец, не доставил в Харьков и не водворил в материнском доме. Легко сказать — в материнском доме! Всеволоду — поглядеть на него, и яснее ясного — без больницы не обойтись. Евгений это понимает (пригляделся, понаслышался), но остальные, кругом, со всех сторон наблюдатели, знакомые, незнакомые, едва она заводит разговор о больнице, глаза в сторону: вы, дескать, Екатерина Степановна, мать, значит, быть по-вашему. Но чувствует, кожей чувствует осуждение: еще бы, такого прославленного сына — и в сумасшедший дом! На здешнюю Сабурову дачу: комнаты с решетками на окнах, каменные ванны в виде ям в полу, болезненные компрессы — «мушки», — налепляемые на затылок больному и отдираемые вместе с кожей, брань и побои грубых служителей — Дантов ад! — и туда Гаршина, чуткого, впечатлительного! (Вспоминают, поди, его же сказку про гордую пальму за решетками оранжереи!..)

Виктор тоже был чуткий-впечатлительный, однажды пустил себе пулю в сердце — где они, жалельщики, кто теперь о Викторе печалится? Лишь она — несчастная мать. Знать бы заранее, не то что в сумасшедший дом, в тюремный замок своими бы руками заперла!..

Всеволод — дитя малое, Георгий, старший, опять-таки глаз не спускай — вечные семейные неурядицы (стыдно перед людьми), неуравновешен, странности, полнейшая неспособность продвигаться по службе (выше уездной судебной должности век ему ничего не видать), нестерпимая охота докапываться (хотя за графинчиком) до какой-то особой, одному ему нужной правды (и правды во что бы то ни стало неприятной!). Гаршины! Гаршины: всё — отец, всё — от него! Хорошо, Евгений не захватил этой тревожной крови. (Напомнить Евгению, чтобы подыскал французский роман; если отдельной книгой издать перевод, денег больше заплатят — только ждать долго; впрочем, пусть Евгений помозгует, поспрашивает.)

Конечно, Сабурова дача не для известного всей читающей России писателя Гаршина, лучше бы в Петербург, в частную лечебницу доктора Фрея (Всеволод там содержался еще гимназистом), совсем бы хорошо — в Париж или в Вену, в европейскую клинику. Тургенев бы мог пособить или Щедрин (Салтыков). Но на то и Всеволод —



умудриться не познакомиться с Тургеневым, который повсюду его нахваливает, с Салтыковым дружеских отношений не завязать! Совсем себя ценить не умеет! (Начни она разговор — нет, он права не имеет брать от литературы больше, чем того стоят его писания, не желает со своими скромными дарованиями красоваться вблизи великих.) Да много ли таких Гаршиных у Салтыкова в «Отечественных записках»!

Бесконечные сомнения, ковыряния, неудовлетворенность; вся Россия читает — нравится, пришлет ей переписать набело — ей тоже нравится, ему все дурно. Полгода возится с десятью страничками: то сил нет писать, то не решается нести в редакцию, а слава ветреная особа, не схватишь за рукав, так и удерет — и рядом никого, кто бы его наставлял, направлял...

Теперь появилась эта медицинская студентка; Всеволод слабый, безвольный, прибрать к рукам ничего не стоит, стать женой Гаршина куда как не худо, а спасти Гаршина, сберечь, об этом ни читающая Россия не печется, ни тщеславные медицинские студентки (иначе не было бы ни проектов упрятать себя в глухомань, ни ночного визита к диктатору — удержали бы, не позволили!). Об этом она печется, она, несчастная мать.

И ведь спасибо не скажут; едва начинают дышать, тотчас забывают, что каждым вздохом обязаны матери; право, подумаешь, лучше вовсе не иметь детей.

Всего горше — видеть в детях несбывшуюся свою материнскую надежду. Всеволод было поманил быстрой славой — думала уже: вот оно! Чего только не намечтала: Петербург, известность, связи, независимость в средствах, а что получила — семь небольших рассказцев за два с половиной года (даже книжку не составишь), жалкий заработок, упрямое нежелание Всеволода брать то, что ему по праву принадлежит, безумные замыслы и поступки, наконец — сумасшедший дом — и медицинская студентка в придачу.

Любовь!

Откуда взять Всеволоду душевные силы любить!

Наивный: он и не ведает, что это за штука такая.

У него в рассказах и женщин-то нет: так, имена, тени.

Изобразил однажды уличную особу — бесплотная институтка, философствует, цитирует французских поэтов, предается рефлексии.

Вот так же бедный Виктор — не любил, бред, кого там было любить! Навыдумал, нафантазировал, а протер глаза — неразвитая, алчная «дама» из заведения, к тому же (смешно и страшно!) мало что не понимает — не принимает его любви (вместо благодарности). И это гаршинское устройство такое страшное: едва на месте фантазий окажется суровая правда жизни — стреляют себе в грудь. Виктор или этот жалкий молодой человек из Всеволодова «Происшествия».

Это у них отцовское — бесхарактерность: в работе, в самой жизни, в любви.

То ли дело — она! Как она любила, полюбила — и ведь не молодая уже была, уже трое старших на руках, все бросила в жертву любви, все сожгла: собственное благополучие, общественное мнение, даже личную безопасность. На каторгу готовилась — любила! Я теперь не мать, не жена, не сестра, я гражданка моей родины и хочу душевную мою лепту на общее дело принести, — вот как она тогда ему писала, гонимому, запретному, невенчанному. Всюду с тобой буду, умру с тобой, не для нас, так для сыновей моих наступит пора лучшая, и порадуются тогда мои косточки. Вот как писала, как думала, чего желала! Ни собственная жизнь, ни смерть не были в ее воле. Сперва муки приняла, с любимым горький хлеб изгнания делила, боролась, как тигрица, за детей (с ничтожным их отцом), теряла и обретала вновь (и тут желаннейшей радостью — младший, Евгений), потом все та же неумолимая действительность заступила место романтических приключений (о ней, о Екатерине Степановне, о ней самой можно роман писать!). Переводы, уроки, шитье на машинке, улаживание то и дело вспыхивающих, непредвиденно, как приступ лихорадки, семейных осложнений... Какая суровая и жалкая проза! Какой банальный и горький урок! Всем пожертвовала, все сожгла — только он, его любовь, его убеждения, его судьба, на край света за ним была готова, а он на краю-то света, в Олонецкой губернии, где определено было ему жить, самым обыкновенным образом женился на дочери тамошнего преподавателя гимназии, прижил то ли шестерых, то ли уже семерых детей, первенца назвал Всеволодом, одну из дочерей Екатериной — сантименты!..

От постоянной заботы о средствах самой впору на Сабурову дачу. Клочок земли — так называемое имение, — сдаваемый в аренду крестьянам, приносит сущие гроши. Всю жизнь унизительные расчеты и подсчеты — рублей, копеек. И все для того только, чтобы сыновей на ноги поставить, вывести на дорогу, в путь благословить. Но она не сломится оттого, что житейская необходимость отвергает прекрасные порывы, вытесняет прочь мечты и фантазии. Надо жить — и она живет, хотя никто больше не зовет ее умереть вместе, и косточки ее не радуются — болят, и пора лучшая и для сыновей ее, и вообще на земле что-то медлит наступать...

Сыновья же, утверждая право на собственный опыт, сторонятся и раздражаются, когда им соломку подстилаешь, чтобы не падали больно.

И падая, непременно, пусть отчасти, винят ее с этой ее соломкой.

Истинно говорится: единственные люди, которым мы никогда и ничего не прощаем, — родители.

Но не для того дала она жизнь сыновьям, растила их, поднимала, муки терпела, чтобы терять одного за другим.

Пусть все вокруг что хотят думают-чувствуют, ей, матери, принадлежит право решать участь своих детей.

И теперь она сама напишет Тургеневу, Салтыкову напишет — надо спасать молодую надежду российской литературы! Она сама со Всеволодом в Вену, в Париж поедет — не медицинские студентки (Евгения взять с собой — ему бы в хороший европейский университет!).

Впредь она оградит Всеволода от дурных влияний, от любви, от этих жгучих вопросов, которые мало его касаются, только доводят до нервической горячки, — она сохранит Гаршина для творчества.

А сейчас — пусть косятся знакомые-незнакомые, пусть Всеволод в невменяемости твердит, что она заточить его хочет, — сейчас надо отправляться к доктору Ковалевскому, который пользует больных на этой проклятой Сабуровой даче.

(Перевод много симпатичнее уроков и, уж конечно, шитья на машинке — сказать Евгению, чтобы написал в Петербург, в книжный магазин Мелье: поди, Зола этот уж непременно сочинил что-нибудь новенькое...)

4 мая 1880. Харьков. Гаршин

Все хорошо, все очень хорошо, все прекрасно!

Ничего, что пальто мокро по самую грудь: он перешел реку вброд, потому что там, на другом берегу, прямо-таки светились чудесные весенние цветы, крокусы, розовые, синие, желтые, фиолетовые; он набрал целый букет, это необходимо для гербария; нынешняя весна необыкновенно счастливо складывается, гербарий пополняется не по дням, а по часам, видимо, какое-то удачное расположение элементов в природе вызывает к жизни огромное множество растений; даже в Петербурге, в Ботаническом саду, заинтересуются его гербарием, профессор Баталин, например, Александр Федорович, он издавна к нему, к Гаршину, чрезвычайно расположен.

И литературная работа идет — как никогда хорошо, быстро.

«Люди и война» пишутся с невиданной прежде скоростью: если собрать все написанное, выйдет, пожалуй, книжища тома в два или три. Историю денщика Никиты «Русское богатство» напечатало в марте, уже подготовлено продолжение — для июльского, августовского, сентябрьского и октябрьского номеров; вот для мая и июня пока нет ничего. Завязка вырастает до громадных размеров, параллельно с историей Никиты будет еще рассказана жизнь рядового казака, для чего предстоит в ближайшее время отправиться в область Войска Донского. Кроме того, необходимо съездить в Бердичевский уезд, на старые предвоенные квартиры Волховского полка, и для главы о начале похода — снова в Кишинев.

...В то утро моросил серый, холодный дождь, длинная прямая

улица, по которой двинулась колонна, поднималась в гору, вела мимо базара, куда съезжались молдаване на своих запряженных волами повозках-каруцах, и упиралась в кладбище, огибая его слева; кладбищенские деревья темнели в тумане плотной измороси, кресты и памятники над могилами были мокры; да надо ли, думалось, идти неведомо куда, за тысячи верст, чтобы умереть и вот так же быть зарытым в сырую землю; а музыка бодро играла, и войска шли вперед, вперед; открылась перед глазами широкая долина, тоже серая под пеленою дождя, — лишь совсем далеко, у горизонта, прорвал тяжелую тучу косой солнечный луч...

ТРЕТЬЕ НАЧАЛО

Веребьинский мост

Сердце замирает — как в отрочестве, когда ездил с приятелями гимназистами купаться в Гавань и там нырял с башенки выдавшегося в глубину залива мола: несколько минут стоял на покрытом жестью, скользком, покатом куполе, до побеления пальцев цепляясь за флагшток, и, судорожно вдохнув воздуху, не головой вниз — вперед ногами, через каменный парапет, в полосу потока, темнеющего на оловянно-серой поверхности воды, тут нужно было сразу принять круто вправо и несколькими взмахами вынести себя из быстрины за мол, на тихое место — там можно и дух перевести...

Сердце замирает... Уже проехали по Веребьинскому мосту, на большой высоте перекинутому через ручей, — здесь пассажиры, по обыкновению, тревожно прильнули к окнам: мост, на двадцать семь саженей поднявшийся на сложных деревянных устоях над поверхностью земли, почему-то считается ненадежным, отсюда до Петербурга по указателю семь часов сорок минут пути, локомотив прибавил ходу, между тем (как в карауле, где первые три четверти срока пробегают втрое быстрее, чем последняя) кажется, что, наоборот, поезд тащится нестерпимо медленно, затекают ноги, никак их не распрямишь — диваны поставлены тесно, то и дело взглядываешь на часы, но стрелки решительно не желают совершать положенное им круговое движение, хоть пальцем подталкивай...

Часы куплены два месяца назад в Николаеве за шестнадцать целковых, деньги немалые, но ехать вовсе без часов в гости к Ивану Сергеевичу Тургеневу неудобно: кто его знает этот извеку и навсегда улаженный поместный быт — вдруг придется минута в минуту являться к завтраку, обеду и ужину; впрочем, последние сведения о здоровье Ивана Сергеевича неутешительны — неизвестно, доберется ли нынешним летом из чужих краев в любимое свое Спасское-Лутовиново.

Обидно, слов нет, оказаться в Спасском и не свидеться с хозяином; письма Тургенева полны искреннего благожелательства и дружественного участия, его похвалы и надежды лестны, встреча с ним подвинула бы, наверно, к литературной работе, два года болезни — вечность, пропасть бездонная, попробуй-ка, перебрось мост, вера Тургенева (а ведь верит в него, в писателя Всеволода Гаршина), может быть, станет новым началом; но даже если предстоит одиночествовать в Спасском, ехать все равно надо: Петербург хоть и манит, а страшит не меньше.

Можно было, конечно, еще месяц, год и другой сидеть у дяди в Ефимовке — ухоженное имение на берегу Бугского лимана (пять верст от Святотроицкого маяка), добрый дядя Владимир Степанович



Акимов, мамашин брат, кадровый морской офицер и помещик исправный, упрямо не желал отпускать не окрепшего здоровьем племянника в беспокойный «заефимовский мир», он, Гаршин, и сам стал привыкать к мысли, что ничего лучшего не найдет на свете, чем этот прелестный уголок, где выпала ему участь скучать, себя от себя же оберегая, но вдруг — как открылось: здесь, в деревне, хоть весь свой век проживет, заботясь о душевном здоровье, ничего здесь больше в жизни его не начнется — так и будет до последнего дня писать письма под диктовку дядиных наемных работников, наблюдать, как забивают сваи для строительства новой пристани, и, нетерпеливо ожидая свежий номер журнала, почитывать французские романы — у дяди в библиотеке их множество, на любой вкус.

Ничего здесь в жизни его не начнется, а коли не начнется, что за смысл в словах: «здоровье», «нездоровье», «безумие» или «здравый ум» — что значат эти громадные понятия в том бесцельном существовании, которое он вел и которое добрый дядя, жалея его, именовал красивым итальянским словом «дольче фар ниенте» — сладостным бездельем; в гигиеническом отношении таковое существование, скорей всего, полезно, но как подумаешь, что духовные твои и душевные силы ржавеют от бездействия, право, схватишься за голову.

Сейчас все помыслы — снова начать, все начать сызнова, сейчас все надежды — что музы от него лица не отвратили, как сказано в каких-то старинных виршах, что тягостная болезнь — как война, отсекшая его от его же прошлого, — не унесла безвозвратно способность жить человеком, грудь подставлять, писать — писать нервами и кровью: этот высокий Веребьинский мост будто мост через Рубикон — надо из небытия вернуться в свое прошлое и будущее; вот отчего сердце замирает.

...Колеса стучат, вагон качает, встряхивает на стыках, но затекшие ноги уже как бы предчувствуют прочные доски перрона (так мореплаватель, должно быть, после долгого океанского плавания приближается к родному берегу), память, забегая вперед, спешит вывести за вокзальные ворота и наискось через просторную Знаменскую площадь к устью Невского, откуда изумительно открывается протяженная перспектива проспекта, далеко-далеко, у истока, венчаемая устремленной в небо Адмиралтейской иглой. Скоро белые ночи, и небо все упорнее борется с темнотою, оно раскинулось над городом, то блекло-розовое, то светло-сиреневое, то серо-голубое; купола храмов, колоннады, карнизы дворцов, лиловые, сине-серые, красновато-коричневые в обозначившихся, но так и не наступивших сумерках, будто положены на этот фон плотным слоем акварели, воздух обретает какую-то особую прозрачность, всякий звук — гудок паровоза, окрик часового, стук каблуков — разносится в нем далеко и чисто.

Торопятся, частят колеса, вагон раскачался — даже опаска берет, паровоз шумно дышит, оставляя за собой черный шлейф дыма, а все, схватившись за край оконной рамы или поручень дивана, поневоле делаешь смешное ребяческое движение, словно толкая поезд вперед!

Новые часы, надо сказать, очень даже неплохи: не золотые, правда, и не серебряные — из вороненого металла, те, что принято называть «черными» или «чугунными», однако идут замечательно точно — сразу после покупки он сам произвел тщательнейшую регулировку хода — там, внутри, в механизме, имеется для того специальный рычажок.

Шестой час вечера.

Девятое мая тысяча восемьсот восемьдесят второго года.

Петербург (как он, Гаршин, любит шутить) если не на носу, то недалеко от оного.

Петербург...

...Когда вокруг на десятки верст раскинулась неоглядная степь, зеленеющая хлебами или желтеющая стерней, лилово-черная на местах поднятой нови или матово-серебристая от ковыля, когда зимой бежишь на коньках по рыжеватому льду лимана (коньки — затея и подарок заботливого дяди), а вокруг все та же безграничная степь, присыпанная серым жестким снегом, когда ветер то бьет в лицо, то подхлестывает с боков, то гонит в спину, когда кажется, что один лишь ветер гудит и гуляет над пустым и плоским простором земли, право, иной раз подумаешь — да уж не миф ли этот Петербург! Этот город, вдоль и поперек исхоженный, знакомый до закоулков и подворотен, до анекдотов едва не о каждом уголке. Город, приносящий дорогое чувство напряженности бытия и вместе на каждом шагу разящий ударом тяжелого молота в самое сердце, — кажется, что удары, по всей земле русской наносимые человеческому достоинству, особенно явственно отзываются здесь, в столице земли русской.

Полтора года, пока сидел взаперти, в деревне, толкались в голове издавна заученные стихи про шум в столицах и гремящих витий и про вековую тишину во глубине России, толкались, поворачивались так и этак, с разными интонациями и на разные голоса, — то звучали с некоторой даже гордостью за обитателя глубин российских и будто в укор столичным жителям, словесными баталиями заменяющим подлинность бытия, то оборачивались насмешкой над самовлюбленным защитником сельского уединения: в столицах-то не одни витии гремят, меч не преломлен (и преломится ли?), а тут, видишь ли, пора свинью колоть — своя забота!..

Понедельник и пятница — дни почтовые — ожидались, понятно, с нетерпением: в мир Ефимовки с его заботами о дожде и солнце, о па-

хоте и ссыпке хлеба, об углублении дна залива и укреплении берега, с его вязко текучим временем — неторопливая партия в шахматы с дядей (дебют всегда один и тот же — откуда-то из Тургенева скраденное выражение: «Не хотите ли меня когтить?»), непременный час с бабушкой за старинным, вышедшим уже из моды пикетом, чтение с двоюродной сестрицей французских романов и стихов (практика в языке), — в этот мир тишины дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, с газетами, журналами, письмами вваливались новости из иного, полного шума и движения далекого мира, но, правду сказать, действовали как-то приторможенно, приглушенно, словно удар под водою, — новости как бы пообнашивались в дороге, провеивались степными ветрами, к тому же на то она и новость, как говаривал один шутник, — в первый час что из печи, а день пройдет, хоть верхом на нее садись.

Во все полтора года деревенской жизни Петербург постоянно являлся в мечтах, звал к себе и отбрасывал прочь, вызывая ужас не только перед неумолимым вращением шестерен гигантского, похожего на вечные часы механизма, но полной невозможностью пристроить себя куда-нибудь в этом механизме: мысль о том, что он утратил способность писать, все полтора года его не оставляла. И оттого, наверно, что Петербург являлся ему мечтой неисполнимой, острее самых гремящих новостей, доходящих оттуда по пятницам и понедельникам, жгли его воспоминания — не стройные и связные воспоминания о каких-то значительных событиях его жизни, а чаще обрывки воспоминаний, даже подробности, почему-то всего больше из поры детства. Пестрый базар, который весной, с приходом заморских кораблей, разворачивался в Биржевом сквере, — здесь торговали золотыми рыбками, причудливыми раковинами, черепахами, сухопутными и водяными, зелеными, красными, розовыми и белыми попугаями; будочник в кожаной с медным шишаком каске и с алебардою, стоящий возле окрашенной темной охрой будки; водовоз с зеленой бочкой, если вода налита из Фонтанки, и с белой, если невская вода; забредший во двор шарманщик-итальянец, играющий арии из «Трубадура», «Лючии» или «Марты» («У девиц есть для птиц стрелы каленые...»), между тем как жалкая чахоточная обезьянка в пурпуровом фраке и черной с золотой кисточкой треуголке темной сморщенной ручкой протягивает прохожему билетик с судьбой...

О пользе свежего воздуха

Два года назад, в те роковые дни и недели февраля восьмидесятого, он совсем было собрался бежать из Петербурга — уже и книги были увязаны в дорогу, приготовлена необходимая одежда (резиновые сапоги «макинтош» в суматохе нахлынувших дней так и не успел купить), свечи, табак, папиросные гильзы тоже припасены; да-

же — на память о столице — был приобретен (неоправданная роскошь!) маленький чернильный прибор с фигуркой сфинкса, одного из двух, что установлены на Неве перед входом в Академию художеств. Лев Николаевич, беседуя с ним (счастливейшие часы жизни!), горячо одобрял его решение перебраться на жительство в деревню, говорил, что Петербург укореняет в человеке особенную привычку отрицания, мешающую братскому общению людей, это петербургское отрицательное настроение и внутри самого человека вырабатывает избыток мертвых клеточек, препятствует вытеснению их живыми. О себе Лев Николаевич сказал, что он в Петербурге, как угорелый в угарной комнате, только и чает поскорее удрать оттуда и набраться свежего воздуху. Болезнь, казалось, поломала его, Гаршина, планы, но судьба, как водится, решила по-своему — и вот они с дядей, Владимиром Степановичем, наметившим стратегию окончательного исцеления племянника, уже едут в отдельном вагоне поезда, следующего из Харькова в Николаев, едут не куда-нибудь, а именно в деревню, дядя развлекает его механическими игрушками, которые везет в подарок младшим детям, — особенно забавен был, помнится, большой заводной медведь, с ревом ходивший на задних лапах. Все шестьсот верст пути дядя твердил про свежий воздух, которым исцелится и обновится больная душа племянника, сопоставлял его, Всеволода, переселение в деревню с морскими походами — новизна впечатлений и свежий воздух лечат страдания душевные.

Он, и правда, надышался в Ефимовке свежим воздухом, только в самом прямом, никак не символическом смысле слова: просто набрал полную грудь ключевого степного ветра, настоенного на медоносных травах и горькой полыни (латинское имя: *артемизия*), но требуется, должно быть, какое-то особое устройство, чтобы обилие кислорода в воздухе поворачивало твои мысли и чувства на иной, противоположный обыкновенному лад. Вот и по дороге из Ясной Поляны, когда на чужой неоседланной лошади направлялся к Орлу, встретил он толпу нищих погорельцев — мужики, бабы, дети, в ветром подбитых зипунишках, в разбитых лаптях, брели по колено в ледяных мартовских лужах сами не зная куда — и планы счастливого мироустройства вдруг съежились и померкли.

Ах, милый дядя, искренне позавидуешь человеку, для которого самый процесс жизни — удовольствие, самое сознание жизни — счастье! Но рядом живет другой — его озолоти: ни жизнь как таковая, ни даже успех в жизни не доставляют ему ни малейшего удовлетворения, привычка непременно пробовать горькое, того более — сладкое принимать если не за горькое, то уж, по крайней мере, за не очень сладкое, его не оставляет. Впрочем, привычка ли? Может быть, какой-нибудь будущий Клод Бернар обнаружит в организме даже и не хвостики, а хвостики хвостиков нервов, и среди них такие

губительные завитки, что коли достались человеку — баста: не способен он радоваться, ни взглянув окрест себя, ни внутрь себя устремив взор... Поистине: мой ад всегда со мною, — как опять-таки сказано в старинных виршах.

Задохнешься свежим воздухом в цветущей, залитой светом степи, но как не увидеть прибитого нуждою Конона Ереха, который от зари до зари гнет спину в поле у Петра Пономаренки, пашет и сеет и убирает для Петра Пономаренки хлеб, а из того хлеба Петр наделяет Конона малой толикой — хорошо если хватит до весны, весною же Конон опять идет к Петру в кабалу. Оба они мужики, и Ерех и Пономаренко, только один правдами и неправдами набил себе карман, «заимел капытул», как здесь говорят, и на этот «капытул» купил землю, другому же и не повернуться на жалкой своей полосе, и не найди он хозяина и не наймись к нему батрачить — пропадет с голоду.

Что же до дядиных угодий, то их возделывают пришлые батраки, по большей части полтавцы и черниговцы, — наемные работники трудятся без охоты, делают, что приказано, не дорожат местом, потому что за ту же плату, какую получают от дяди, их тотчас возьмет соседний землевладелец, если же тот предлагает им немногим больше, они немедля уходят, без сожаления оставляя недопаханное или недокошенное поле, — утратив собственную землю, они как бы теряют истинную связь с землей вообще. Батраки настороженны и недобры, — работая, изводят за день столько самой отчаянной брани, что другому хватило бы на всю жизнь, большую часть заработка пропивают в кабаке, который, прямо сказать, процветает, особенно с тех пор, как закрылся таковой же кабак в селе Паручино, на другом берегу лимана, и теперь осиротевшие паручинцы — зимой по льду, а летом на лодках — переправляются через семиверстной ширины лиман, чтобы не залежался в кармане пятак или гривенник.

Едва ли не каждый месяц огнем проносится по селам весть о вот-вот предстоящем разделе помещичьей земли, и тут, отложив свои междоусобицы на после, мужики начинают дружно и поспешно готовить плуги (чтобы проводить новые борозды) — и добрый Конон Ерех, и прижимистый хозяин Петр, и некто Рябошапка, сущий злодей, который что ни день бьет смертным боем тихую свою жену да еще приговаривает: «Я тебя, шельму, сразу не убью, в Сибирь не пойду, а года в три, в четыре в гроб заколочу».

Для всех этих людей он, Всеволод Гаршин, был господский племянник, не более; работники, молотившие и ссыпавшие в амбары дядин хлеб, строившие дядину пристань, позволяли господскому племяннику, «панычу», писать для них письма на родину, даже славили «паныча красавчика» в песне, чтоб «поднес вина стаканчик» (и он как-то даже заискивающе совал им на водку), но он никогда не слышал от них ни слова о том, что должно было по-настоящему их

тревожить. В письмах, которые они диктовали, были бесконечные поклоны да Две-три малозначащие фразы; если он предлагал сообщить что-нибудь достойное внимания, в ответ непременно слышал, что «о том писать не треба». Он постоянно чувствовал их сознательное или бессознательное недоверие, может быть, и презрение, неприязнь даже, — в конце концов, какое право имел он ожидать чего-то иного: это там, на войне, «барин Ив*а*нов» шел в строю рядом с солдатом-мужиком Иван*о*вым, делал с ним одно общее дело и умирал вместе, здесь же он был для батраков не более как «панычем», частицей той силы, которая стоит на пути желанного и долгожданного передела земли.

По дядиному приказу для племянника посеяли десять десятин ячменя, с тем чтобы Всеволод позаботился о его уборке, продал и получил выручку. Но согласиться на такое было бы по всем статьям ни на что не похоже: он ни в севе ничего не понимает, ни в уборке, ни тем более в продаже зерна — и тем, и другим, и третьим распоряжался добрый, заботливый дядя, сеяли же, а после жали, молотили, везли зерно на продажу опять же наемные работники — вся эта затея с ячменем была игрой в «свежий воздух», в тот символический «свежий воздух», который должен был обновить душу Всеволода Гаршина и дать иное направление его мыслям и чувствам.

За эти полтора года мать с братом Женей перебрались в Петербург, брат в университете, на историко-филологическом (может быть, хоть один из четырех выработается во что-нибудь путное?), уже и пописывает понемногу (литературу не без форса именует «подлой»), на Женю завидно смотреть (и стыдно — за себя, конечно!) — всегда человек занят, к тому же всегда знает, чем занят и для чего. И с молодым задором берется другим указывать, чем и для чего им заниматься: прямо-таки потребовал, чтобы прославленный брат Всеволод немедля садился за повесть о «херсонском народе». Смешно и обидно, честное слово! Да прославленный брат (если вообще не потерял умения писать) ни в «херсонском народе», ни в каком другом не смыслит ни уха ни рыла (так, осердясь, отвечал он Жене), и вряд ли сей прославленный Гаршин многое постиг, наглядевшись, как мужики работают в поле, или наслушавшись, как гомонят и поют песни в кабаке. Всех его раздумий и наблюдений хватит разве на то, чтобы соорудить какую-нибудь совершенную несусветность из так называемой народной жизни — сочинение из тех, какие Михаил Евграфович обозначает нарицательным заголовком «Маланья», но тут он пас — и захоти, не сумеет.

Дело, впрочем, не в хотении и не в умении. Дело и не в том, что — обидно и для себя и для народа — определяется понятием «знать народ», точно народ есть нечто однородное, строго обозначенное и особняком стоящее. Дело как раз в том, что знание народа и народной жизни по самой сущности своей может быть различно,

так же как по сути своей различной может быть и твоя принадлежность к народу. Глеб Иванович Успенский замечательно написал об этом, открывая значение для крестьянина «земли», которая не только делает его сытым, но образует нравственно, помогает сохранять свое мировоззрение, развивать и укреплять свои семейные отношения, свою мысль, свое чувство. Невозможно писать вообще, пока искреннейше и беспощадно не ощутишь своих возможностей в постижении народной жизни, просто-таки физически не ощутишь, что из этой жизни несешь в себе, каждой клеточкой понимаешь и чувствуешь, способен передать в слове. Дело, в конце концов, в нравственном праве играть в «свежий воздух», в душевной ответственности «паныча», отдыхающего на природе и берущегося судить о могучих процессах, совершающихся в глубинах этой самой «земли».

Картины и аллегории

...Представим себе, к примеру, нечто совершенно невообразимое: ну хотя бы беседующих между собою улитку, ящерицу, навозного жука, двух наевшихся варенья и прилетевших из комнат на свежий воздух мух, гусеницу, кузнечика и, чтобы окончательно стало ясно, что всего, о чем идет речь, не было и быть не могло, старого гнедого, тут же на полянке разгребающего копну сена. Действие происходит в жаркий летний полдень, двадцать восемь градусов по Реомюру, все вокруг спит: люди, свиньи, собаки, лишь указанное общество неспящих господ занято сосредоточенной беседой о смысле жизни, протяженности пространства и времени, о необходимости труда, о нравственности и об иных высоких материях, которые каждый из собеседников толкует по собственному разумению. К сожалению, глубокомысленная беседа остается незавершенной: проснулся кучер Антон, приходит запрягать гнедого и ненароком наступает сапожищем на всю компанию, о существовании которой (так же как о ее замечательных суждениях по многим важнейшим вопросам) и не предполагает.

Сказочка крошечная (от силы четыре странички), озаглавлена «То, чего не было», послана в Петербург и напечатана; все тотчас бросились разгадывать аллегорию (удивительная привычка нашей читающей публики — во всяком печатном слове видеть намеки и применения), никому не приходит в голову, что жук, ящерица и муха могут быть не что иное, как жук, ящерица и муха, муха собственной персоной с лапами и крыльями, что гнедой — просто гнедой, который лениво бродит по двору ефимовского дома, и Антон — самый что ни на есть кучер Антон, который берет гнедого за чуб и ведет запрягать в бочку для воды.

Дядя, Владимир Степанович, человек без предвзятых мнений, выслушал прочитанную племянником сказочку с таким откровенным не-

доумением, что даже радостно стало: сидит человек, слушает, никак в толк не возьмет, о чем и зачем это пустое сочинение, но притом счастливо не предполагает, что за гусеницей, хвостякой-гнедым и Антоном следует видеть «типы», и того более — что-нибудь вроде «правительства», «конституции», «мужика».

И все же, как ни отнекивайся, а ведь не случайно, наверно, описанная тобою честная компания завела под твоим пером именно этот, а не какой иной разговор, и мысль, что Антон, тяжело ступая своими сапожищами, даже и не приметил общество премудрых господ, пекшееся о смысле жизни и устройстве будущего, тоже тебе в голову приходила.

Аллегории осточертели до высших пределов осточертения (есть ли что хуже, говаривал покойный отец, чем человек, притворяющийся умным), но, наверно, как раз оттого, что уж никак не сочинялись и вроде бы и не писались даже, а будто вырвались наружу четыре эти странички про мух, жуков да кузнечиков, оттого, наверно, и многозначность смысла, и разные, противоположные порой, толкования.

Невозможно, безнравственно не задумываться о смысле жизни, о завтрашнем дне мира, о долге человека перед другими людьми, долге, оплачиваемом трудом и совестью, но как беспомощно мечется мысль, тычется в углы, разогнавшись, бьется о тупиковые стены лабиринта, как часто полагаешься лишь на нравственную силу внутри тебя, толкающую к решениям и поступкам, неподкупно определяющую: «хорошо» — «плохо».

То ли прежние идеалы не устояли перед натиском времени, то ли настало время выработки новых идеалов. Как сохранить эту внутреннюю силу в невразумительную пору чересполосицы мнений, вялости характеров, разобщенности людской, путаницы путей?..

...Память, опять-таки забегая вперед, направляет его по длинной, пересекающей Невский у самого вокзала Лиговке — из вокзальных ворот налево. Пыльная улица — пройди по ней версту, не увидишь не то что деревца или кустика зелени, но и одинокой травинки. Выстроились в ряд одно- и двухэтажные дома, деревянные и каменные, весьма незавидной архитектуры; скучно тянутся деревянные перила, за которыми покоится мутная водица узенького канала; так и шагаешь, не находя, на чем бы остановить взгляд, пока не достигнешь того совершенно ничем не выдающегося места, где слева впадает в Лиговку, хоть и не столь длинная, но тоже пыльная Расстанная.

Здесь, куда ни кинь взгляд, и впрямь все отзывается в тебе печальным словом «расстанье» — разлукой, прощанием, проводами: за невысокими заборами одна возле другой гнездятся мастерские мраморщиков и гранитчиков, могильные памятники всякой величины

и фасона теснятся во дворах и глядят из окон; там, где не устроились монументальных дел мастера, поспели торговцы цветами, их яркий, угнетающий тягучим сладким ароматом товар поштучно и букетами напихан в ведра и кринки, по заборам развешаны венки из мха и бессмертников-иммортелей, желтых, фиолетовых, красных или, по надобности, подкрашенных в другие цвета; несколько кухмистерских предлагают просторные залы для поминания усопших; старухи из кладбищенской богадельни, похожие на мох или сухие цветы бессмертника, толпясь у ограды, с привычным любопытством смотрят вслед погребальным дрогам.

Скоро Волково кладбище будет затенено густой зеленью, сейчас на березах, должно быть, только-только распустились почки, опушив плакучие ветви первым светлым, пронизанным солнцем листьем.

Деревянные мостки, положенные на черную еще, набравшуюся талого снега землю, если взять по ним налево, приведут к могилам Белинского, Добролюбова и Писарева (напротив первых двух); однажды, еще в гимназическую пору, забредя весною сюда, на Волково, и у этих святых могил стоя, вдруг с изумительной отчетливостью — не одним разумом, но каждой клеточкой тела — схватил он и осознал, что как украинские степи — физическая родина его, так Петербург — его, Всеволода Гаршина, родина духовная, что здесь, под черным полированным гранитом (и под белым мрамором напротив) покоятся (да покоятся ли?) те, кто раз и навсегда — как там ни размышляй и ни разглагольствуй о непрочности идеалов и смуте времени — вскормил, взрастил, воспитал в нем дух и совесть, что он, подобно окружившим его березам, именно в эту землю уходит своими корнями, набирается ее соков, ей обязан и самым малым распустившимся листком...

Два года назад, ранней весной восьмидесятого, расставшись с Львом Николаевичем, он навестил престарелую матушку Писарева — почтенная дама доживала дни в своем имении, примостившемся в юго-западном углу Тульской губернии. По дороге застало его половодье, он перешел вброд реку, сперва по колена, потом по грудь в ледяной воде, кое-где пускался вплавь, вокруг на островках незатопленной суши стояли темные деревья с розовеющими молодыми побегами, тут и там выступали над поверхностью воды бугорки земли, покрытые прошлогодней травой, на которых задержались белые шапки снега...

Дядя, Владимир Степанович, возвратившись из дальнего плавания к берегам Египта, рассказывал: однажды ночью он услышал пение отдыхавшего на палубе матроса; песни, впрочем, и не было, лишь странная импровизация, набор слов, для постороннего несвязных, но для самого певца скрепленных каким-то важным внутренним

смыслом; среди невнятных фраз, положенных на такой же невнятный мотив, дяде запомнилась часто повторяемая команда — «Отдай швартов!» Дядин безыскусный рассказ вдруг сдвинул в воображении целые пласты, картины стали одна к другой лепиться: деревенский парень, взятый на четвертьвековую морскую службу; орловская или тульская деревня — и дальние страны, о которых молодой матрос, и захоти, предположить бы не сумел, — Испания или Египет; и вместе — оставленные в деревне жена и дети; наконец, возвращение на родину уже стариком, после отставки... Картин хватит на огромный роман, роман, конечно, никогда не будет написан, но дело не в романе, не в сюжете, — в конце концов, не то же ли попытался он сказать в рассказе о денщике Никите, рассказе, который бог весть будет ли продолжен, как прежде думалось, вырастет ли в эпопею, так торжественно и многозначительно озаглавленную «Люди и война», или (что скорей всего) так и останется одним из небольших его — гаршинских — рассказцев. Дело не в романе, не в сюжете, а в этом «Отдай швартов!» Что-то его томит, тревожит, манит в простых и необыкновенных словах команды — не звук пустой, может быть, искра, которой суждено разжечь огонь. «Отдай швартов!» — и сброшенный с причальной тумбы канат освобождает судно, прерывается последняя связь с берегом, впереди — морская даль и глубина. Сколько раз, того не ведая, он командовал себе: «Отдай швартов!» — и шел навстречу неизвестности, навстречу нежданной судьбе, потому что нельзя же качаться на тихой водице у берега, прятаться за молом, надо служить, лоб и грудь подставлять со всеми под удары, под пули, и, может быть, нынешний его путь от вольных степных ветров в насквозь продуваемые иными ветрами каменные трубы петербургских проспектов и улиц — тоже «Отдай швартов!»

Собрание сочинений

Явление в столицу будет на сей раз жалким, даже тягостным; чем меньше знакомых и просто любопытных проведают об этом, тем лучше, а ведь проведают и еще насплетничают; и так-то глаза поднять совестно, а наврут такого, что хоть опять вон беги.

Недавно (он к тому ни малейшего повода не давал!) — сообщение в газете: писатель Всеволод Гаршин, долгое время находившийся в доме умалишенных, совершенно выздоровел и продолжает писать свои прелестные этюды. Он, что называется, охнуть не успел, другая газета спешит с опровержением: писатель Всеволод Гаршин, только что вышедший из дома умалишенных, прочитал статью Льва Николаевича Толстого «О переписи в Москве» и от впечатления, сделанного страстным призывом помочь нуждающемуся люду, снова с ума сошел. Возможно ли, господа, для собственной прихоти так беспечно обращаться с душою ближнего, с тем, что для него всего

больнее и дороже? Так немного надо: искать смысл жизни не в себе — вне себя, стараться встать с человеком, живущим рядом, в дружеские отношения, уважать и любить его, а не ломаться, на самого себя любуясь, — к этому не кто иной — Толстой и зовет, именно в статье о московской переписи, вокруг которой вы подняли такое квохтанье.

В самом деле, отправиться бы к Льву Николаевичу в Москву; не боясь запачкать сапоги и платье, не боясь клопов и вшей, тифа, дифтерита и оспы, ходить по ночлежкам, подвалам и каморкам бедняков, душевно беседовать с нищими, оборванцами, бродягами, проститутками, пьяницами — только вот перепись закончилась, а с нею и братское общение с неимущими и обездоленными тех немногих, кто вслед за Толстым пошел в ночлежки и подвалы. И все осталось по-старому. Знай он раньше, наверно, был бы рядом с Львом Николаевичем — и тут уж непременно заболел бы снова: не пойти — нельзя, а пойдешь, увидишь, в какую бездну унижений и страданий одни люди беспощадно сталкивают других, поймешь полнейшее свое бессилие что-либо изменить — и впрямь свихнешься.

Впрочем, так ли уж необходимо спускаться в зловонные подвалы и протискиваться в завшивленные каморки, чтобы лишний раз узреть страдания, на которые обречены тысячи и миллионы людей? Ах, милый дядя, чт*о* стоят все ваши наивные ухищрения — запреты на будоражащие душу статьи в газетах и журналах, многозначительное молчание, на которое вы обрекали себя, когда разговор касался (а он — только начнись — непременно касался) так называемых больных вопросов, чт*о* стоят все ваши психогигиенические меры рядом с самым обыкновенным, повседневным делом, приводившим какого-нибудь Василия или Семена к вам в камеру мирового судьи, каковую должность вы исполняли с достоинством и обстоятельностью; когда ваш племянник по вашей просьбе вписывал в протокол незначительные от постоянного и обиходного употребления слова — «корова», «полтина», «межа», какие страшные бездны открывались за этими простыми словами. Перед отъездом из деревни видел угрюмые, сосредоточенные лица крестьян, люди в глаза друг другу не смотрели, смотрели на небо, небо было белесое, выцветшее, по нему катилось белое, не по-весеннему знойное солнце, дождя не было, к концу апреля уже ясно сделалось, что урожай пропал, все чаще раздавалось вокруг тоже очень обыкновенное и страшное слово — «голод».

Если бы иные газетчики, привыкшие, покусывая сигарку, долгоязычничать о нищете, голоде, трущобах и болезнях, как долгоязычничали о войне — «атаках», «переходах», «бросках», «переправах» (сыпалось в статьях, как пули в жаркой перестрелке), если бы предположить могли, какие страшные призраки поднимаются за простыми

словами, — не сулили бы читающей публике скорой встречи с писателем Всеволодом Гаршиным!

Рецензенты в похвалу ему отмечают (да и читатели — о том же), что Гаршин-де берет сюжеты самые обыкновенные, услышишь даже — «обыкновеннейшие», а у него убийства, и самоубийства, и продажа себя, и безысходность, и война, и безумие. Чт*о* за мир, в котором и то, и другое, и третье — обыкновеннейшая подробность обыкновенной жизни!

Два года перо не лезло в руки — ни о чем ином, как о подобных будничных вещах, он писать не умеет, а где найти силы душевные писать о них! — его же загодя спешат представить читающей публике, так сказать «распивочно и на вынос» — «писатель Всеволод Гаршин выздоровел от безумия и продолжает...» — будто решетки на окнах лечебницы, мрачный камень стен, побои и ругань санитаров, ванны, то нестерпимо горячие, то холодные, как лед, саднящий пластырь, налепленный на голову, возвращают способность творить, обеспечивают невозмутимость при встрече с обыкновеннейшими сюжетами.

Добро бы только чужие, а то ведь и свои, мама и Женя, тоже побуждают, призывают, стыдят даже: если бы ты только захотел писать, а захочешь, так сможешь и очень. Вот со смеху кур уморили (домашняя, семейная их поговорка) — и ведь сколько ни тверди, не втолкуешь, что писать охота смертная, да участь горькая — ничего не идет ни в голову, ни из головы, что если бы мог писать, то и писал бы, что писание представляется единственно светлым местом в жизни, пусть не по важности и достоинствам того, что выходит из-под пера, но уже потому хотя бы, что, как оказалось, ни на что и не способен больше, ничего больше не знает и не умеет. Право, иной раз войдет в голову (хоть и стыдишься этаких подозрений), не по деловитой ли распорядительности близких и чужие вдруг вспоминают твою скромную персону.

Так и приглашение Тургенева царапает совесть — и мама, и Женя, оба вели за его спиной с маститым нашим писателем какие-то переговоры; не знай он, Гаршин, что еще два года назад Иван Сергеевич письмами зазывал его в Спасское, нипочем бы не поехал. Но вместе приглашение Ивана Сергеевича — просто-таки выход из положения: когда невмоготу станет людская толкотня (по которой, признаться, после столь долгого перерыва отчаянно соскучился), Спасское-Лутовиново (верить хочется!) принесет душевную собранность и силу. Это не дядина Ефимовка, куда бежишь, чтобы затеряться, — в Спасском надеешься найти себя, и кто знает, не нового ли себя найти (Иван Сергеевич, по крайней мере, сам в этом убежден и его убеждает).

Выспросить бы только, как там одеваются, в Спасском-то Лутовинове, новое платье куплено в Николаеве, по самой дешевой цене, не-

вразумительно серенького цвета и на вид довольно гнусное, деньги перед отъездом из деревни почти кончились, оставалось рублей пятнадцать, занимать у дяди совестно — и без того он немало потратился, заботясь о никчемном племяннике, а теперь что-то сомнение взяло: удобно ли перед Тургеневым ходить в совершенном затрапезе, сам Иван Сергеевич с портретов и фотографических снимков смотрит щеголем...

Не слишком представительным послом отправлен вперед, в Петербург, выполненный в Ефимовке перевод «Коломбы», очень славной повести Мериме, перевод бездельный, хотя один из толстых журналов (благодаря, конечно, усиленным хлопотам брата Жени) решился печатать, за работу он взялся частью от скуки, частью для пробы сил — хоть переводить, коли своего не в силах создать ни строчки; и прежде случалось, переводы возникали спасением души и «спасением от голода» (так он это называет).

Тут самое место порадоваться скорой встрече с дорогим и мудрым другом Александром Яковлевичем Гердом. Александр Яковлевич старше четырнадцатью годами, но иногда кажется, что целой прожитой жизнью старше — иначе откуда у него поразительная способность судить о всяком явлении так, точно когда-то с явлением этим уже встречался, обдумал оное и перечувствовал, точно оно стало частью его, Герда, жизненного опыта.

Того, что уже успел Герд, и правда, без труда хватило бы на две жизни: педагог-естественник, он преподавал в гимназиях, училищах, на высших женских курсах, возглавлял советы и комитеты, основал колонию для исправления малолетних преступников и, пока сам руководил ею, благодаря искренности и воспитательному такту был пожалован доверием своих не щедрых на дружбу питомцев, к тому же читал публичные лекции, издавал руководства и учебники, но, наверно, самое замечательное, что бесконечная загруженность трудами не мешала ему бросаться на помощь тому, кто в его помощи нуждался.

Какое счастье беседовать с Александром Яковлевичем: вот он неторопливо и не на минуту, будто ничего нет для него на свете интереснее и важнее предстоящей беседы, располагается напротив, добрыми светлыми глазами (чуть косит) смотрит сквозь очки в тоненькой золотой оправе прямо тебе в глаза, он никогда не перебивает собеседника, но каждая черточка его приветливого лица как бы излучает стремление подсказать говорящему нужное слово и выражение. Поразительно его умение тотчас проникнуть в суть предмета, отодвинуть частности, ободрить чужой ум трезвым практическим решением и при этом не утратить идеала, не унизиться до практицизма.

Будучи в Англии, он навестил Спенсера, вел речь о переводе трудов британского ученого на русский язык, тот обещал ему встре-

чу с Дарвином; Александр Яковлевич боготворил Дарвина, переводил главы «Происхождения видов», проповедовал в России его учение, но от встречи воздержался (потому и воздержался — объяснил после, — что боготворил). Вскоре российский железнодорожный туз предложил Герду место воспитателя его сыновей, отправлял с ними в Европу при полной свободе и десяти тысячах жалования — Александр Яковлевич наотрез отказался: объяснил приветливо, что не имеет права пренебречь образованием многих детей ради воспитания трех богатых мальчиков.

Просто-таки смешно ставить себя рядом с Гердом, и не только смешно — нечестно: великий труженик, что ни минута — все на пользу людям и человечеству, — и никчемная особа, вечно оправдывающая свое безделье тем, что мир не совсем удобно устроен; ставить себя рядом с Гердом смешно и нечестно, однако в замечательно точных решениях Александра Яковлевича есть нечто (не сразу обозначишь словом), что в него, в Гаршина, вселяет уверенность в правоте и своих поступков, какими бы странными иным, чужим и близким, ни казались (да только ли странными? Скажут без обиняка — безумными).

Александр Яковлевич не случайно приходит на память вместе с мыслью о переводах: и прежде в тяжелую пору мучительно незаполненной жизни Герд появлялся на пороге с предложением срочно перевести что-нибудь из естествознания (и значит — действительно нужное). Последний раз, два года назад, той самой зимой восьмидесятого, был завершен перевод с немецкого «Определителя птиц Европейской России» — книга замечательно интересная, пока переводил, открылось перед ним целое море удивительных сведений о повадках птичьего племени.

Принятая для напечатания «Коломба» подталкивает, конечно, к переводам художественным; в книжном магазине Мелье всегда найдешь новинки европейской литературы, которые ждут, чтобы их «переперли на язык родных осин», как говорилось о злосчастном, вроде него, толмаче в одной старой эпиграмме; с этим магазином Мелье связи давние, еще гимназистом ходил туда, выбирал французские пьесы — мать переводила их для заработка, нетрудно возобновить знакомство; впрочем, бог с ней, с изящной словесностью: «Коломбы» на каждом шагу не встречаются, а что за охота перекладывать пошлую повесть, только потому, что в Париже ее «все читают» — значит и у нас непременно должны «все читать».

Нет уж, лучше что-нибудь из Гердова естествознания, оно и уму любопытнее и душе угоднее — определитель минералов или грибов, насекомых, млекопитающих; люди воюют, страдают, думают о конце света, а вокруг, в природе, из недр которой они появились, на маленькой полянке, где лежит солдат с перебитыми ногами и видит

клочок прошлогодней травы, муравья, былинку, так много еще неизвестного, что следует — определить...

Мама и брат Женя настаивают на издании всех рассказов отдельным томом: книга и читателям напомнит, что живет на свете некто Всеволод Гаршин, и, глядишь, принесет какие-никакие деньги. Слово «книга» пущено, конечно, не по чину гордо; хорошо еще не «собрание сочинений»! За пять лет так называемой деятельности Всеволод Гаршин удостоил читателей всего-навсего восемью произведениями (из тех, что могут быть включены в оный том), общий же объем всех восьми творений (трепещите, создатели эпопей!) — с небольшим сто страниц. Так что «книга», пожалуй, требует переименования в «книжку», «книжечку» или — лучше всего — «брошюру». В самом деле: «Вс. Гаршин. Брошюра рассказов» — такого, кажется, в многострадальной нашей литературе сроду не бывало! Что же до денег, то, как говорится, хороша честь, когда нечего есть; два года сидел приживальщиком на шее у родных — стыдно, перспективы также не радуют, деньги, ничего не поделаешь, надо брать, коли дадут; хорошо бы — рублей по сто за печатный лист, сто двадцать пять — светлая надежда, сто пятьдесят — мечта!..

И все же, как над собой ни насмешничай, таятся в тоненькой первой книжке вместе итог и надежда. Пусть останется пройденной уже землею, отсюда, как от берега («Отдай швартов!»), быть может, пустится он в новое плавание. Так хочется верить, что нынешний приезд в Петербург есть третье его, Гаршина, начало, отделенное от второго болезнью, как то, второе (пять лет назад), было отделено от первого войной...

Второе начало

...Пять лет назад он прикатил в столицу победителем.

Все вокруг читали его «Четыре дня».

В Харькове (там, у матери, долечивал рану) многие вовсе незнакомые люди — читатели! — являлись в ателье, где он однажды фотографировался по возвращении с войны, требовали его портрет. На снимке — интеллигентный молодой человек печального образа и (конечно, самое привлекательное!) солдатская шинель.

В Петербурге фотография автора «Четырех дней», оказалось, тоже нарасхват. Он даже просил домашних заказать еще два-три десятка экземпляров для дарения.

Тогда город торжествовал по случаю взятия Плевны. Вечерами на центральных улицах — роскошная иллюминация, газовые рожки (бурно внедряемые) потрясали яркостью света. Хромая и опираясь на палку, он ходил по проспектам и площадям, озаренным сиянием газовых созвездий (уже не в шинели, конечно, в зимнем пальто с

барашковым воротником, — очень исправно сшил все тот же харьковский портной Михель: пять зим таскал, сносу не было, полгода назад поехал с дядей из Ефимовки в Николаев, пока пил кофе в ресторане, пальто прекрасным образом украли прямо из швейцарской).

Вспомнить радостно, как он тогда ходил! Нет, не надежды — совершенная уверенность в своих силах — без сомнения, единственный раз в жизни — переполняла его тогда.

Да и как голове не закружиться! Десять страничек — и будто с неба: любимый писатель, всероссийская известность, и вот уже сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин просит зайти, чтобы познакомиться, в редакцию «Отечественных записок». Ему на миг почудилось, что никакого труда нет всякий месяц (неделю всякую!) выдавать в свет такие же десять страничек! И месяца не потребовалось — открылось: ради этих десяти страничек надо было пройти войну; а пока по старой пословице — все у меня позади, все впереди, а на руке нет ничего. И всякий раз так будет (вот что открылось!) — чтобы свои десять страничек написать, ему, Всеволоду Гаршину, надо идти в поход, вступать в бой, пасть на поле сражения...

Он напечатал в «Стрекозе» небольшой рассказ — не слишком почтенный журнал, и рассказец, подписанный псевдонимом «Человек, который плачет» (перефразировано из Гюго и оттого несколько претенциозно, не правда ли?), прошел незамеченным. И все же при очевидных своих несовершенствах рассказ этот ему самому, автору, может быть, много больше говорил, нежели умел вычитать из него даже проницательнейший читатель. Там, в рассказе, молодой человек, конечно же добрый и честный, опять-таки отправляется на войну, потому что нельзя не идти — все идут. Стыдно говорить о долге — и не идти! Честные люди делом подтверждают свои слова — молодой человек в этом убежден, кроме того, так говорит Маша, конечно же добрая и честная, лучшая из всех Маш в мире («Когда вы вернетесь, я буду вашей женой», — говорит она ему на дебаркадере — он уже садится в солдатский вагон). Он идет на войну, хорошо воюет и возвращается в Петербург победителем, только одна малость — на деревяшке вместо правой ноги. Он долго ковыляет по лестнице — недавно птицей взлетал! — и застает свою Машу с очень хорошим молодым человеком, который не пошел на войну, потому что счел за лучшее кончить курс в университете. Скоро бедный одноногий герой исполняет обязанности шафера на Машиной свадьбе: он полагает, что не до́лжно предпочитать несчастье трех людей несчастью одного, даже если этот один — ты сам. Рассказ, в самом деле, не слишком значащий (в книжку его включать, во всяком случае, не следует), но слышится в нем стук деревяшки по гранитным плитам проспектов и набережных, стук, заглушающий и шум

ветра, и звон крепостных курантов, — этот стук совпадает с ударами измученного сердца о стенки его тесного помещения. Ему, начинающему писателю Гаршину, тогда открылось, что здесь — судьба его: не колотушкой сторожа, но деревяшкой изувеченного человека будить людей — ударять в сердца...

Да, в декабре семьдесят седьмого он прикатил в Петербург победителем! По странной случайности утром того самого дня, когда он сошел с поезда и, опираясь на палку, заковылял на Офицерскую (приятели приберегли ему комнату, откуда восемью месяцами прежде отправился на фронт), утром того самого дня имел место торжественный въезд в столицу прибывшего с театра войны государя. Стены домов пестрели флагами, коврами, полосами красного сукна, на балконах устроены были беседки из зелени, в глубине — царский бюст, белый или вызолоченный, на площадях и просторных перекрестках деревянные трибуны для публики, построенные от щедрот душевных и не без расчета на будущие милости купцом Малафеевым... Постукивая палкой о плиты тротуара в лад неровному шагу, шел он мимо чужого пира, автор «Четырех дней», проклявший тех, кто выдумал на страдание людям войну, и каждая его клеточка полнилась предчувствием начала.

Он первым делом купил тогда большой письменный стол, обтянул его черной клеенкой, раздобыл красивый чернильный прибор, яркую лампу с длинным фитилем и четырехугольным медным абажуром — стол прямо-таки требовал от своего хозяина, чтобы тот всякий день являл на свет никак не меньше печатного листа готового текста. Он взялся за работу, положив за правило писать как можно больше, печататься же только в крайнем случае. Дни стояли морозные, ветер-северяк гнал по улицам колючий снег, Петербург праздновал победу и веселился, кафешантаны, танцклассы и прочие увеселительные заведения процветали вовсю, власти видели в них «клапан общественных страстей» (бедная Надежда Николаевна из «Происшествия», она же — «девица Евгения», эту отведенную ей «обществом» роль «клапана» осознает).

Петербург праздновал победу и веселился, восторги по поводу взятия Плевны чередовались с восхищенными похвалами новой шансонетке-примадонне Луизе Филиппо, подсчеты военных потерь уступали интересу к размерам талии мадемуазель Мокур, французской актерки, снискавшей расположение высокопоставленнейших особ, минувшие боевые операции обсуждались не с большим тщанием, чем пируэты героя канкана, таинственного «князя Д.». Писатель Всеволод Гаршин поставил у себя в комнате стол, обтянутый клеенкой, зажег яркую лампу, обмакнул перо в большую чернильницу и бросился писать. За грохотом веселой музыки, за перезвоном колоколов, за воспоминаниями о недавних боях он не сразу расслышал стук де-

ревяшки по набережным и проспектам: лишь месяц-полтора спустя история несчастной Надежды Николаевны — сюжет «Происшествия» — развернулась перед ним во всех подробностях.

Многие тогда диву дались: после «Четырех дней» и вдруг — «Происшествие»! Но дистанция вовсе не столь огромна, как может показаться. И не потому даже, что «женский вопрос», а попросту говоря, купля-продажа женщины, есть вопрос, решение которого, как замечал иносказательно кто-то из публицистов, «клонится к пользе всех людей вообще». Главное не в том или, вернее, не только в том: героиня «Происшествия», как и герой «Четырех дней», *начинает думать* — вот что самое главное. И думать она начинает оттого, что рядом с ней, с героиней «Происшествия», так же, как рядом с героем «Четырех дней», оказывается человек, которого она против воли своей убивает. Не может не убить: в огромном, жестоко и несправедливо устроенном общественном организме воля ее в расчет не принимается; в этом огромном организме она, как и герой «Четырех дней», самая ничтожная бесправная частица, «палец от ноги» — этот образ из шекспировского «Кориолана» вспомнит позже еще один его герой (в рассказе «Трус»), тоже против собственной воли назначенный убивать или быть убитым.

Но мысль о Надежде Николаевне позже к нему пришла, месяц или два спустя, он уже перебрался в том же доме по Офицерской, тридцать три, этажом выше (от матери, от Екатерины Степановны, у него назойливая потребность менять квартиры: чуть приживется — и уже надоела паче горькой редьки). Просторного стола, который недавно так его радовал, кажется, больше не было, и не было ни лампы с четырехугольным абажуром, ни письменного прибора, из частей которого — чернильницы, стаканчика для перьев, пресс-папье, линейки и проч. — можно было возводить на столе замечательнейшие сооружения (тут свое, не наследственное, какое-то странное, будто само собой происходящее исчезновение недавно милых сердцу вещей — теряет, раздаривает, чаще же всего сами куда-то улетучиваются, почти не оставляя следа в памяти).

Годы и думы

...Два черных рычага, поставленные горизонтально один над другим на светло-сером дорожном столбе, означают, что начинается подъем. Видимо, на полустанке прицепят второй паровоз — «дополнительную локомотиву», как говорили совсем недавно (почему-то в женском роде); на прицепку паровоза уйдет время, но даже в две силы вряд ли удастся теперь преодолеть опоздание.

А поезд, без сомнения, опаздывает: в Чудово должны были прийти ровно в шесть, между тем вокзальные часы показывали двадцать пять минут седьмого; длинная стрелка его собственных карманных



(определенно более точных) была уже на двадцати семи минутах; если поезд будет набирать опоздание, чего доброго, окажешься на месте лишь к полуночи...

Пять лет назад, в тот памятный приезд, когда впервые явился он в Петербург писателем Всеволодом Гаршиным, имя «Чудово» часто вертелось в разговорах и слухах. Где-то здесь, недалеко от железной дороги, находилось имение Некрасова, он любил тут охотиться на дупелей и, случалось, славно писал; это чудовское имение поэт завещал жене, Зинаиде Николаевне, но сестра покойного откупила у нее усадьбу с землею. Тогда передавали много удивительного о женитьбе Некрасова: он был уже тяжко, неизлечимо болен, не то что на улицу, из комнаты не выходил, с трудом сползал с кровати, друзья, исполняя его желание, нашли священника, который взялся венчать на дому. Поэта в длинной ночной рубахе, едва переставлявшего ноги, подвели к установленному посреди спальни походному алтарю...

Некрасов умер в последних числах декабря семьдесят седьмого года, через две недели после его, Гаршина, приезда в Петербург. Он пошел на Литейный — проститься. В комнате теснились люди, легко угадывалось, что многие здесь, как и он, Гаршин, с покойным знакомы не были — сердце позвало, да вот задержались, вглядываясь в желтое длинное лицо, будто пропускавшее свет зажженных вокруг свечей.

Кто-то его, Гаршина, узнал, должно быть: едва он отошел от гроба, тотчас появился рядом приземистый, крепко сбитый человек в окладистой седой бороде, с упадавшими на плечи седыми волосами, сильно пожал ему руку жесткой жилистой рукой, представился Елисеевым Григорием Захаровичем, соредактором «Отечественных записок», неторопливо пощупал лицо Гаршину спрятанными в морщинистых веках внимательными глазами, остался, видимо, доволен, дрогнул улыбкой где-то в глубине бороды, кивнул на гроб и произнес вроде бы некстати: «Вот завещал похоронить себя на Новодевичьем, а Михаил Евграфыч сердится — поэта Некрасова не на Волково к литераторам повезут, а к девицам в монастырь». Слегка обнимая за плечи, повел в кабинет. Зеленые портьеры на окнах были задернуты, кабинет освещала люстра из трех расходящихся факелами ламп.

Несколько книжек «Отечественных записок» в привычной желтой обложке сложены были стопкой на зеленом сукне письменного стола. Елисеев сказал, что десятый номер журнала с гаршинскими «Четырьмя днями» Николай Алексеевич, несмотря на ужасные муки, успел прочитать. Спросил, пишет ли Гаршин что-нибудь новенькое; услышав в ответ, что писать-то пишет довольно, но публиковать намерен возможно меньше, снова тяжело пощупал его взгля-

дом, едва заметно улыбнулся: ну, милый человек, этак вам и на чернила не хватит. Однако, прибавил, если что найдете достойным, несите в «Отечественные записки». Пожимая на прощание руку жесткой своей рукой, пригласил первого января к себе отобедать по случаю наступающего семьдесят восьмого года: раз уж двинулись, милый человек, нелегкой нашей стезею, отчего бы вам не начать год вместе с собратьями по перу.

Слушая Елисеева, он вспомнил свое любимое: «Что новый год, то новых дум, желаний и надежд исполнен легковерный ум и мудрых и невежд. Лишь тот, кто под землей сокрыт, надежды в сердце не таит!..» — так горько на душе стало, — заплакал и вышел из кабинета. Тонкое лицо Некрасова, удлиненное худобой и высоким облысевшим лбом, было строго, желтые, точно вылепленные из воска руки, сложенные на груди, невероятно утончились за долгие месяцы болезни, они были странно согнуты, как бы под острым углом переломлены в запястье.

Темным декабрьским вечером он шел пешком с Литейной к себе на Офицерскую, перебирал в памяти стихи Некрасова, которые знал во множестве, дома схватился за книгу его сочинений, купленную еще в гимназические годы, — все словно впервые читал!

Среди сверстников, едва заходил разговор о Некрасове, он обычно оставался в одиночестве: Некрасов — признанный выразитель дум поколения, а тут, видите ли, некто Всеволод Гаршин не считает нужным соглашаться с тем, что само собой очевидно и не требует доказательств! Он спорил о том, что, по мнению собеседников, как раз невозможно было оспоривать: ему подчас мешало в Некрасове именно стремление кратчайшим путем, пусть в ущерб поэзии, высказать определенную идею. В ту ночь все прочиталось по-новому, по-особенному.

Два дня спустя он раздраженно смотрел на похоронах, как несколько «дам с направлением», переодетые крестьянскими бабами, надрываясь, тащили за гробом поэта венки «От русских женщин».

У Достоевского в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за семьдесят седьмой год он прочитал нечто очень близкое тому, что сам пережил: Достоевский рассказывал, как, попрощавшись с поэтом (когда выходил из комнаты, где стоял гроб, псалтырщик четко произнес над покойным: «Несть человек, иже не согрешит»), после всю ночь напролет читал его сочинения, прочитал три тома от первой страницы до последней и как никогда прежде остро понял, прочувствовал, что источником всей поэзии Некрасова было раненое сердце, от этой никогда не заживавшей раны и страсть и страдание в каждой строке его (вот пять лет минуло — уже и Достоевского нет!..).

На кладбище произошла получившая широкую огласку история: над раскрытой еще могилой Достоевский держал речь и сравнил Некрасова с Пушкиным и Лермонтовым. «Он был выше, выше Пуш-

кина», — закричали из толпы молодежи. «Не выше, но и не ниже», — сдерживая раздражение, повернулся на голоса Достоевский. Эту историю Федор Михайлович тоже в «Дневнике писателя» рассказал.

День стоял морозный, небо студеное, чистое, безоблачная льдистая голубизна. Народу на кладбище собралось до пяти тысяч человек, к могиле не пробраться, кто половчее, взбирались на ограды и решетки соседних могил, стены и кровли склепов. Гаршина с его раненой ногой и палкой оттерли на дальнюю дорожку, тут он все же поднялся на каменную ступеньку ограды, уцепился, чтобы не сбросили, одной рукой за железный прут (уже возвращаясь домой, почувствовал, что отморозил пальцы — почти не разгибались), больная нога ныла на холоде, и он все время шевелил ею в сапоге.

Поразительная тишина повисла над кладбищем, пять тысяч затаили дыхание, только ленивое карканье вороны, решившей перелететь с одного дерева на другое, хлопанье ее крыльев, треск обломившейся ветки, тихий шорох посыпавшегося снега нарушали эту пронзительную тишину; голоса ораторов разносились далеко и ясно.

Гаршин увидел, как к могиле подошел высокий человек в легком, не по холодной погоде пальто, и в том, как встали вокруг него несколько его товарищей, чувствовалась напряженная готовность дать отпор. Человек поднялся на холм мерзлой ярко-желтой земли и с яростным, даже задорным вызовом бросил в напрягшуюся толпу: Некрасов ножек Терпсихоры не воспевал — поэт звал к переустройству несправедливого мира. Что-то необыкновенно знакомое было в голосе оратора, в прямой его фигуре, во всей его стати, вот лица было не разглядеть. Но когда человек заговорил о декабристах, героях некрасовской поэзии, и тут же о том, что его тяжелый, негладкий стих, наверно, режет ухо людям, избалованным роскошной музыкой стихов Лермонтова и Пушкина, едва он проговорил все это, тотчас возникла в памяти переполненная студентами курилка Горного института, разгоряченные лица, почти все вокруг, за малым исключением, против него, против Гаршина, — однажды он спорил с этим человеком о Некрасове. Он доказывал, что тенденция не оправдывает поэтических погрешностей, и для примера напомнил из «Русских женщин»: «Покоен, прочен и легок на диво слаженный возок»; собеседник сверкнул задорными, необыкновенно прямо смотрящими глазами — и неожиданно рассмеялся, просто и весело: в самом деле, «легок» и «возок» — рифма не из лучших!.. Ночью, перечитывая поэму, он, Гаршин, и сам не заметил, не припомнил этой безделицы — вот только сейчас, когда услышал этого человека в легком пальто на холмике желтой земли, увидел решительные фигуры столпившихся вокруг него товарищей...

Они познакомились еще при поступлении в институт, на приемном испытании по физике. Он подошел к этому изящному молодому чело-

веку, спокойно ожидавшему экзамена, задержал взгляд на его невозмутимом лице (отличный черный сюртук, изысканно сидевший на молодом человеке, тоже не вызвал у него одобрения), предупредил: «Если сегодня будет спрашивать Краевич, провалимся». Незнакомец в упор посмотрел ему в глаза задорно сиявшими глазами: «Почему вы так дурно обо мне думаете?» — «Да если вы знаете физику, как сам Краевич, он и тогда вас срежет». — «Ну, еще повоюем!» — рассмеялся молодой человек и представился: Плеханов.

Грозные профессора, страшные для Гаршина, и впрямь не пугали Плеханова. Этот с первых же шагов в институте по всем предметам выказал блистательные успехи, что не помешало начальству после памятной демонстрации у Казанского собора (Плеханов тогда речь произнес) преспокойно вытолкать его из института как малоуспевающего, про поведение же, чтобы не раздувать историю, написали без зазрения совести, что поведения был очень хорошего.

Сам он, Гаршин, на Казанской площади не был, ничего не знал о готовящейся демонстрации, в таких делах его в расчет не брали, в курилках спорили до хрипоты не только о достоинствах некрасовского слога, и он, Гаршин, в полемиках не скрывал, что не в демонстрациях, сходках и схватках ищет свой путь борьбы. Это потом, когда начали хватать и вязать, он почувствовал, понял, что, знай загодя, во что бы то ни стало должен был, обязан был выйти на площадь, независимо от всяких теорий, по желанию или вопреки, — совесть требовала быть с теми, кого били и хватали. Судилище было безотлагательно и ужасно: пятнадцать лет каторжных рудников и десять лет крепостных одиночек; даже едва достигшей шестнадцати годов сокрушительнице устоев — семь лет каторги! Что за мука: девочку в кандалах конвойные толкают в арестантский вагон, а благонамеренные господа (куда только респектабельность подевалась!) брызжут слюной, требуют ужесточить меры против бунтовщиков. Подлость сытых обывателей, для которых всякий поступок, маломальски царапнувший их покой, — непременно «бунт», а наиполнейшее объяснение всякой жестокости свыше — «сами виноваты».

Бедная мама, Екатерина Степановна, ужасно боялась: за сходки, за демонстрации ссылали студентов по этапу, хорошо — на родину, а то и в Томск, и в Темир-Хан-Шуру. Бедная мама, он пугал ее не готовностью участвовать в демонстрациях и сходках, он другим ее пугал: наденет казенный полушубок да и отправится добровольно в Сибирь, в Олонецкую губернию, на Кавказ — бунтовать с другими, может быть, и не станет, а вот страдать — непременно.

Напрасно бедная мама пугалась и раздраженно предостерегала его от чтения книг, которые сама читала и знала отлично, — от Миртова (Лаврова), от Лассаля, от Берви-Флеровского «Азбуки социальных наук». «Выбрось из головы мысль о перестрое современного общества» — а пугаться нечего, революционер из ее Всеволода не

вышел: обыкновенный средний студент. Конечно же, со сходками и демонстрациями (никуда не деться), с «Историческими письмами» Миртова и Берви-Флеровским (невозможно без этого), но, в общем, обыкновенный средний студент. Вечный страх зачетов и переэкзаменовок (отдохновение душе — ботаника: профессор Баталин, Александр Федорович, не мог на него нарадоваться, ставил его другим в пример — вот ведь как умело и увлеченно работает Гаршин с микроскопом!). Непременное репетиторство: рублевые уроки кому угодно и по любому предмету (а в доме дальних родственников просто за обед). Опера, бенефисы и благотворительные концерты любимых певцов — Лавровской (плакал, когда пела Шуберта — «Лесной царь»), Мельникова (которому для выражения признательности махал с галерки сразу двумя платками) или Петрова (студенты выпрягли лошадей из кареты и на себе повезли престарелого кумира до дома). Но, в конце концов, не так-то для него было важно, срезался ли он по высшей математике, попросил ли по химии второй билет, чтобы хоть кое-как набрать три с половиной балла, важны были не предметы, не отметки, даже и не знания, важно было — он чувствовал, — что каждый экзамен — шаг, ступенька в какую-то дыру, в кратер какой-то, из которого чем дальше, тем меньше надежды выбраться... Деятельность горного инженера не манила ничуть. Добро бы еще экспедиции, поездки по горам и долам бескрайней отеческой земли — но это счастливая лотерея, один номер из ста, который, конечно же, не ему предназначался. А девяносто девять из ста просто-напросто надевали мундир и фуражку горного ведомства (как надели бы мундир и фуражку ведомства финансового, народного просвещения или вот хоть железнодорожного), отправлялись служить, и требовали от них службы, а не служения, исправности, а не сил душевных. Алексей Дорошенко, один из товарищей, окончивший институт, когда он, Гаршин, еще постигал науки, признавался тоскливо: пока был студентом, жил надеждой, что сгожусь на что-нибудь, а заделался инженером, так и душе жить нечем — отвешиваю кислоты да пишу бумажки на Монетном дворе; не участвовать же в гонке за деньжищами где-нибудь на нефтяных промыслах.

Нет, не так безобидно он, Гаршин, обронил однажды, что ушел на войну, потому что боялся экзаменов в институте (приятели слова его подхватили, разнесли, превратили в пустую шутку, остроту — не более). А он, наверно, и в самом деле экзаменов испугался, экзаменов на чин, на мундир и фуражку, на делячество инженера первой категории — он должен был себя испытать. Представьте: любимая девушка бросает кольцо в пламя гигантского пожара (что-нибудь вроде пожара паровой мельницы, в свое время подожженной в Петербурге миллионером Овсянниковым) или в морскую пучину.

Проще всего и надежнее, конечно же, пойти в ювелирный магазин Буца и без труда купить другое кольцо, но можно — в огонь или в воду...

Целесообразность памяти

Он поневоле прислушивался к беседе двух сидевших напротив пассажиров (в Бологом с этими же двумя господами пил чай в станционном буфете — оба бросили в свои стаканы едва ли не по шесть кусков сахару и с непонятным ожесточением размешивали его ложечками) — быстрый, с полуслова понятный обоим разговор шел о прибылях акционерного общества, купившего у правительства право вести строительные работы на Николаевской железной дороге, о знаменитой примадонне Филиппо из не менее знаменитого столичного заведения Демидрон, о танцклассе Марцинкевича на углу Гороховой и Фонтанки, об акциях компании Грегора, которые опять несколько упали в цене...

Компания Грегора в минувшую войну сумела получить громадные подряды по интендантству: солдат, кажется, в рот куска не мог положить, чтобы тем не бросить монетку в копилку компании. С чаем и сахаром на театре войны творилась ужасающая неразбериха: чай, хотя и скверных сортов, поступал в невообразимо огромных количествах (даже трубки им набивали при нехватке табаку), сахара же выдавали мало — большей частью случалось обходиться без него.

...Это после, во второй половине похода, невыносимые жары, люди, не в силах переносить зной, расстраивая колонны, десятками и сотнями сходили с полотна дороги на обочину, брели, спотыкаясь, отставали, падали, и как часто бывалый фельдфебель, с напускной строгостью бранивший и понукавший сраженного солнечным ударом солдата — «А ну, вставай, вставай сейчас же!», минуту спустя валился рядом с несчастным. Это после, во второй половине похода, прямо-таки счастьем — приказ снять суконные мундиры и сдать в обоз шинельные скатки, идти же в белых бязевых рубахах (рубахи, поставляемые едва ли не все тем же вездесущим Грегором, были, как на подбор, малы, с короткими рукавами и не сходились на вороте). Это после, во второй половине пути, страшная давка и толкотня у колодцев, которые были редки и маловодны, — голова колонны в момент вычерпывала из них воду и подошедшим после доставалась лишь бурая жижа со дна.

Это все после, во второй половине похода, а выступали из Кишинева в дождь, обогнули кладбище, за забором под понурыми деревьями поблескивали мокрые кресты и памятники, вышли в долину, серую под сплошной пеленой дождя, только вдали у горизонта, в просвете между тучами косым лучом пробивалось солнце. Но дале-

кий этот, будто выплавленный из неяркого серебра луч был обманчив: день шли, другой и третий, точно все хляби небесные разверзлись, вода лилась сверху и поднималась снизу, дорога — полоса размокшего чернозема среди окутанных дымкой, печальных холмов и равнин, а нежданный этот луч знай себе загорался у горизонта, час или два манил к себе, вселял надежду и так же вдруг исчезал в сплошной, непроглядной серости, точно заботливая хозяйка подошла к окну и поплотнее задернула занавески.

Ночлеги и дневки, как назло, не в селах, не в городах — где-нибудь на пустыре, на выгоне или просто в чистом поле, палатки вовремя не подвезли (с кого спросить, только начальству ведомо — и ведь не спросит). «Стой! Составь!» — и тут-то начиналось чудодейное таинство: в землю втыкалось два штыка, а на них перекладинкой над буквой «П» помещался шомпол, на него вешался котелок с водой, под ним же, в свою очередь, раскладывался костерок из сухих стеблей кукурузы, занятие это исполнялось солдатами с детской серьезностью, каждой палочке, каждому стеблю, прежде чем подложить, долго выбиралось в костре самое подходящее место, минут через десять вода била ключом, чай (благо, довольствовали им щедро) сыпали в кипяток большими порциями...

Способны ли понять азартно беседующие попутчики ту истинную радость, которую можно испытать, когда, пачкая в саже руки, подносишь к губам котелок с горькой, черной жидкостью, когда, не замечая, как обжигает она губы, язык, большими глотками втягиваешь ее в свое промокшее, продрогшее тело. Чтобы испытать эту радость (а испытать ее необходимо, иначе жизнь будет попросту неполной), чтобы испытать эту радость, нужно идти по дороге, имея при себе лишь винтовку, шинельную скатку и ранец, не слишком надеяться, что завтра останешься жив, и быть при том убежденным, что, идя, поступаешь правильно...

Пять лет назад он явился в Петербург победителем (второе его начало), оставив за спиной походные дожди и жары, и шквальный огонь на Аясларской высоте; он помнил сожженные деревни и погубленные нивы, болгар, обнимавших русских солдат — освободителей от долгой и жестокой неволи; в Петербурге его встретили транспаранты, переброшенные арками через улицы, полотнища на стенах домов, незнакомые люди пожимали ему руку, читатели требовали его фотографию — непременно в шинели. Трудно ступая на раненую ногу, он — победителем — приковылял к себе на Офицерскую, обил стол черной клеенкой, поставил на него лампу с ярким фитилем под медным абажуром, огромную — стеклянным кубом — чернильницу — пиши только!..

Кажется, первое, что он написал и окончил, было обращение к властям: владелец соседнего дома, уже по Английскому проспекту, отставной полковник Дементьев с супругой истязали прислугу, запуганную деревенскую девушку по имени Катерина, — не вмешаться было просто-таки невозможно! Месяц спустя навестил его добродушный полицейский начальник, весело объяснил, что власти во всем, в чем следует, разберутся сами, а еще недели через две Катерина по какой-то надобности, или без нее, оказалась на канале у проруби — и утопилась. Вот так-то, победитель, освободитель!..

Он писал тогда «Происшествие»: в минуту отчаяния Надежда Николаевна приходит к Неве, по каменным ступеням спускается к проруби, край проруби мокрый, скользкий. Подумалось: если поскользнешься, поплывешь подо льдом по реке. Проникает ли туда солнечный свет? Городовой, стуча шашкой о камень, сбежал следом по присыпанным песком ступеням: «Сударыня, пожалуйте на панель!»

Девушке Катерине — в прорубь. Надежде Николаевне — «девице Евгении» — на панель. Отставному полковнику Дементьеву — собственный дом. Грегору и К° — красть у проливающих кровь солдат хлеб и сахар, одевать их в гнилую бязь.

Не вам, господин Гаршин, знать и решать, кому куда идти, что делать и где пребывать... Сочиняйте себе свои рассказы, коли больше ни на что не способны, да поберегите кровь и нервы — чернила ценой не в меру дешевле, дохода же приносят куда больше. Что вам до человечества, подумайте о собственном покое и благополучии — в вашей воле добыть их из этой кубической чернильницы вместе с солидным кушем. Вон ведь и ваш художник Рябинин со своим Глухарем, желая растревожить совесть общества, только и заработал что горячку, тогда как его антипод, презираемый вами (что для автора в отношении собственного героя весьма неприлично) пейзажист Дедов, как бы на машине штампующий радующие глаз виды, благоденствует. Ваша воля, господин Гаршин, пойти, коли охота, и подставить грудь под пули, чтобы совесть не мучила, оттого что это делают другие, но не ваша воля и не ваша сила что-нибудь переменить в принятом порядке вещей. Вот Виктор, братец ваш, понял и, как сами вы изволили выразиться, узнав о «происшествии» с ним, «благую часть избрал»...

Поберегите кровь и нервы, господин сочинитель! Кто дал вам право лишать ближнего сна и покоя (чего так страстно желает ваш художник Рябинин)? Кто дал вам право мешать ближнему жить так, чтобы получать удовольствие от жизни? Вам не по сердцу, что эти два господина, сидящие напротив, желают выгодно вложить деньги в акции, посмотреть, как лихо хлопает себя по ляжкам фантастическая Филиппо в Демидроне, или поужинать с дамами в танцклассе Марцинкевича? Вам хочется взять веревку и прогнать торгующих из храма? Да кто вам дал право возводить в закон

требования собственной совести? И разве вы придумали что-нибудь на место компаний с акциями, веселой шансонетки и танцкласса?

Закройте глаза, господин сочинитель, думайте, вспоминайте, старайтесь не придавать значения такой мелочи, как звяканье ложечки (право, смешно!), — скоро Петербург...

Через Прут переправлялись под Фальчи. На рассвете барабаны заколотили «генерал-марш», побудку, запели рожки. Приказ: помочь артиллерии доставить орудия и снарядные ящики на паром. От бивака до берега реки на полторы версты синело тинистое болото, поросшее тростником, — сразу видно стало, что батареи до самого парома придется тащить на плечах.

«Ну что, ребята, справимся?» — офицеры не столько спрашивали, сколько самим тоном вопроса приободряли солдат. «Вытащим!» — весело кричали солдаты, тоже не ответа ради, а больше стараясь поощрить себя к нелегкому делу.

Хотя одежда не просыхала от непрерывных дождей, решено было раздеть солдат догола: идти необсохшими после переправы было бы совсем невозможно. Что-то апокалиптическое было в этой сцене: масса обнаженных тел — люди шли, ползли, погружались в темную воду, несли на плечах выкрашенные в защитный цвет стволы пушек, впрягались в артиллерийские ящики с зарядами, вытягивали лошадей, увязавших в топком дне.

Дождь вдруг остановился ненадолго, словно пожалел измученных солдат, солнечный луч, целую неделю далеким миражем являвшийся перед идущими войсками, теперь проклюнул тучу над самой их головой, ослепительно засветил взбаламученную переправой поверхность воды, и тотчас навстречу ему начали подниматься из глубины и раскрываться прекрасными цветами большие бутоны белых кувшинок. Через несколько дней после форсирования Прута дожди и вовсе кончились, и начался великий зной.

Гроза ударила только в Зимнице.

Разгадают ли когда ученые, что там творится в сокровеннейших клеточках мозга, отчего, допустим, созерцание прихлебывающего чай соседа по вагону вдруг вызывает в воображении картину копошащихся в темной воде обнаженных белых солдатских тел, которые завтра будут продырявлены пулями и разорваны гранатами, белых цветов, всплывающих на поверхность темной воды, широко, доверчиво раскрывающих свои лепестки лучу солнца...

Парадоксальная мысль Спенсера, утверждавшего, будто память есть зачаточный инстинкт, а инстинкт — организованная память, представляется ошибочной — и потому, что инстинкт подчас не

учитывает предшествующего опыта, и потому, что памяти неведома целесообразность инстинкта. Разве что памяти доступна какая-то высшая целесообразность, допустим творческая; благодаря чему удерживаются в странных кладовых, именуемых памятью, образы, казалось бы, несущественные, ненужные, удерживаются, чтобы однажды вырваться на свободу, обрести новый смысл, из камня, отброшенного некогда строителями, стать краеугольным камнем, на котором возведено будет новое здание.

Но зачем тогда этой высшей целесообразности картины безумия, душевного расстройства, смятения духа? Зачем живут в нем, Гаршине, мучительные воспоминания о том, что происходило с ним в самые тягостные месяцы болезни, что было как бы изнанкой его жизни, вкривь и вкось испещрено нитями и узлами швов и наметок? Зачем ярко, точно маки в зелени больничного сада, горят и жгут его память поступки, речи, страхи, желания, составлявшие мир, в котором он жил помимо собственной воли, фантастический сон, бывший для него реальностью?..

Впрочем, как ни страшно жить среди миражей и воевать с ветряными мельницами, но в том воображаемом мире подчас так просто решать задачи, во всамделишном бытии неразрешимые, — думать, например, что ценой собственной жизни можешь оплатить стройность мироздания, счастье других людей!

Когда откуда-то берется богатырская сила и во время бушующей над городом грозы ты выламываешь железный прут из решетки больничного окна, приставляешь один его конец к обнаженной своей груди, а другой устремляешь в небо, когда ты предлагаешь молнии испепелить тебя и спасаешь от гибели город, какое сладкое чувство исполненного долга, незнаемый покой душевный охватывают тебя...

Но об этой материи опять-таки лучше не рассуждать...

Первое начало

Лучше, пожалуй, за час или за два, а если быть точным (для чего достаточно скосить глаза на циферблат) за час с четвертью до того мгновенья, когда с остановкой поезда ударишься лицом о необходимость начать все сызнова, лучше убежать памятью в счастливую пору, когда и в самом деле все начиналось, начиналось впервые — не послевоенные «Четыре дня», его громкая слава, а первое, юное начало, исполненное надежд, столь же нескончаемых, сколь туманных, и потому — радужных.

Обыкновенный средний студент... Записи лекций и запретные, но всеми читаемые книги в сумке, сходки и протесты, переэкзаменовки, слухи о вопиющей профессорской жестокости, грошовые уроки, благотворительные концерты и балы, масленичные загородные гуля-

ния, для каковой цели в складчину нанимались извозчики, приезжавшие в столицу откуда-то из Прибалтики как раз на масленицу, — лошади у них маленькие, но отличающиеся замечательной быстротой бега и выносливостью... Обыкновенные студенческие заботы и тревоги и еще нечто... Как Агасферу голос какой-то повторял: «Иди, иди», так и ему неведомый голос твердил: «Пиши, пиши» (объяснял он тогда знакомым). Боже, сколько он изводил бумаги! «Стихи и проза в огромном количестве ложатся на бумагу и после вместе с бумагой кладутся в печь» — тогдашний его каламбур. Он чувствовал, что только это поприще имеет для него значение...

Он обитал тогда у «Василия на острове», как любят щегольски говорить старые петербуржцы, в самом начале Шестой линии, прямо против Николаевского моста: квартира высоко, в пятом этаже, по лестнице восемьдесят семь ступеней, что для моциона очень даже не худо; к тому же — опять-таки привлекательно — нижний этаж занимала кондитерская Тихонова, где между прочими возбуждавшими аппетит изделиями всегда имелось в продаже сухое глазированное пирожное, вырезанное в виде звездочек и ажурных листьев и называемое «столетним», оттого, должно быть, что сто лет способно храниться, не портясь, лишь черствея, пирожное, кроме долговечности, отличающееся еще одним ни с чем не сравнимым преимуществом — дешевизной.

Никогда не забудется ясный апрельский день семьдесят шестого года, по Неве шумно и весело шел лед, и в небе над рекой отражением ледохода быстро бежали облака, студеный ветер насквозь продувал, стыли руки, но он не чувствовал холода, мчался по улице и казалось ему, ветер сейчас подхватит его — и он полетит, так взмыл он на высоту своих восьмидесяти семи ступеней, из кармана его пальто, будто всем напоказ, торчал десяток свернутых трубою экземпляров пятнадцатого номера газеты «Молва» с «Подлинной историей Энского земского собрания» — первое его, Гаршина, напечатанное сочинение! Во внутреннем кармане студенческой куртки, согревая грудь радостной уверенностью в будущем, покоился остаток гонорара — шесть рублей девяносто копеек; всего было выплачено редакцией пятнадцать рублей восемь копеек, на восемь рублей были тотчас куплены сапоги (предполагались еще и праздничные башмаки с пряжками, но, поскольку оные стоили также восемь целковых, денег на их приобретение не хватило), кое-какая мелочь была потрачена на полдюжины «столетних» пирожных для сооружения торжественного чая.

...Никто в тот день не узнал, что в России народился новый писатель Всеволод Гаршин: он подписал очерк буквами «Р. А.».

Право, улыбнешься, вспоминая: Раечка Александрова — никого, казалось, не было дороже; на войне, не задумываясь, полез бы под

пули, если бы пообещали после боя минутное свидание с ней, и — вот ведь странность — только что проезжал Москву, даже разыскать не попытался.

...В Старобельске, городе детства, Александровы жили почти рядом. Потом, примерно в одно время с матерью и братом Женей, переехали в Харьков. Он искренне был влюблен, искреннейше убежден, что любит, а коли любит, значит, надо в огонь, в омут бросаться — спасать! От чего? От кого? Да хотя бы от себя самой, от провинциальной барышни, для которой другого пути нет, как замуж: замужество точно калитка в конце короткого проулка, шаг, другой, третий — и калитка уже захлопнулась за спиной. И ужас-то в том, что для милой барышни эта дверца на пружинке не капкан — заветная цель. Не юркнуть в нее, остаться в проулке, между заборами, тесовыми, крашеными, у всех на виду, еще страшнее. Ну, сами посудите, старая девушка где-нибудь в уездном городке, на виду, как на ладони, среди частокола знакомых семейств, всех по пальцам пересчитаешь — предводитель, судья, полицмейстер, директор гимназии... И в том, что Раечка, по наторенному проулку шаг-другой ступив, оглянулась: куда же это я, вон ведь рядом дорога широкая, а я сама и в яму с головой, в том, что провинциальная барышня косность, привычку, в поколениях отстоявшуюся, одолела — и в Москву, в консерваторию (пианистка — артистка!), и его, Гаршина, пусть малая, но заслуга. Недаром, значит, в письмах писал-рассказывал: одна знакомая барышня отправилась учительницей в Пермскую губернию, другая — на войну сестрой милосердия, третья — из ужасной чиновнической семьи, запертая родителями, — надела отцовскую шубу и фуражку и откуда-то из-под Вологды — в Петербург, на курсы. Жизнь, жизнь кругом, милая Раечка, простор — смотрите, не прозевайте в уездных и губернских переулках-закоулках!.. К слову сказать, что вас там заставляют играть на фортепьяно, что за никчемные, дурацкие пьесы? Вот, не угодно ли, клавир глинковского «Руслана»!.. И пришлите мне в ответ хоть маленькое, но из души вырвавшееся письмо, невообразимо скучно читать эти подробные отчеты про старобельского «дядюшку» или харьковскую «тетушку»! И еще — как бы это сказать? — разрешите мне украсть две буквы ваших «Р. А.» для подписи; быть может, они принесут мне счастье на поприще, единственно желанном...

Лет шесть назад Александровы сняли на лето заброшенную усадьбу под Харьковом: старинный заросший парк, липовые аллеи, с трех сторон ведущие к дому, — листва на деревьях такая густая, что и во время сильного дождя земля под ними остается сухой. Он приехал на каникулы к матери, но всякий день у Александровых. Пешие экскурсии, дальние прогулки, пикники — всему он заводила. Накануне готовились свертки с провизией, бутылки с квасом, ковры, паласы — надо было распределить ношу между участниками путе-

шествия, точно вычислить маршрут, придумать игры и развлечения, подбадривать отстающих. Он придумывал, подбадривал, взваливал на плечи самый тяжелый груз, все было ему легко, все давалось, целое лето прожил в состоянии веселого возбуждения, остро думал и говорил остро.

Кажется, он увлекался ролью спасителя — все ему хотелось Раечку свою вытащить, вывести, на истинный путь направить — это путь от любви прочь: трудно устроить жизнь со «спасителем», да и «спасителю» скучно и пусто, когда некого больше и незачем спасать. (Раиса Всеволодовна делает, кажется, в консерватории успехи, недурная пианистка.) Может быть, он слишком долго и много писал Раечке, любовь от писем сохнет, намечтаешь в них целый мир и незаметно переселяешься в мир призраков — от горячей живой жизни. В любви должно непременно оставаться что-то простое и вместе необъяснимое: «Да что вам в ней так понравилось?» — спрашивает в гоголевской «Женитьбе» Кочкарев у моряка Жевакина. — «А сказать правду — мне понравилась она потому, что полная женщина», — отвечает Жевакин. И весь сказ.

Там, в старой усадьбе, решили поставить спектакль — он сам предложил «Женитьбу». Себе взял роль Жевакина, Раечка играла Агафью Тихоновну, мать, Екатерина Степановна, сваху. Екатерина Степановна из всех сил старалась отвлечь его и Раечку от мыслей о полной взаимности, о будущем; однажды сказала, что любовь не для него, не для Всеволода: его болезнь — враг любви. Но он-то знал, что она сама, Екатерина Степановна, — враг его любви. Бедная мама, она никогда не забудет страшного дня, когда в полицейской части у нее «законным порядком» отняли сына, ее Всеволода, чтобы передать на воспитание отцу, она всегда будет препятствовать желанию отнять у нее сына Всеволода «законным порядком», даже если этот «порядок» не что иное, как любовь. Едва появилась рядом Надя, мама, что заправская сваха, гоголевская Фекла Ивановна, вдруг прикипела душой к Раечке (из двух зол меньшее), даже в больницу к нему ее приводила (то-то привлекательный был жених — но это другая материя!)...

О Наде ни слуху ни духу. Еще в пору больничного заточения было коротко сказано ему, что без него устроила свое счастье. В письме из Ефимовки он как-то спросил о ней у Екатерины Степановны: почти два года ничего не слышу, не соблаговолите ли хотя бы сообщить, жива ли она. В ответ ни слова, точно в пустоту выкрикнул...

Два года ничего о ней не слышал, не знает, жива ли; если жива, конечно, отстранили, запугали, объяснили, что безумен, что навсегда болен, надежды нет, что для ее же пользы и его же блага и проч., и проч. В Петербурге он тотчас отправится на Литейную (дом пятьдесят два), как хромой на своей стучащей о камень деревяшке из

его же рассказа, поднимется по знакомой лестнице — что бы его ни встретило, все надо испытать, изведать, он все сначала начинает — третье и последнее его начало.

В давнем спектакле, в роли моряка Жевакина с его, как сказано у Гоголя, петушьей ногой, он преуморительно смешно произносил последний монолог: «Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем? почему? Или во мне какой-нибудь существенный есть изъян, что ли?.. Ушла! Престранный случай! Вот уж никак в семнадцатый раз случается со мною, и все почти одинаким образом: кажется, эдак сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки — смотришь, и откажут». Какие невыносимо грустные слова!

Холодным и ясным апрельским днем семьдесят шестого года (между тем днем и нынешним вечность пролегла) он выпросил в редакции «Молвы» десять экземпляров газеты, купил у Тихонова полдюжины штук глазированных сухих пирожных в виде звезд небесных и узорчатых древесных листьев (в природе таких не найти), ветром взлетел к себе на пятый этаж, на восемьдесят седьмую ступеньку, горячими руками — никакая стужа не охолодила — развернул свежепахнувший типографской краской лист. Колдовской, сладкий запах! Когда приглашен был в типографию держать корректуру и с порога впервые этот запах всей грудью в себя вобрал, сразу понял, что пропал, навеки очарован и не нужно ему иной участи.

Первым делом сунулся прочитать подпись: Раечке экземпляр с ее инициалами! Какая горькая ирония обстоятельств! Наборщик ошибся: вместо «Р. А.» поставлено «Р. Л.». Опечатка!

Тогда, шесть лет назад, сколько сил душевных понадобилось, чтобы опечатку пережить. Не «Гаршин», не «Р. А.» — вылез вдруг на свет божий некто «Р. Л.» неведомый! А шесть лет миновало, и «Р. А.» в Москве искать не пошел (воистину: любишь, так и семь верст не объезд, а разлюбил — все не по пути), и очерк, первое творение свое, явленное миру, в книжку, буде таковая окажется напечатана, включать не намерен — слишком не похож на Всеволода Гаршина давний «Р. Л.». Мудр и дальновиден ненароком оказался наборщик!

«Подлинная история Энского земского собрания» — первое его начало — история впрямь подлинная, была целиком привезена из Старобельска, есть такой городок на реке Айдаре в двухстах одиннадцати верстах к юго-востоку от Харькова, даже нищая сумасшедшая Мария Ивановна, как высшим судом грозящая обывателям приездом мифического господина Растопыркина, который должен навести порядок в городе, взята с натуры. Городок сей насчитывает около тринадцати тысяч жителей, из коих около полутораста господ

дворянского звания — в числе последних и дворяне Гаршины, между прочим, весьма старый род — согласно семейному преданию основатель его мурза Горша или Гарша вышел из Золотой Орды при Иване Третьем и крестился. Потомкам его дарованы были земли, кое-какие из Гаршиных поныне живут помещиками; после всяческих разделов и перепродаж отцу, Михаилу Егоровичу, досталось небольшое именьице в двенадцати верстах от Старобельска, после его смерти мать отдает землю в аренду крестьянам, а вырученные деньги частью берет себе на жизнь, частью распределяет между сыновьями. Деньги, конечно, махонькие, ничтожные, мать крутится как умеет — переводы, уроки, шитье на машинке. На землю между тем давно зарится кулак Иван Иванович Голуб, этот готов платить несравнимо больше, но передать ему аренду — значит обезземелить несколько десятков крестьянских семей, отнять хлеб у целой деревни, он, Гаршин, подчас вызывая неудовольствие родни, на то согласия не дает и не даст, считая таковую выгоду безнравственной.

В августе семьдесят пятого года он приехал в Старобельск помочь матери и брату Жене перебраться на жительство в Харьков и единственный раз в жизни — помещиком! — приглашен был присутствовать в земском собрании.

Герб города — серебряный конь в лазоревом поле... Но поля выжгла засуха, хлеба нет, сена нет, лошади идут на базаре хорошо если по пять рублей, а то и по три, жеребята и вовсе по тридцать копеек.

Загляните в любой справочник: единственная, кажется, достопримечательность Старобельска — торговля пшеницей; уезд хлебороднейший, а терпел голод, впрочем, голодали бедные крестьяне, тогда как владельцы обширных земель, помещики и кулаки, совсем даже напротив, ретиво преумножали свои доходы. Секрет был в том, что предыдущий год оказался невиданно урожайным, цены на хлеб стояли низкие, огромные запасы лежали непроданными и теперь были пущены в продажу по двойной цене; крестьяне же прошлогодний хлеб, понятно, съели или продали за бесценок и оказались в самом бедственном положении.

Земство подготовило доклад о необходимом пособии для обеспечения народного продовольствия по случаю неурожая хлебов и трав, сумма получилась немалая — четыреста двадцать шесть тысяч триста семьдесят один рубль тридцать две с половиной копейки. Помещики и купцы, прослушав в собрании доклад, утвердить его отказались по той веской причине, что неимущие крестьяне поголовно дармоеды, пьяницы и лентяи. Буфет в собрании действовал отменный: вина как в столице, рыба, икра — свежайшие. В перерывах между заседаниями составлялись пульки: кто говорит, что преферанс утомляет, не слушайте — превосходно освежает усталую голову. На свежую голову приняли важнейшие решения, о причисле-

нии шестипроцентной прибыли от продажи игральных карт к капиталу для содержания богадельни и об уничтожении дробей в счетоводстве земской управы (восьмую и четверть копейки постановили отбрасывать вовсе, а полкопейки и три четверти исчислять за копейку). У входа в собрание топтала пыльную улицу сумасшедшая Мария Ивановна, грозила: «Погоди, вот Растопыркин-господин приедет!..»

...Он запивал остывшим чаем звезды и листья «столетнего» пирожного, читал и перечитывал свой очерк — ему представлялось, что на этой газетной полосе будущее его началось. Он не понимал тогда, не чувствовал, что между «Р. Л.», правду сказать, заметно спешащим за Щедриным, за Успенскими, Глебом или Николаем, за иными тогдашними властителями дум, — между «Р. Л.» и завтрашним Всеволодом Гаршиным — роковая черта, Рубикон. Надо было родиться заново!.. А тогда на радостях он задумал серию очерков из уездной — читай, старобельской — жизни. Явиться на свет им оказалось не суждено...

Кое-что из детства

В августе семьдесят пятого года он помог Екатерине Степановне и Жене перебраться из Старобельска в Харьков и впервые больно почувствовал, что детство кончилось, ушло навсегда, что между ним и его детством не двести двадцать три версты (двенадцать от бедного отцовского имения до Старобельска и от Старобельска до Харькова еще двести одиннадцать) и не «пропасть пролегла», как принято выражаться, — просто детство осталось как бы в другом измерении, в другой, невозвратимой поре, которую никак не совместишь с его жизнью нынешней.

Все потому, что там, в детстве, красное было просто красным, а не отражающим красные лучи, и, любя кого-нибудь, знал, что любишь, и в этом не было сомнений. Только жгучей памятью осталась в нем красная от пламени свечи комната в маленьком отцовском доме, запах соломы, которой топили печи, красный ковер на стене — он, ребенок, разглядывал, засыпая, причудливые узоры и находил в них все новые фигуры: цветы, зверей, птиц, человеческие лица.

К тому времени, когда мать и Женя окончательно распрощались со Старобельском, отец уже пять лет как умер; последние его годы были явно омрачены болезнью; но, странное дело, когда он, Всеволод, думал об отце, в памяти являлся не худощавый, неожиданный в движениях человек с изможденным лицом, на котором лежала печать напряженной, страдающей мысли, а кто-то удивительно спокойный и ясный, с открытым взором светлых глаз. И как-то забылась пугающая привычка отца внезапно вбегать в комнату и так же внезапно

среди разговора вдруг бросаться вон. И речь его, комканая и прерывистая, в памяти разгладилась, сделалась простой и плавной. Отец, как он вспоминал его после кончины, пять и десять лет спустя, как бы утверждал всем своим обликом, что красное просто красное, а любовь просто любовь, — может быть, стал воплощать в себе то, что навсегда утратилось с детством. «Ах, я был великий человек, когда был маленьким мальчиком! По мере того, как растет тело, съеживается душа», — где-то у Гейне сказано нечто подобное.

Мать, Екатерина Степановна, как ни радуется литературным успехам сына Всеволода, рассказ «Ночь» — а там страничка об отце, о красной комнате детства — простить ему не желает, рассержена донельзя, проклясть готова; бедная мама, ее тоже можно понять.

...«Спи, милый!» — говорит ему отец, подойдя к кровати и торопливо крестя его. Он просит не тушить свечу и продолжает угадывать бесчисленные картины в переплетенных узорах ковра. Отцу постелено рядом на диване. На спинке дивана дремлет Ворка, ручной ворон, — работник Николай для смеху выкрасил ему клюв и лапы в красный цвет. Над диваном в бронзовой рамке миниатюрный портрет молодого офицера в темно-зеленом мундире с красным воротом; у офицера открытое румяное лицо, ясный взгляд. Прежде чем получил наследство и занялся хозяйством, отец служил в Глуховском кирасирском полку. Первое воспоминание детства — почти ощущение: огромные рыжие кони, огромные люди в сверкающих латах и высоких касках, огромные сильные руки подхватывают его, маленького, вскидывают высоко в воздух и сажают на высокого, как дом, коня, хохот вокруг прокатывается громом.

Потом (тут он уже все помнит ясно) пятый бурный год жизни — так он именует эти раз и навсегда вторгшиеся в память и не оставляющие ее впечатления... По снежной зимней дороге его везут куда-то в закрытом возке. Он сидит на коленях у няньки Ефросиньи, в теплой шубке, стесняющей его движения, рот замотан шерстяным башлыком, который колет ему щеки. Рядом — мать, отворотившись от него, прильнув лицом к оконцу, лишь время от времени она, не глядя, касается его лица ладонью. Он помнит ощущение тревоги, его переполнявшее, ожидание чего-то страшного. Лошади вдруг останавливаются в чистом поле, мать в одно мгновение выскакивает из экипажа, в отворенную дверцу просовываются большие белые руки без рукавиц, тянут его к себе. «Не отдам, — кричит нянька Ефросинья, — не отдам!» Но сильный большой человек вырывает его из нянькиных объятий, проваливаясь в наметенный за ночь снег, бежит к стоящей поперек дороги извозчичьей пролетке. У большого человека, который несет его, рыжеватая встрепанная борода, высокий белый лоб, в глазах отражается снежное поле, белое зимнее небо. Этого человека он, четырехлетний мальчик, отлично знает — Петр Васильевич Завадский, домашний учитель старших братьев, Георгия

и Виктора. Петр Васильевич прижимает его к себе, хотя он не вырывается, только вертит головой, потому что борода учителя лезет ему в глаза; мать уже ждет их в пролетке; «Гони!» — приказывает Петр Васильевич, падая возле нее на сиденье.

Отец в ту пору был в Петербурге — повез старших сыновей в Морской кадетский корпус. Около месяца мать жила с Всеволодом, тогда еще младшим (Женя как раз через год появился) у родственников в Одессе; потом вдруг снялись с места — опять отчаянная гоньба, похожая на бегство; они оказались в Харькове. Позже он узнал, что по жалобе отца у Завадского был произведен обыск: предполагали найти жену помещика Гаршина и законным порядком возвратить ее мужу, а обнаружили бумаги тайного революционного общества. Учителя арестовали; мать проклинала отца; он, ребенок, жалел Петра Васильевича и вспоминал, как тот терпеливо учил его читать по старым книжкам журнала с непонятным названием «Современник» (он в четыре свои года уже знал наизусть «Песню Еремушке»: «Жизни вольным впечатлениям душу вольную отдай, человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай» — студентом он услышит эти стихи на вечеринках и сходках). Однажды появился отец с следственным приставом и квартальным; пристав достал из портфеля какую-то бумагу, могучий квартальный шагнул к нему, маленькому, он закричал от страха и обнял мать, полицейский больно схватил его, оторвал от матери и протянул отцу, он забился в отцовских руках, но был быстро завернут в широкую жаркую доху — и снова понеслась кибитка...

Отца в кругу знакомых называли «Мишелем странным» — он, и правда, был странен, то резок и придирчив, то сентиментально нежен. Будучи офицером в николаевское время, он всем на удивление не бил солдат, разве что, очень уж осердясь, фуражкой. В пору подготовки освобождения крестьян почитался между окрестными помещиками весьма передовым деятелем, либеральные статьи печатал в журналах и губернских ведомостях («Мишелю Гаршину что терять, — сердились иные из соседей. — При семидесяти-то душах отчего бы не корчить из себя либерала!»), и вдруг на тебе — после освобождения стыдное, нелепейшее дело об оскорблении ротмистром Михаилом Гаршиным трех крестьян действием. Отец упрямился, отказался признавать вину, закусил удила, до сената дошло (среди соседей: «Однако же и ретроград этот Гаршин!»). На закате жизни (немногим за полвека заступил) самозабвенно изобретал подвесную, воздушную железную дорогу (в доме по всем комнатам протянуты были веревочки, по которым, появляясь неожиданно, как он сам, катились маленькие вагонетки), томила его также идея некой удивительной машины, о которой он никому не рассказывал, но желал лично доложить государю, для чего незадолго до смерти ездил в Петербург (принят, понятно, не был)...

В книге англичанина Маудсли мать вычитала, что сумасшествие — болезнь наследственная, твердила направо и налево, что Мишель мало что ее жизнь — жизнь сыновей навеки погубил, между тем и в ее роду, Акимовых, странностей было хоть отбавляй; чтение Маудсли впрямь угнетало душу.

Наследственность, нет ли, но с того бурного пятого года жизни он всякий раз, когда сходился под одной кровлей с матерью, с братьями, тотчас ощущал встревоженную, как бы пронизанную электричеством атмосферу их семейства — врозь было скучно, а вместе — не то чтобы тесно, но крайне напряженно, взрывоопасно.

Впрочем, общей кровли, жизни семейственной на его, Всеволода Гаршина, век выпали считанные недели, от силы месяцы, и оттого, быть может, эти три года с отцом в деревне всего сильнее отзываются в памяти, когда слышишь слово «детство».

Спустя три года мать приехала за ним, вооруженная новым постановлением властей, решавшим его участь, и увезла — теперь уже насовсем. Жизнь у матери была трудная — не до него: то в Олонецкой губернии, где отбывал ссылку Петр Васильевич, то в Петербурге, при сыновьях, при всех трех старших сразу, рассованных по учебным заведениям (а Женя, младший, на руках); расставшись с Завадским, она возвратилась к родным в Малороссию, жила в Харькове, после смерти отца снова оказалась в Старобельске.

Отнятый у отца, он, Всеволод, не приблизился к матери. Детство — всё углы да пансионы; между тем жизнь по чужим людям наносит ребенку огромный ущерб. И не в том дело, что сплошь да рядом ляжешь спать голодным, постеснявшись взять лишний ломоть хлеба с общего блюда или попросить лишнюю ложку супа из общей миски (семейства, где приходилось обитать, были, по большей части, весьма ограничены в средствах): всего страшнее — эта необходимость приноравливаться, топтать себя, врать. И никуда не денешься от этого: маленький лопоухий гимназист, в сшитой на вырост, но уже поношенной форме, погруженный в чужой и чуждый быт, зависимый от чужих людей с их чуждыми взглядами, суждениями, отношениями, лишенный права хлопнуть дверью, ссориться, спорить, просто стоять на своем, обязанный лишь повиноваться, — дни и недели проводишь между чужими мамашами, папашами, сестрицами, кузенами, тетеньками да бабиньками, поддакиваешь, громче всех смеешься над собой, а плачешь всегда тайком. Что до него, то у лопоухого гимназиста Всеволода Гаршина и тыла не было, своей земли позади, которая вселяет силу и надежду в солдата, бегущего в атаку со штыком наперевес: в письмах к матери он холодно, как о чужом, писал о «безумном папаше», в письмах к отцу вовсе умалчивал о матери. Не собственное ли детство, задавленное тягостной путаницей судеб, сделало для него щемяще дорогими образы маленьких героев Диккенса: Оливер и Дэвид — любимые его герои...

В Тосно, как ни странно, прибыли точно по расписанию, вокзальные часы показывают то же время, что и карманные (право, стоят шестнадцати рублей, за них заплаченных). Последняя остановка перед Петербургом — вокруг уже все дачные места. Еще неделя-другая, столица снимется с насиженных зимних квартир, бросится захватывать деревни и поселки, отстоящие на пятнадцать, и на двадцать, и на тридцать верст от города, железные дороги и пароходы позволяют даже скромному чиновнику или конторщику всякий день после трудов праведных сидеть до полуночи в садике под сиреневым кустом, вдыхать благоухание цветов, слушать соловья (а он так и заливается, все за те же двадцать или тридцать целковых) да пить себе чай со сливками или, лучше, пиво, прихваченное в вокзальном буфете. Тут в том прелесть, что хоть весь садик с пятак величиной и есть в нем всего-то один этот куст сирени, а чувствуешь себя по-особенному вольготно, хозяином, не то что в присутствии, где разного рода превосходительства на каждом шагу норовят объяснить тебе твою ничтожность, или в городской квартирке, на верхотуре доходного дома, нижние этажи которого занимают опять же превосходительства. Ну, а если поблизости оказалась речка и можно на вечерней зорьке постоять с удочкой, отдавая себя на растерзание кровожадным комарам, если появились приличные соседи, с которыми ничто не мешает всю недолгую летнюю ночь напролет провести за зеленым столом, то блаженство дачной жизни просто уже не поддается описанию. А ведь есть к тому же и всякие увеселения, гуляния на вокзале, оркестры на открытом воздухе, танцы — увеселительные заведения тянутся вслед за петербуржцами на природу, так же как мелочные лавки, как парикмахеры и фотографы, как бойкие разносчики-ярославцы, которые чего только не носят по дачам — хлеб, говядину, мороженое, посуду, мебель, даже книги, выдаваемые на срок для прочтения по гривеннику за том. Нищие — и те перебираются из опустевшего города в дачные места. В Питере просить совершенно не у кого, один бедный люд, которого летом лишь прибавляется, — из недальних городов и деревень привозят рабочих: за лето нужно построить новые дома и отремонтировать обветшалые, пополнить склады запасами дров, сена и хлеба на зиму...

...Лето неторопливо подбиралось к концу, когда мать впервые привезла его, восьмилетнего мальчика, в Петербург. Петр Васильевич Завадский — то ли отпросился, то ли тайком ускользнул из олонецкого угла, куда определен был на жительство, — встречал их на вокзале. Моложавый, ясные — с ледком — глаза внимательно смотрят из-под высокого белого лба; серая рубаха-косоворотка, тужурка или мундир непонятного ведомства — вечный студент! Обнял, поцеловал, от пальцев, от встрепанной бороды пахло табаком. Наняли извозчика, поехали на Васильевский остров, где в доме по Шестой

линии нанята была для них квартира. Тогда, мальчиком, он с первого взгляда, что называется — «с извозчика», влюбился в этот город, особенно Нева почему-то его поразила: проезжая по мосту, он тут же принялся сочинять стихи — рифмовал, не мудрствуя, «широка» и «глубока».

Назавтра с матерью и Петром Васильевичем отправились гулять на Невский. День стоял летний, душный. Улицы были пустынны. У подъездов на скамеечках дворники и швейцары играли в шашки. В Пассаже приказчики зевали от безделья: летние вещи давно куплены, а осенние траты еще не начинались. Пассаж поразил его роскошеством витрин, золотыми буквами вывесок, множеством зеркал, в которых он видел бесчисленно повторяющегося мальчика с тревожными темными глазами и удивленно приподнятой левой бровью, в серой домашней курточке, в тяжелых зимних сапогах, мать и Петра Васильевича, которые переглядывались и улыбались друг другу над его головой. Под стеклянной кровлей Пассажа развешаны были клетки с певчими птицами — их звонкий свист и щебет разносились по всему огромному зданию.

В сквере у Александринского театра он впервые лакомился знаменитыми голландскими вафлями госпожи Гебгардт: говорили, будто хозяйка заведения обосновалась в России вскоре после Наполеонова нашествия, петербуржцы привыкли к высокому накрахмаленному чепцу и сияющему белизной фартуку «матушки Гебгардт» (или попросту «Гебгардши»), между тем «матушка» (по слухам, ей едва ли не около ста) выгодно пускалась во всякие предпринимательства, открыла в столице зоологический сад и музей восковых фигур и — опять же по слухам — сколотила миллионное состояние.

В полдень снова вышли к Неве, бухнула пушка в крепости, темными брызгами метнулись в небо птицы; Петр Васильевич сжал его руку в своей, кивнул на сверкающий золоченый шпиль крепостного собора и не то им с матерью сказал, не то самому себе напомнил: минувшей зимой, не далее, он еще был там. «Петр Васильевич, — вспыхнула глазами мать (глаза у матери темные, чуть навыкате), — Петр Васильевич, ребенку об этом знать незачем». «Так ведь что поделаешь, — отвечал Петр Васильевич. — Оно, конечно, незачем, только теперь об этом сызмала узнают, вот беда». Мать повернулась и пошла прочь, они — за ней. Дома Петр Васильевич дал ему несколько номеров «Современника». «Что делать?» — прочитал он заголовок. — «Из рассказов о новых людях». «Кто эти новые люди?» — «А вот — узнаешь», — весело отвечал Завадский. «Петр Васильевич, но ему же рано!» — просяще сказала мать. «Да пусть уж лучше раньше узнает, чем позже, — Завадский похлопал ладонью по стопке журналов. — Автор там, в крепости, и, кажется, надолго. И роман в крепости написан...»

«Что делать?» он прочитал восьмилетним мальчиком за три вечера...

Он замечательно быстро сделался петербуржцем: полугода не прошло с того дня, когда он впервые увидел этот город, а ему уже казалось, что он никогда и нигде не жил больше — только здесь. С изумившей его самого скоростью он разобрался в расположении улиц, мостов, каналов, линий, и не центральных только, но также окраинных. Он восторгался Аничковым и Адмиралтейством, но его не знавшее табели о рангах детское сердце равно бывало покорено и каким-нибудь бедным, неухоженным домом в дешевом районе, на Песках: двор совершенно провинциального вида — с деревянным одноэтажным флигелем и прилепившейся к тесовому, покрашенному в коричневый цвет забору голубятней. Знакомые удивлялись и говорили, что он изучил Петербург лучше бывалого полицейского чина. Даже его мягкий, певучий говор южанина, с придыханием на «г», с оборотным «э» вместо «е», в невиданно короткий срок сменился подчеркнуто правильным и четким произношением коренного столичного жителя.

Тогда, ребенком еще, гимназистом, он увлекся Петром Великим, личность преобразователя Отечества его заворожила. Бродя по столичному городу Российской империи, он то там, то здесь представлял себе его мощную фигуру в зеленом Преображенском кафтане, с указующей и карающей дубинкой в руке. В семьдесят втором году (он уже в старшем классе был, переходил в выпускной) праздновали двухсотлетие рождения Петра; гимназию повели строем на торжественную церемонию; праздник вышел холодный, грубый, неискренний, в газетах его именовали «народным», но гимназистов определили на трибуны вместе с «чистой» публикой, а народ где-то позади теснился, за амфитеатром трибун, шумел, толкался, потому что не видать ничего, а городовые гонят прочь и колотят.

Тут подоспел Ге со своей тотчас ставшей знаменитой картиной; перед холстом стоя, публика бросилась повторять, трепать, терзать, точно бумажонку, по рукам пущенную, слова грозного царя о том, что «за мое отечество и люди живота своего не жалел, то како могу тебя непотребного пожалеть»; но, когда вглядывался он, Гаршин, в лицо, облик и позу царевича, как волей или неволей написал его художник, что-то толкало его задуматься, не спешить с приговором.

...Приближенные государя, назначенные для убийства, ворвались к царевичу в каземат, он, конечно, сразу все понял, забился в угол, отталкивал их ногами и руками — где там? — только разъярил, навалились, мешая один другому, хватали за лицо, за шею холодными, жесткими пальцами, кровавя ему губы, тыкали в рот платок, чтобы не кричал, наконец, схватили за ноги, опрокинули лицом в вонючую подушку, еще успел услышать, как хрустнуло что-то ниже затылка...

Царь Петр время от времени становится гостем его дум, пугая его. Некоторые сцены из жизни царя-преобразователя иной раз

видятся ему так ясно, что хоть сейчас на бумагу, — да где ему сладить с ними, ему, привыкшему на нескольких страничках отдавать собственные муки своим современникам и сверстникам, добрым и честным молодым людям, идущим под пули?..

Но что-то, должно быть, тревожит его, подчас он и сам не подозревает об этом. Когда в тягостные дни болезни он раздвоился в себе, когда в нем появился другой человек, чьи слова он слышал, не в силах заставить его замолчать, а поступки наблюдал, беспомощный помешать им, тот «другой он» часто заговаривал о Петре, воображал себя если не самим царем, то кем-то из ближних деятелей, и поступал соответственно... Его (не понять, какого) привели в холодный приемный покой — стены были окрашены в наводящий тоску грязно-серый цвет; пока доктор Ковалевский задавал матери необходимые вопросы, он отвернулся к зарешеченному окну, странно — май месяц, а две старые липы на больничном дворе еще и не думают распускать почки. В этом было что-то непереносимо грустное, и он собрался немедля сказать находившимся в комнате людям, что голые ветви дерев противоречат добрым и мудрым законам природы. Но в эту минуту «другой он» неожиданно выступил вперед и провозгласил: «Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого...» — у дальней двери тотчас появился могучий санитар, зачем-то в ярко-оранжевом клеенчатом фартуке... Впрочем, такие воспоминания надо немедленно гнать прочь...

Он будет впредь необычайно благоразумен: завтра же отправится пристраивать книжку рассказов, а потом, чтобы себя не растратить, окончательно не утерять в питерской толпе, уедет в Спасское-Лутовиново — там, вблизи Ивана Сергеевича, он попробует все заново начать. Вряд ли это будет задуманная некогда эпопея: вернуться к прошлому — путь не близок, и все-таки внутренний голос говорит ему, что, если судьбе угодно будет еще раз одарить его, он опять возьмется за «Людей и войну». Пусть не эпопея, пусть несколько страниц, рассказик гаршинский, но — про людей на войне и про войну в жизни людей: многое проясняется, освещается новым светом, когда идешь умирать, а убиваешь себе подобных.

Переправа

...В Зимнице после нескольких недель мучительного зноя вдруг ударила гроза, будто разорвалось напряженно звенящее в небе ядро. Накануне ночью стояли лагерем верстах в пятнадцати от городка, ветер гнал по небу черные тучи, бледный зеленоватый месяц появлялся в просветах между ними, ярко озаряя белое полотно палаток, и скрывался снова, слышно было, что-то ухало, громыхало, раскатывалось. «Нет, не гроза, очень уж правильно, — шептал ему Степан Федоров. — Не иначе, наши Дунай переходят». Спать в ту ночь не

пришлось: полк подняли по тревоге и бросили на позиции, недавно отбитые у неприятеля: прошел слух, будто турки собираются напасть на русский лагерь. Утром, когда выступали, гул утих, и небо над головой было привычно выгоревшим — ни облачка.

На окраине Зимницы, у обочины дороги, где в двух шагах ничего не было видно от пыли, взбитой только что прошедшим на рысях казачьим полком, началась было обычная толчея и драка возле колодца, и вот именно в эту минуту словно кто-то растянул над городом кусок темно-серой материи, длинная белая молния, разветвленная, как сосновый корень, тотчас разодрала ее надвое, хлынул ливень, мгновенно прибил пыль, бушевал с четверть часа, срывая листья с деревьев, растекаясь под ногами ручьями и озерцами, всех вымочил до костей и так же внезапно кончился, будто рычагом каким перекрыли воду, — и снова во все стороны чистое белесое небо, слегка светящееся перламутром после пролившегося дождя.

В Зимнице развели было на квартиры, но и обсохнуть не успели, как снова приказ строиться, выдали патроны, сухари и мяса на четыре дня — тут каждому стало ясно, что не нынче, так завтра не миновать переправляться через Дунай.

Дорога к Дунаю спускалась вниз широкой выжженной степью, далеко-далеко полоской краски, нанесенной чуть выше горизонта, синел противоположный берег реки.

Переправу начали уже в темноте. Саперные офицеры распределяли войска по нескольким понтонным мостам, переброшенным через мелкие рукава и топи. Стояла тишина, не было слышно обычного многоголосого говора, только плеск черной воды под ногами, лязг штыков на винтовках, стук орудийных колес, скрип обозных телег. На другом берегу прыгали желтые огоньки, но звук выстрелов, относимый ветром, не долетал до переправы. Солдаты передавали друг другу, что там, впереди, под Систовом, минувшим днем был жестокий бой за овладение плацдармом. «Двести человек убитыми положили и раненых пятьсот», — шепотом рассказывал Степан Федоров, всегда на удивление хорошо осведомленный о происходящих событиях. «Болтай больше!» — проворчал капральный Павел Игнатьевич, случаем оказавшийся поблизости.

На острове, отделявшем Дунай от одного из протоков, приказано было ждать утра. Поставив винтовку в козлы, он, вольноопределяющийся Гаршин, — как все — бросил наземь шинель, лег на примявшийся под его тяжестью мокрый песок и тотчас как провалился куда-то. Он открыл глаза незадолго до полудня. За Дунаем в зелени садов и виноградников белели дома, высились минареты Систова. Пароход, игриво названный «Аннета», с баржей на буксире побатальонно перевозил полки на отвоеванный на противоположном крутом берегу плацдарм. Маленький миноносец, охраняя переправу, сновал туда и обратно по самой середине реки. Два солдата на палубе

под командой юного гардемарина с Георгием на груди наводили пушку, отыскивая какую-то им одним видимую цель.

«Идите, посмотрите, Михалыч, убитых наших с той стороны привезли», — сказал ему Федоров и кивнул на стоявшую поблизости группу солдат и офицеров. На мягком желтом песке недалеко от воды лежал рослый красивый гвардеец, умерший от раны в животе, и рядом убитый солдат Волынского полка с черной дырой на переносице. И хотя он, Гаршин, уже успел повидать на войне неисчислимое множество трупов, страшных, чудовищно обезображенных разрывами гранат, сабельными ударами, дождями и зноем, эти двое, доставленные с того берега реки, куда через минуту повезут его, и лежащие на влажном песке, только что ему самому служившем постелью, особенно сильно его поразили. Может быть, именно потому, что смерть еще не исказила их черты. Глядя на них, он думал, что именно смерть уравняла этих двоих со всем остальным человечеством — солдатами, офицерами, генералами, со своими и с теми, кого убивали они, с живыми и с теми, кто, подобно им, нынче будет опущен в землю, и с теми, кто уже столетия зарыт в эту землю, стал частью ее, прахом. Не солдаты, не генералы, не свои, не чужие — люди, человеки, как обычно выражается фельдфебель Гаврила Васильевич.

Пароход с баржей на буксире между тем снова подошел к острову. Миноносец, сильно дымя, приблизился к нему и стал с ним бок о бок; лихой гардемарин с Георгием взобрался на борт и одним прыжком перемахнул для чего-то на мокрую палубу «Аннеты».

...За окном плывут навстречу пакгаузы, склады, мастерские, где в огненном свете движутся, совершая свою трудную работу, люди, похожие на ярошенковского «Кочегара», поезд замедляет ход, перебирается по мосту через Обводный канал и дальше идет уже совсем тихо. Мелькают за окном красные и зеленые огни приближающейся станции. Паровоз дает долгий гудок.

Петербург.

СИГНАЛ. ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ

Предостережение

Все хорошо. Все замечательно удачно складывается, и он, Всеволод Гаршин, мог бы объявить себя счастливым, если бы... если бы не это вечное «если бы»... То есть: пока закрываешь глаза и стараешься не думать — оно и в самом деле как будто ничего себе, но как взглянешь вокруг, со всех сторон с самодовольной ухмылкой лезет, словами Михаила Евграфовича говоря, «торжествующая свинья»...

Михаил Евграфович сидит у себя на Литейной, в старом суконном халате вишневого цвета, гудит круглая кафельная печь, пристроенная к камину после того, как врачи нашли, что каминная топка способствует образованию сквозняков; в кабинете нестерпимая духота; хозяин день-деньской ворчит на горничную, финку Мину: то кажется ему, что переложила дров, чего доброго печка лопнет, то пугается он, что температура в комнате упала, — не хватает только простудиться, и так из двадцати четырех часов восемнадцать употребляешь на кашель. Времена наступили злые, — мрачно повторяет Михаил Евграфович. Не так-то, оказывается, легко уберечь простой человеческий образ мыслей. Писать охота пропала, но писать необходимо, ибо времена преходят, а литература остается.

Пишет, надрывается от кашля, всякий день отыскивает у себя новые болезни, говорит удовлетворенно, что оно и хорошо: по крайней мере, помрешь собственной смертью, а не на основании такой-то статьи положения об усиленной охране, действующего после мартовских событий восемьдесят первого года. По городу бродят слухи: выслали-де Щедрина, доигрался, и в Одессе его уже видели, и в Тифлисе, в Самаре, рассказывают, адрес ему поднесли, а где-то в Пермской губернии фатеру приготовили — едет! Ну, коли не выслали — опять же слухи, — так обыск у Щедрина произвели, это уж беспременно: нагрянули неожиданно, да старик тоже не растерялся, сел за фортепьяно и запел «Боже, царя храни», жандармы стали «смирно», а домашние пока собрали обличительные бумаги и в круглой печке сожгли. Чушь несусветная, а между тем пальцем пошевелить не успеешь, и обыщут, и вышлют как миленького, потому что кто-кто, а Салтыков-Щедрин в соответствии с разного рода параграфами вполне может быть причислен властями к категории лиц, вредных для государственного порядка и общественного спокойствия, коих вышеуказанным положением и предписывается обыскивать и высылать.

Вон, Михайловский, соредактор его в «Отечественных записках», с Шелгуновым, публицистом, явились на студенческий вечер, молодежь, понятное дело, просит выступить, Михайловский и сказал не-

сколько слов; студенты еще недовольны были: мало говорил, безобидно, «жидковато» — а где они, ораторы-то? В один момент спровадили из Петербурга...

Газеты взять в руки невозможно. Катков в «Московских ведомостях» сотрясается в призывах избавить народ от «растлевающей интеллигенции», от «злоумышленных проповедей», от «возмутительных книг», от всего, чем петербургские «умники» мутят «нашу жизнь». До того договорился, что не надо нам ни законов, ни конституции, ибо мы присягаем самодержцу, и в ней, в присяге, все наши обязанности и права. Михаил Евграфович в сердцах комкает газеты, швыряет их на пол — хорошо бы ничего этого не читать, не слышать и даже букв этих не видеть!

Реформы — весьма хилые — минувшего царствования вслух объявляются скорее вредными, чем полезными. Граф Лорис-Меликов, после первого марта восемьдесят первого года опальный (все отдыхает да лечится), воротившись из Ниццы, привез Салтыкову-Щедрину в подарок любимых его конфект коробку — вот какие пошли нынче времена!

В Москве незнакомый какой-то художник скомпоновал картину (Михаилу Евграфовичу прислали фотографический снимок на память): Салтыков-Щедрин с январской книжкой «Отечественных записок» за 1883 год в руках пробирается через темный лес, вокруг фантастические чудовища, страшные гады, хвост свисающего с ветки удава образовал петлю над головой писателя, в кустах шпион сверкает глазами, между черными стволами маячит тень жандарма, в сухих ветвях дерев мрачно покоятся тяжелые вороньи гнезда, набитые листами «Московских ведомостей», на первом плане клыкастая «торжествующая свинья» с полицейской шашкой на боку. Картину, распространяемую в фотографических отпечатках, называют «Щедрин в лесу реакции».

Реакция...

Январский, первый номер «Отечественных записок» за 1883 год получил предостережение — второе по счету предостережение журналу. Официальный повод — статья публициста Николадзе о Луи Блане и Гамбетте, «содержащая восхваления одного из коммунаров». Но Михаила Евграфовича на мякине не проведешь: «Николадзе, на которого ссылаются, — только для прилику; главная же цель — я».

В номере первом — «Современная идиллия», главы с двадцать второй по двадцать четвертую, как раз те самые, где про «замечательное политическое дело» Злополучного Пискаря. В официальной бумаге — «восхваление коммунара», а в протоколе заседания цензурного комитета — «неистовое глумление над правительством в деле преследования политических преступников», допущенное Щедриным.

Михаил Евграфович и прежде тревожно ждал запрещения своего детища, теперь же судьба «Отечественных записок» была решена.

«Тоска овладела нами, та тупая, щемящая тоска, которая нападает на человека в предчувствии загадочной и ничем не мотивированной угрозы. Бывают времена, когда такого рода предчувствия захватывают целую массу людей и, словно злокачественный туман, стелются над местностью, превращая ее в Чурилову долину», — сказано в «Современной идиллии»...

В «Отечественных записках» № 1 за 1883 год напечатан рассказ Всеволода Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова».

Спокойствие — глупое слово

Петербургское лето 1882 года поначалу не баловало теплом, но скоро природа решила, похоже, взять свое, солнце с редкостной щедростью обрушило лучи на северную столицу, знакомые, кто только сумел, бросились вон из жаркого пыльного города. Гаршин и оглядеться не успел после долгого ефимовского заточения, а уже рад бы и сам бежать, да грехи не пускают: брат Женя все-таки сговорился об издании книжки рассказов, надо держать корректуру, типография между тем не торопится, а тут еще печатание очередного номера журналов, когда все восемь машин заняты только ими, да цензура, да книжные магазины, куда автор должен сам развозить для продажи увидевшие свет экземпляры. Хлопотно, конечно, — и все же какие сладкие хлопоты! Запах типографской краски пьянит не меньше вина, возбуждает необыкновенную храбрость в мечтах и бодрую надежду.

Пока выпал перерыв в чтении корректур, съездил на четыре дня под Чудово, к Глебу Ивановичу Успенскому в его Сябринцы. Глеб Иванович купил в деревне двухэтажный дом — восемь комнат, полон планами каких-то сложных перестроек, насадил вокруг деревья, завел фруктовый сад, занят проектом выращивания рыбы в искусственном водоеме, которую будет дозволено ловить всем желающим.

Там, в Сябринцах, снова, как в былые времена, замечтался Гаршин о маленьком деревенском доме и для них с Надей, ну, пусть не на восемь комнат, им, право, хватило бы и трех, он и она — все семейство, только чтобы лес и речка неподалеку, да под окнами несколько гряд с цветами, собственноручно выращенными, — бог с ним с садом-огородом, хозяин из Гаршина никудышный.

Их счастье с Надей, кажется, еще далеко — даже если не произойдет ничего непредвиденного, ждать не меньше четырех месяцев: суженая, не внемля его уговорам, отправилась на Волгу практиковать в какой-то больничке при рагозинском керосиновом заводе, оттуда намерена податься в Крым. Сказала твердо, что дала себе срок

испытать силу и действительность их взаимного чувства. Настрадалась бедная Надя за два года: он молчал, сперва пораженный болезнью, потом уговорами близких, что она более в нем не нуждается, потом полным неведением; ей те же доброжелатели объясняли, что писать к нему — только раны его бередить, она тоже молчала, не навязывала себя.

Всеволод объявился в Петербурге для нее нежданно-негаданно. Накануне в доме на Литейной, где она жила по-прежнему, случился пожар, квартира, хотя и не сгорела, но несколько пострадала от дыма и воды; она уехала ночевать к родным. Наутро Лизавета Агафоновна, квартирная хозяйка, встретила ее хитренькой улыбкой: «А вас, Надежда Михайловна, ждут! Кто — не скажу, сами увидите!» Сердце у нее сжалось, но она не признавала предчувствий, мало ли кто может ее ждать — из подруг-курсисток какая-нибудь за конспектом зашла (экзамены, а Золотилова славится прилежанием и, стало быть, подробностью конспектов), родни непитерской тоже довольно, всегда кто-нибудь может навестить, — все это в голове пронеслось за четыре шага, что от входной двери до комнаты, и вместе: это ведь я, чтоб сбылось, хоть в предчувствия не верю. Вошла — и будто не было этих двух лет...

Всеволод к ней всякий день являлся с утра, как на службу, — столько набралось недоговоренного! От прошлого он отмахивался: прочь, прочь, точно кусок бумажной ленты, хотел вырезать из своей, из их жизни проклятые, как он говорил, два года и снова склеить края. Умолял взять его с собою на Волгу, в Крым, вовсе ни туда и ни сюда не ехать, а отправиться вдвоем куда-нибудь совершенно в другую сторону, ей же казалось, что это он по доброте своей хочет сделать ее счастливой. К тому же характер у нее неудобный: если что решила — так тому и быть.

За стеной заливался соловей, упорно дрессируемый Кириллом Ивановичем, квартирным хозяином. Всеволод птиц в клетке не любил — пусть уж лучше поет добрая Лизавета Агафоновна: старушка и впрямь постоянно выводила какие-то рулады, то ли соловью подпевала, то ли он ей, впрочем, дама она добрая, едва не каждые полчаса стучится в дверь и предлагает чаю. Кирилл же Иванович только того и жаждет, чтобы выманить Всеволода из комнаты, — тут старик сразу хватает его за пуговицу и заводит беседу о войне. Воевать Кириллу Ивановичу никогда не приходилось, всю жизнь водил пером в канцелярии, но из газет он знает обо всех боях, походах, перемещениях частей, парадах и смотрах, в разговоре так и сыплет номерами и названиями полков, не глядя на карту, указывает место расположения каждого, помнит численность и виды вооружения.

Надик, просил Всеволод, давай хоть на острова махнем, сил нет сидеть в четырех стенах, как в тюрьме или больнице, и в окно видеть

вечную каменную стену. Должны же быть у нас, как у всех нормальных любящих, какие-нибудь там «ночь, сад, фонтан». Но май в Петербурге стоял холоднющий, ночью же просто стужа, вдобавок экзамены, подготовка к отъезду — так никуда и не махнули.

Кирилл Иванович радостно выуживал Всеволода из ее комнаты, вел в столовую чай пить, на ходу выкликал имена генералов, калибр гаубиц, системы винтовок, Лизавета Агафоновна, тоненько распевая, наливала в вазочку чудесного вкуса и цвета вишневое варенье (ягода с косточками), соловей, от суеты должно быть, умолкал, сидел в клетке серый, незаметный...

Любовные письма Гаршин писать не умеет: «люблю», «прости», «скучаю», «жду» — такие обыкновенные, бессчетно произносившиеся человечеством слова, а ему хочется, чтобы каждое слово, поверенное бумаге, несло в себе всю особость именно его чувства, чтобы в каждой букве, как привык он, когда буква стекает с пера, таилась капля его крови, но глупая бумага — постоянно она сопротивляется, и так и этак изворачиваешься, а все выходит: «люблю», «скучаю», — впрочем, лучших слов человечество не придумало — дело в чувстве, с каким слова эти пишутся и читаются, оттого-то сегодня они истерты до пошлости, а завтра высоки и прекрасны.

В пустом, пыльном Петербурге он нежданно встретил старого приятеля, еще по Горному институту, приятель живет одиноко и тоже, кажется, скучает. Имя у приятеля странное — Фан-дер-Фляяс, должно быть, из каких-нибудь голландцев петровского века, занесенных кипучим временем в возводимую на невских берегах новую российскую столицу да так и зацепившихся в молодом, на глазах возросшем городе. Деды-прадеды приятеля, поди, строили корабли, плавали по морям-океанам, потомок же, вроде бедного пушкинского героя, живет в Коломне, где-то служит, ну, пусть не в Коломне — на Казанской улице и не «где-то» — в пробирной палате Министерства финансов, должность так и называется — «пробирер». Всеволод едва не всякий вечер у него — не сам приятель манит, хоть и неплохой, добрый человек: манит, что музыкант отменный. Фан-дер-Фляяс поднимает черное сверкающее крыло рояля, несколько минут сидит, прикрыв глаза, тщательно, словно счищая пыль минувшего дня, потирает длинные белые пальцы (всегда холодные при пожатии), берет несколько незначащих аккордов, снова потирает пальцы и тут уже, не объявляя — чт*о* (Фан-дер-Фляяс, по счастию, неразговорчив), начинает играть. Вещи (по той же неразговорчивости, должно быть) он предпочитает большие — клавиры опер и симфоний, играет хорошо — по-мужски, без ломания. Слушаешь музыку — и в самом деле не хочется говорить: все, что желал бы сказать, высказалось в ней глубоко и точно, словами этого не передать. Белые ночи... В окне напротив, через улицу, замерла, подперши ладонями голову,

незнакомая барышня в светлом платье, тоже слушает музыку: с ними вместе — и одна на целом свете, потому что каждый слушает музыку в одиночку. Фан-дер-Фляяс играет «Онегина». Гаршину кажется: будь Надя вместе с ним здесь, в этой комнате, наполовину занятой роялем, тотчас поняла бы, почувствовала все, что он старается ей сказать, что наперед загадывает.

Он наперед загадывает...

Проводит день-другой у Миши Малышева... За два года, пока были в разлуке, Мишуной успел жениться, по полу в комнатах ползает некий джентльмен, по имени Ванька, год с небольшим, ходить не решается, ибо толстый и к тому же писклявый. Мишуной написал недавно гладкую, совершенно ничего не значащую картинку — объяснение юного кавалера с кокетливой дамой — хоть сейчас печатай на чайных чашках и конфектных бумажках. Добрый друг, должно быть, щадит его, Всеволода, больные нервы — никаких «если бы», никаких «жгучих вопросов», в воздухе квартиры разлит тягучий покой — «ужасно пахнет семейным счастьем», как выражался покойный отец.

Он тащит Мишуноя прокатиться на парусах: в яхт-клубе на Крестовском завелся свой человек из родственников Надежды Михайловны, можно «вздуть» (лихое словцо клубного завсегдатая) две отличные яхты — «Забаву» и «Ко-и-нур», пойти к Кронштадту, оттуда к Петергофу и назад.

— Мишуной, Мишище, Михайлище, пожалуйста, не отговаривайся, бери альбом и являйся!.. Не превращайся в тюленя, Мишуной!..

«Мы с тобой никогда такими не будем», — пишет Наде, нанюхавшись семейного счастья. Да ведь это на словах просто: «такими не будем», а прижмешь к себе эдакого толстого, писклявого Ваньку, пытающегося, однако, издавать уже и членораздельные звуки, и забыть захочешь эти больные вопросы, мучительные «если бы...». Спокойствие — глупое слово, а пожелаешь ли дитяте своему вечного душевного непокоя, которым сам отмечен!..

Обо всех этих материях остро хочется говорить с Надей, говорить, а не писать, любовные письма получаются у него просто-таки глупы — слово в беседе обретает иной смысл, иную окраску от тона, которым произнесено, от улыбки, движения бровей, нечаянного жеста. Надя мучает его недоверием, ей кажется — он много напридумал в своем чувстве, того хуже — приносит себя в жертву, объясниться он сумеет, лишь когда увидит ее. Он считает дни, недели, месяцы... Характер у Нади твердый, определенный, за эти два года походка у нее сделалась решительной. Если Надя сказала — через четыре месяца, значит, раньше не жди. Цифры пишутся в две колонки: пройденные дни — и оставшиеся.



Кто знает, сколько их осталось? Недавно возвращался со знакомыми на пароходе из Петергофа, генерал Скобелев оказался тут же, сидел лицом к лицу на противоположной скамеечке, наверно, ехал от государя — с новым царствованием Петергоф вошел в моду, Александр Третий наведывается туда прямо из Гатчины. Прославленный генерал вид имел здоровый и свежий, старался не замечать бурного интереса к нему остальных пассажиров и явственно прислушивался к гаршинскому разговору — чувствовалось, что рад бы вступить, да не считает приличным. И что же? Полутора недель не прошло — герой, кому, казалось, судьба если погибнуть в молодые годы, то под пулями, скоропостижно и таинственно умирает в гостиничном номере.

В конце июня произошла Кукуевская катастрофа — попробуй остаться спокойным, когда полтораста человек погребены под обломками вагонов и обвалившейся железнодорожной насыпью, возле прежде неведомой деревни Кукуевки, известной теперь всей России. Попробуй остаться спокойным, когда за каждым мало-мальски честным отчетом о событии — беспощадный эгоизм предпринимателей. Что им, всемогущественным величествам, железнодорожным королям, полтораста жертв, заживо закопанных в гигантскую общую могилу на перегоне между станциями Чернь и Бастыево (места тургеневские: верст семьдесят севернее Орла, а от Мценска и вовсе пятнадцать—двадцать), — денежки, отпущенные на ремонт размытой дождями насыпи, положены в карман, истрачены на особняки, зимние сады, пиры, рысаков, кокоток; дожди что ни год знай себе идут, укрепляй путь или нет — все равно: если не размыли дожди, то могли бы размыть, никто ничего не докажет. Всегда они останутся правы, на то и короли, тем более железнодорожные, которые на свои миллионы, захотят, и впрямь в силах купить какое-нибудь подходящее королевство... В третьем-то классе, наверно, народу битком набито, женщины, дети малые...

Брат Женя усиленно зовет в Спасское-Лутовиново: он там уже с начала лета обосновался. Молодец Женя! Узнал про катастрофу на железной дороге, стрелой помчался в Кукуевку (от Спасского рукой подать!), прибыл чуть ли не первый, за полмесяца передал в «Голос» восемь корреспонденций с места происшествия. За все берется, всюду поспевает — прямо американец! Из Гаршина Евгения, похоже, и впрямь толк выйдет: вот гостит у Ивана Сергеевича вместо него, да еще, судя по письмам, сочиняет что-то беллетристическое... Ай да Женя!

Минувшим летом он, Евгений Михайлович Гаршин (между домашними, конечно, «Женя», но для прочих, благодаря степенной деловитости, смолоду «Евгений Михайлович»), уже приезжал в Спасское-

Лутовиново, познакомился с хозяином и по приглашению Тургенева прожил с ним несколько дней.

Привели его сюда дела Всеволода, в котором маститый писатель принимает сердечное участие. Положа руку на сердце, вряд ли Всеволода пригласили бы в Спасское, если бы не он, Евгений Михайлович. Оно, конечно, верно, Тургенев приметил Всеволода с первых же шагов его в литературе, но кто-то должен был похлопотать, чтобы Иван Сергеевич узнал и о болезни брата, и о бедственном его положении, кто-то должен был принудить Всеволода писать к Тургеневу и поддерживать во Всеволоде уверенность, что Тургенев его ценит и любит.

Кому-то, наконец, предстоит исполнить задачу самую трудную — убедить знаменитого Всеволода Гаршина, что писать он не разучился и обязан писать, притом не откладывая в долгий ящик, не дожидаясь вдохновений, озарений, внутренних потребностей, на которые мастера ссылаться многие, даже талантливейшие господа литераторы: кто-то должен положить на стол здесь, в спасском доме, пачку бумаги, сунуть Всеволоду перо в руки, тихо, на цыпочках выйти вон из комнаты, бесшумно притворить за собой дверь и сделать вид, что его и не было ни в комнате, ни в Спасском, ни вообще на свете, этого «кого-то», кто за стол усаживал и перо в руку вкладывал, что и стол, и перо, и бумага — само собой, потому что час настал, вдохновение это самое явилось, озарение, потребность...

Оно, конечно, проще всего с улыбкой именовать брата «американцем»; «американец»-то, может, и сам бы не прочь горевать о неправедном устройстве жизни, тосковать от бессилия что-нибудь в ней исправить, предаваться мечтам и годами дожидаться вдохновения-озарения. Однако заделаешься расторопным и предприимчивым, когда с детских лет ты матери единственная опора, когда на руках у тебя два старших брата, а за ними обоими страшной неотступной тенью судьба третьего (между ними среднего) — приставил однажды к груди револьвер и прямо в сердце, дырочка маленькая, даже рубашку не закровавил. Евгению Михайловичу в ту пору только-только двенадцать исполнилось.

А два года назад, той тревожной весной восьмидесятого, легко ли досталось ему метаться по губерниям Тульской и Орловской в поисках неведомо куда исчезнувшего Всеволода, объясняться с полицмейстерами, сельскими старостами, содержателями гостиниц, которым Всеволод забывал уплатить за ночлег, случайными людьми, встречавшими его на черных от быстрой оттепели дорогах?..

В славе Всеволода есть и его, Евгения Михайловича, доля: не он ли, воскрешая для литературы своего прославленного брата, подал ему мысль о переводах, не он ли переводы пристраивал, не он ли все, что возможно, предпринял для появления первой книжки расска-

зов, которая, пожалуйста, в книжных магазинах очень даже хорошо идет.

Тургенев из своего Буживаля (ясное дело — нынешним летом болезнь де пустит его в Россию) величает Всеволода Гаршина надеждой нынешней литературы русской, шлет приглашения в любимое Спасское — знал бы Иван Сергеевич, сколько труда душевного надобно, чтобы вытащить эту «надежду» из Петербурга: жарко, пусто, одиноко, а завел какого-то приятеля с фортепьяно, сидит ночи напролет, закрыв глаза ладонью, мечтает бог весть о чем.

На месте Всеволода он давно бы написал роман, и не один, жизнь со всех сторон подбрасывает сюжеты, можно взять также из книг, что-нибудь историческое. Всеволод же, какую тему ни подскажи, безнадежно машет рукой — не для него, не по силам; да он, Евгений Михайлович, сам напишет роман, напишет, хотя вовсе не самовлюблен и не переоценивает свои способности: всякий грамотный, начитанный, предприимчивый умом человек — он убежден — в силах написать роман, обыкновенный добротный роман, какие десятками печатаются с продолжениями в толстых журналах... В конце концов, он еще курса в университете не окончил...

Рядовой Иванов

Если встать утром, до рассвета, и направиться к пруду, к скамейке возле двух сросшихся у основания сосен, которые тут называют «двумя братьями», — на этой скамейке любил встречать зарю Иван Сергеевич, если дождаться здесь торжественной минуты, когда светлое небо, словно дремавший под пеплом костер, вздунутый ветром, заалеет все ярче, затеплится золотом, когда поднимется туман и между свисающими ветвями берез заяснится зеркальная гладь пруда, когда птичий гомон сольется в звучание прекрасного орг*а*на, как бы составленного из этих устремленных ввысь стволов, если, одним словом, пройтись с утра по спасскому парку, непременно захочется писать и непременно даже что-нибудь напишешь...

Роман не получается. Похоже было, что заголовок «Люди и война. Глава первая», который предпослал он журнальному отрывку про денщика Никиту, так же как и «Продолжение следует» в конце текста, — не более как пустые слова: ни второй главы не будет, ни продолжения, ни эпопеи, наподобие «Войны и мира», — всего-навсего один небольшой рассказ. А ведь все казалось уже в руках тогда, удивительной весной восьмидесятого, страшной и манящей. Как напряженно, как плодотворно работала мысль, как свободно являлись слова: теперь невозможно понять, в самом ли деле исписал он горы бумаги в московских, тульских, орловских гостиницах, в придорожных трактирах и на постоялых дворах, или только чудилось ему, что пишет, когда бормотал он на ходу главы вторую, третью, двадцать

вторую и тридцать третью нескончаемой своей эпопеи. Он вспоминает бесчисленные картины, заполнявшие его воображение: судьбы многих и разных людей, один на другого не похожих, представлялись ему явственно, судьбы эти начинались в разное время и в разных точках пространства, текли в разные стороны или пересекались, сливались в широкие тракты, продолжались единой большой судьбой и снова разбегались врозь, как дороги в степи. Все осталось в памяти, все живо, но не желает ложиться на бумагу. Тогда померещилось, что отныне дано ему изображать не одно собственное «я», что обретает он умение как бы сторонним взглядом увидеть лежащий на все стороны большой внешний мир, — нет, должно быть, участь его — эти исполненные тревоги и отчаяния «стихотворения в прозе», как назвал кто-то испускаемые им вопли.

Здесь, в Спасском, все располагает к душевному покою, рождает мысли светлые, учит терпеливой мудрости — и вековые деревья, и опрокинутое над старым парком небо; Иван Сергеевич любил смотреть на него сквозь облитую солнцем трепещущую листву дерев, голубое небо представлялось ему лучезарным морем, подернутым мелким плеском внезапно набежавшей зыби, круглые белые облака — тихо наплывающими подводными островами. Все вокруг напоминает о преходящем и вечном — он же, тревожась и страдая, снова ушел мыслью, памятью, всем существом своим в дни и события минувшей войны — как раз пять лет исполнилось походу, боям, Аяслару.

Можно, конечно, утешать себя тем, что и новая штука, которая создается в Спасском, нечто вроде главы из ненаписанной эпопеи: в самом деле, люди и война, солдатские типы, походы, сражения. Но все прожитое — зной и дожди на дорогах, чужие города и селения, царский смотр, бой у деревни Ессерджи, чужие судьбы и общая солдатская жизнь, опутанная невероятными тяготами и свободная, ибо каждый в этой общей жизни оказался освобожден от собственной воли и ответственности, — все прожитое, весь мир войны опять увиделся Гаршину как мир одного человека, того доброго и честного молодого человека, который уже являлся в прежних его военных рассказах, — рядового Иван*о*ва, «барина Ив*а*нова» и «Михалыча», как звали остальные солдаты его, вчерашнего студента и нынешнего вольноопределяющегося.

Он уже убивал в прежних рассказах и был убит, гаршинский молодой человек Иванов, никто не знает, что теперь ждет его в походе: он, возможно, и выстрелить не успеет ни разу, окажется в резерве, рассказ кончится тяжелым боем, пятьдесят два человека останутся лежать на поле сражения, но это будет и победа: ротный командир, известный жестоким обращением с солдатами, потрясенный, рыдает после боя в углу палатки — «Пятьдесят два! Пятьдесят два!» Может быть, зрелище смерти, уравнивающей людей и

утверждающей за каждым единственное значащее звание — человека, принесет ему прозрение?

На войне у рядового Иванова еще и своя война. Никогда не было в нем такого душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда испытывал невзгоды солдатской страды и шел под пули убивать людей, — и при том ни минуты покоя, ни капли кротости, тревога и ненависть, оттого что рядом постоянно этот исправный, как смазанная, почищенная, отлаженная машина, офицер, умный, образованный, храбрый... Тоже был, наверно, некогда добрый молодой человек, но в силу неправедных идей и несправедливого мироустройства не пожелал подчинить себя общей жизни, противопоставил себя ей, решил стать выше, подчинить ее и унизить и, возвышая себя над остальными людьми, потерял облик человеческий.

Вот кулаком, затянутым в перчатку, ножнами сабли утверждает он право сильного, свою исключительность.

Иванов хватает его занесенную над головой солдата руку.

— Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда!.. Вы должны помнить, что вы рядовой и что вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять!

— Все равно. Я не мог видеть и не вступиться...

Не мог не...

Связь времен

Если бы Спасское-Лутовиново принадлежало не Ивану Сергеевичу, а любому ничем не знаменитому помещику, каких большинство на Руси, это, конечно, не убавило бы проникновенной красоты здешних мест. Но вот ведь великая магия: оттого, что, куда ни поверни, каждый шаг здесь напоминает о Тургеневе, оттого, что на два и три десятка верст вокруг все было им видано-перевидано, прочувствовано, вобрано в себя и обращено в мир рассказов, романов, повестей, мир, ставший знакомым и дорогим для тысяч людей на земле, от этого красота здешняя обрела особую сущность, глубже волнует, глубже, значительнее думы и чувства, ею пробуждаемые.

Всякий уголок парка, куда уединишься, размышляя о своем, вдруг подскажет тебе шорохом листвы старого ясеня, качнувшейся лапой ели: а ведь здесь Иван Сергеевич проводил одинокие часы, слушал пение соловьев, свист дроздов, кукование кукушек — и какие только прекрасные видения не являлись ему здесь. Пишется хорошо, только живя в русской деревне, говаривал Иван Сергеевич: там и воздух-то как будто полон мыслей — сами напрашиваются. Когда знаешь, что здесь до тебя Тургеневу хорошо писалось, не так-то просто обмакнуть перо в чернильницу, но зато если уж являются слова, то слова серьезные, нужные, и становятся весомо и точно.

В кабинете присядешь в тростниковое плетеное кресло к Ивана Сергеевича письменному столу, заглядишься молча на расписанные цветами и фруктами деревянные ширмы в углу, отгораживающие хозяйскую кровать, вдруг прояснится в голове страничка-другая, над которой безуспешно бился минувшей ночью, не заметишь, как полчаса и час пролетят в тишине: быстрым шагом, стараясь не встретить никого, не отвлечься впечатлением, разговором, поспешишь наверх, в свою комнату, и снова заполночь царапаешь бумагу, искренно недоумевая при каждом ударе церковного колокола, которым сторож на деревне отмеряет по ночам время...

Новый рассказ «Из воспоминаний рядового Иванова» пишется повсякому. Иные страницы ложатся на бумагу до изумления быстро, над иными бьешься до седьмого пота, перемарываешь заново раз, другой и третий готовые, представлялось накануне, абзацы и радуешься, чувствуя, как с каждым разом всякое слово становится точнее, зримее, выразительнее. Пушкин и Гоголь по десять раз свои вещи переделывали, нам же, маленьким людям, сам бог велит, — любил повторять здешний, спасский хозяин. Они мастера переписывать написанное, великие наши старики, Иван Сергеевич, или Лев Николаевич, или загадочно неторопливый Гончаров, они постигли мудрое искусство совершенствования своих творений, они тонко чувствуют, что нужен еще шаг и еще, и никогда не откажутся сделать этот нужный шаг, но так же точно ощущают они высшую точку, вершину, когда пора остановиться, сказать мгновенью, что оно прекрасно, когда следующий шаг уже не будет шагом наверх. Нынешнее поколение, по большей части, торопливее, суетнее, может быть, сам век виноват — поезда, телеграф, быстроходные суда ускорили движение времени и что-то изменили в людях, поубавили в них устойчивости: очень мы боимся отложить на завтра то, что можно сделать сегодня.

Стоит в гостиной просторный мягкий диван, прозванный Тургеневым «самосон»; диван и впрямь, чуть устроишься на нем, навевает сладкую дремоту; но хозяин Спасского в ленивые, на посторонний взгляд, часы, отдавшись мягким объятиям любимого «самосона», сколько обдумывал здесь характеров и положений, как неспешно, сдерживая себя, шел к тому единственному, что в романе или повести, над которыми в ту пору трудился, только и было нужно.

Вечерами сидишь в уголке дивана со старым журналом в руках, на переплете оттиснуты буквы «ВБ» — «Виссарион Белинский»; после смерти критика Иван Сергеевич приобрел его библиотеку — и опять та же магия! От самой мысли, что этот журнал Виссарион Белинский перелистывал и читал, не только тексты статей — каждая строка в них, слово каждое обретает особый смысл, читается, даже смотрится иначе.

Здесь, в Спасском-Лутовинове, постоянно, всякий миг, чувству-

ешь связь времен, на себе чувствуешь, каждой своей клеточкой, здесь ты не случайность — звено, пусть малое звенышко, единой цепи, прошлое перестает быть набором заученных в гимназии дат, имен, фактов, оно обретает весомость, тут понимаешь, так сказать, материальность духовного, ощущение движения времени укореняет в тебе чувство, что не быстрой, ничтожной искрой на ветру сверкнул ты и погас, а живешь для будущего и должен по мере сил своих заботиться о нем.

В сорокалетней давности книжке «Отечественных записок» Гаршин находит старинные стихи Полонского — «Пришли и стали тени ночи на страже у моих дверей!» Яков Петрович вспоминает, как сгоряча послал однажды стихотворение Белинскому, а вдогонку, опомнившись, письмо: чтобы ни в коем случае не печатать. Виссариону же Григорьевичу «тени ночи» понравились, он и слушать автора не стал — поставил в номер. Позже Некрасов рассказывал, что после смерти Гоголя видел стихотворение переписанным в его бумагах.

Яков Петрович — живая связь времен. Вот он появляется в гостиной, опираясь на костыль, годы еще не высеребрили его красивую бороду, лишь кое-где проложили по ней сверкающие лесной паутиной нити, а ведь всего годом или двумя младше Ивана Сергеевича — тот белый как лунь. На поэте старое теплое пальто, в котором он души не чает и которое нередко заменяет ему халат, в руке, свободной от костыля, ящичек с палитрой, кистями и красками — Яков Петрович увлекается живописью, пишет пейзажи Спасского, чтобы послать их Тургеневу в Буживаль или Париж.

Лето восемьдесят второго года, как и минувшее, Полонский с семьею, по приглашению давнего друга, Ивана Сергеевича, проводит в Спасском. Жозефина Антоновна, супруга поэта (двадцатью пятью годами моложе его), — скульптор, едва ли не первая в России женщина-скульптор и занялась лепкой по убеждению Тургенева. При Полонских дети, дочь и два мальчика, при детях домашняя учительница. Брат Женя, Евгений Михайлович, тоже вроде бы числится репетитором у сыновей поэта, но в Спасском он наездами — то к матери поспешит, то к брату Георгию Михайловичу, то в Петербург по делам, то в Москву.

По вечерам собираются в гостиной. Яков Петрович дописывает что-то на своих пейзажах или вдруг разохотится, читает стихи, читает громко, ясно, отчеканивая слоги, и каждое слово являет себя не только в звуке, но и в меняющемся выражении его красивого, с правильными чертами лица. Глаза его сияют, он читает стихи вдохновенно, и в самом его вдохновении слышится голос века, когда верили, что слова поэта суть его дела, и верили в действенную силу слова. Едва не с каждым новым стихотворением Яков Петрович, постукивая костылем, Делает шаг-другой по комнате, чтобы остановиться возле одного кого-то, положить избранному

горячую ладонь на плечо или взять его за руку и слегка встряхивать ее в такт чтению, — каждое стихотворение Полонский предназначает как бы для одного избранного, и тут поневоле задумаешься, почему то или другое стихотворение именно тебе; но иногда он приближается к окну (в старом кресле у окна он любит проводить долгие часы) и, отвернувшись от всех, глядя в темноту сада, читает любимые стихи Тургенева: «К нам идет зима иная...» или еще что-нибудь.

Жозефина Антоновна между тем, набросив поверх обычного черного платья серый с пелериной фартук, лепит с натуры голову младшего сына (очень похоже). Смолкнут стихи, или Яков Петрович не расположен к чтению, домашняя учительница, милая и толковая девица, садится за рояль, играет что-нибудь серьезное или аккомпанирует общему пению. И тут, чтобы растормошить старого поэта, непременно заводят про «мой костер», который в тумане светит — «искры гаснут на лету...», — Якова Петровича старинные стихи, положенные на музыку, давно потерявшие автора и всюду распеваемые, — высшая награда поэту.

Как не пошутить, что нынешним летом составилась в Спасском-Лутовинове целая академия: поэзия, живопись, скульптура и музыка. Гаршин играет словами: Полонская академия.

Иногда в солнечный день, бродя по аллеям парка, он набредает на Якова Петровича, устроившегося под громадным зонтом у мольберта; старик удерживает его; ловко подхватывая кистью краску с палитры, он мазок за мазком переносит ее на холст, под кистью его поднимаются белые стволы берез, неяркая, мягкого, теплого тона зелень их листвы. (Пропорции, впрочем, кажутся Гаршину несколько неумело переданными, а небо над деревьями излишне блеклым и, пожалуй, холодным.) Яков Петрович, продолжая пристально взглядывать то на деревья, стоящие у него перед глазами, то на другие, являющиеся на холсте, заводит удивительный разговор, в котором так просто (будто «ВБ», вытисненное на переплете) произносятся имена людей, помнивших год 1812-й и переживших 1825-й... «Новорожденные титаны, где ваши тени? — я один, поклонник ваш, скрывая раны, брожу, как тень, среди руин...» Тоже — Полонская академия...

Яков Петрович печалился в Спасском. Он любил Тургенева давно и сильно, с той, теперь почти невообразимо далекой поры, когда встретились они впервые в московском доме неизгнанного изгнанника, опального генерала Михаила Федоровича Орлова, декабриста, не прощенного, но, благодаря заступничеству могущественного брата, и не осужденного; Иван Сергеевич расхвалил какое-то стихотворение молодого тогда (как и он сам!) Полонского, назвал «поэтическим перлом».

Иван Сергеевич редко с кем сходился «на ты» — они были «на ты»: «Иван» — «Яков».

Прошлым летом, в восемьдесят первом году, Яков Петрович написал портрет Тургенева: Иван, глубоко задумавшись, сидит в кресле у окна. Лето перевалило за середину, дни сделались заметно короче, и на Тургенева стали вдруг нападать припадки меланхолии, он жаловался, что нет воли жить, пора умирать, называл даже дату своей кончины — второе октября того же, восемьдесят первого года (Полонский догадался, что приятеля тревожит совпадение цифр с годом его рождения: 1881—1818). Яков Петрович просил приятеля оставить блажь, Тургенев невесело щурился и грозил ему пальцем: у Полонского был свой секрет — в молодости, будучи в Париже, он имел неосторожность наведаться к гадальщику, и тот за пять франков сообщил ему, что он будет дважды женат, заведет от второй жены троих детей и умрет семидесяти двух лет. И правда, там же, в Париже, Яков Петрович женился, весьма скоро навеки расстался с супругой, вступил во второй брак и вот — отец троих детей, осталось сбыться последнему предсказанию, и хотя до назначенного срока девять лет впереди, а уже томит, да чем старше, лета бегут быстрее.

Он знал, что нынешний год скучно и пусто будет ему в спасском доме, оттого и ехать не спешил: Жозефина Антоновна с детьми давно уже была на месте, а он отправился в Старую Руссу — лечить грязями больное колено, и еще бы там задержался, когда б не скверная привычка ни с того ни с сего вбить себе в голову, что с близкими случилось какое-то несчастье, — чтобы успокоиться, он должен был немедленно убедиться в противном.

Пока он сидел в Старой Руссе, ему верилось, что Тургенев все-таки соберется на лето в Россию, он со дня на день ждал о том известия, таковое не последовало, теперь, чем дальше, тем сильнее, утверждалось в Якове Петровиче пугающее предчувствие, что болезнь Ивана, сведения о которой были то неутешительными, то вновь обнадеживающими, не кончится добром.

И те несколько недель, которые Полонский на этот раз прожил в Спасском-Лутовинове, были заполнены для него множеством подробнейших воспоминаний о минувшем лете. О деревенских праздниках, которые Тургенев устроил по случаю собственного приезда и позже по случаю приезда Марии Гавриловны Савиной: пели и плясали бабы и девки в пестрых праздничных нарядах, а мужики по очереди черпали стеклянной кружечкой водку из ведра и пили, запрокидывая голову. О Толстом Льве Николаевиче, прикатившем в Спасское повидаться с хозяином: подвода со станции прибыла в первом часу ночи, Полонский вышел из комнаты на голоса, впотьмах принял графа за чужого бородатого мужика, тот первый узнал его — «Это вы, Полонский?». О долгих прогулках вдвоем: гуляя по саду, Иван всего больше рассказывал о годах детства, о том, что и сам

неясно помнил, что осталось в нем обрывками слов и звуков, пятнами цвета: балы и гулянья, которых был свидетелем еще в малолетстве, спектакли на французском языке, игравшиеся тут же в парке под деревьями, разноцветные огоньки плошек и фонариков, развешанных среди зелени, доморощенную музыку крепостных оркестров. Якову Петровичу страшно было думать, что Тургенев никогда больше не увидит Спасского и что сам он никогда Тургенева не увидит, этот неотступный страх он и носил в себе с первого дня приезда сюда, часами сидел у любимого Иванова окна, в его кресле, и думал, что сколько ни осталось впереди, девять лет или дважды девять, а жизнь прошла.

Он и Гаршина сначала полюбил не самого по себе, а как бы отдавая дань тургеневской к нему любви, о которой Иван в последнее время не раз ему говорил. Он, правда, привык к увлечениям старого друга, всегда с открытым сердцем искавшего и оттого, должно быть, щедро находившего в нашей литературе новые таланты; он также привык, что многие из тех, кого открывал Иван Сергеевич, как бы это сказать, быстро «закрывались»; но чем больше приглядывался к Гаршину, тем яснее сознавал, что здесь Тургенев, пожалуй, ничуть не преувеличил. И хотя то, что написал Гаршин, нравилось Якову Петровичу и он готов был приложить руку ко всем тургеневским аттестациям, где Гаршин обозначался как самый даровитый из молодых писателей и как надежда отечественной литературы, при личном знакомстве поразило Полонского в Гаршине не столько литературное дарование (писателей, и талантливых, повидал он на своем веку — не перечесть), сколько поразительное, почти пугающее совпадение того, что писал Гаршин, с тем, что он сам был.

Гаршин подарил ему только что увидевшую свет маленькую книжку своих рассказов, и он перечитывал их заново, хотя прежде читал в журналах, и если раньше он отдавал должное ловкости, с какой сочинитель показывает переживания своего героя, то теперь он постоянно видел перед собой этого немыслимо искреннего молодого человека, душа которого, в поисках спокойствия, тянется непременно испытать со всеми грубые удары царюющего в мире зла — и не находит покоя: потому что нет в этом человеке терпимости ко злу, способности свыкнуться с его существованием. Гаршин, казалось, понятия не имел о том, что люди снисходительно называют житейской мудростью, ему, наверно, невозможно объяснить (и что замечательно — объяснять невозможно), что иногда ради некоего блага приходится жертвовать в какой-то мере своими убеждениями, искренностью, совершать эволюции, выбирать между дурным и худшим, и оттого, что нельзя было объяснить, житейская мудрость оборачивалась себялюбием, трусостью, холодом, становилось досадно и стыдно, что сам ты сплошь и рядом поступаешь по ее подсказке.

Беседуя с Гаршиным о Тургеневе, здесь, в прекрасном и неповторимом Спасском, старый поэт мучительно вспоминал одно письмецо, полученное им в дни последнего приезда Ивана на родину: всесильный обер-прокурор синода Константин Петрович Победоносцев просил Якова Петровича тайно посодействовать властям в скорейшем выдворении маститого писателя из пределов Российской империи. Содействовать Яков Петрович не стал, но к нему, поэту, старому другу Ивана, сочли мыслимым обратиться — вот о чем невыносимо было думать!

И, глядя на Гаршина, старик завидовал его решимости скорей погибнуть, нежели поступиться душой, и жалел молодого своего приятеля, ибо предвидел, как тяжело ему еще придется на белом свете...

Имя виллы «Les Frênes» — «Ясени». Нужно пройти примерно с версту от небольшой площади на берегу Сены вдоль крутого склона плоскогорья, покрытого зеленью дерев и кустарников, и как раз там, где склон всего круче, увидишь ворота и прямо за ними тенистую аллею к белому внушительному зданию, парадную лестницу, уставленную вазами с цветами, четыре колонны, поддерживающие кровлю над входом в вестибюль. Но Тургенев огибает парадный подъезд, узкой тропинкой под сводами сосен, пихт и платанов бредет к опоясанному балконами двухэтажному дому под острой крышей, который и не приметишь сразу за стволами и кронами.

Прогулки его все короче, он все реже выбирается «в город», как называют здесь прижавшуюся к Сене площадь и окрестные улочки прелестного городка Буживаля, — городок давно облюбовали молодые парижане, писатели и художники, они с утра до вечера гоняют на лодках по реке, в сверкающей бесчисленными осколками зеркала воде отражается плавная зеленая полоса берегов, с наступлением темноты молодые люди пьют вино, веселятся, танцуют с подругами на террасах кафе, освещенных гирляндами красных, желтых, зеленых фонариков.

Здесь, среди солнца, зелени, воды, радостной игры света и цвета, французская живопись, говорят, снова обрела природу; имена Ренуара и Моне произносятся вокруг уверенно и часто. Тургенев думает, что ему поздно, пожалуй, искать новых кумиров; если говорить о живописи, он хранит приверженность к другому городку, Барбизону, его любимцами по-прежнему остаются Коро и Теодор Руссо с его гениальными эскизами, сберегающими в мнимой их неоконченности поэтическую свежесть и силу первого впечатления (Яков Полонский понять этого никак не может: приученный к сухости, прилизанности, мертвой четкости линий, он не стремится выразить впечатление, произведенное природой, а ищет точной передачи отдельных предметов).

Боли в спине и груди вынуждают Тургенева долгие часы не поки-

дать своей комнаты; не зря несколько лет мучил его гадкий привкус во рту, который не забьешь никакой гвоздичкой и который был, очевидно, не от вставных зубов, но предвестником чего-то грозного. Врачи спорят между собой, не в силах назвать диагноз, или боятся произнести приговор; придумали для него отвратительную машинку, которая нажимает ему с одной стороны на грудь, а с другой — на лопатку, — можно, по крайней мере, спуститься по лестнице в гостиную.

Когда болезнь отпускает ему несколько часов покоя, он работает за столом, записывает что приходит в голову на листках бумаги разного формата и цвета или просто стоит у открытой балконной двери, смотрит сквозь просвет в зелени на долину внизу, где, обжигая глаза, вдруг сверкнет кусочек реки.

Тихо шелестят резные листья ясеней. Он вспоминает спасские ясени, которых нынешний год уже не увидит и бог весть увидит ли вообще. Когда-то, глядя снизу на шевелящуюся под легким летним ветром листву этих великанов, он впервые подумал о том, что деревья как бы *опускаются* в небо, и тут же движение трепещущих листьев, то изумрудно-зеленых, то золотистых, то почти черных, подсказало ему образ внезапно набежавшей зыби. И после солнечное небо над спасским парком, над громадными округлыми купами дерев всегда казалось ему морем.

Письма из России радуют Тургенева, помогают гнать прочь мрачные мысли о себе и своем будущем: жалкий старик, доживает век вдали от отечества, уже неспособный создать ничего значительного и никому не нужный; если и заживется чудом, удел старика — забвение. Письма убеждают его, что на родине ждут его выздоровления, его самого, Тургенева, ждут. Даже мрачный Салтыков пишет, что был поистине подавлен известием о его болезни, требует скорейшей поправки и приезда в Питер. Лев Николаевич трогательно признается в письме, что только теперь вполне почувствовал, как любит Тургенева: «Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно».

Он отвечал Толстому, что протянет еще долго, хотя его песенка спета: вот Толстому, как никому, надо долго жить, чтобы окончить дело, к которому он призван.

В последних числах лета пришло письмо от Гаршина из Спасского-Лутовинова, Гаршин тоску его с необыкновенной точностью почувствовал: тоже зовет поскорей возвратиться в Россию — пусть Тургенев романы не пишет, зато вокруг него соберется молодая русская литература. Добрый Гаршин угадал ли заветную Тургенева мысль или мысль эту Тургеневу подсказал, теперь уж и не понять, — теперь кажется Ивану Сергеевичу, что ничего другого так он не желает, как стать центром для идущих следом, и он еще больше до-

садует на болезнь, мешающую ему исполнить это радостное предназначение.

Он и стоять долго не может, четверть часа — не более, — бросает последний взгляд на реку, на деревья, обступившие дом, на ясени, которым далеко до спасских, и плетется к постели. Улегшись поудобнее, что ст*о*ит ему немалых усилий, он привычно опускает руку под кровать и слегка шарит ею в воздухе: все мерещится ему чудо — вдруг наткнется на холодный, мокрый нос терпеливо ждущей, пока позовут на охоту, собаки, окунет пальцы в жаркую густую шерсть на загривке. Он думает, что надо написать крестьянам села Спасского-Лутовинова и по примеру прошлых лет подарить им очередную десятину леса, — всякий год он надеется при этом, что теперь, может быть, не вырубят зимой скамейки в парке, хотя заведомо знает: опять вырубят...

Нежданно наступили холода, однажды утром закружились за окнами белые пушистые хлопья (в первой-то декаде сентября — сущее безобразие!), вода в кадках замерзла на дюйм, и хотя через день-другой снова выглянуло солнышко, а уже как бы подан сигнал — повсюду загустели краски осени, тут, там сунулся в глаза ярко-желтый или пурпурно-красный лист, особенно приметный, оттого что — первый, налитые плоды тяжелее, чем прежде, потянули книзу ветви яблонь, перелетные птицы шумно сбивались в стаи, другие, с севера, темным облаком тянулись над селом, над парком, над пожелтевшими сжатыми полями — пора...

Оно бы пора складывать пожитки, да больно уж хочется возвратиться с законченным рассказом, чтобы с поезда прямым ходом в редакцию, к Михаилу Евграфовичу, — работу же как назло заколодило, последняя главка (хорошо, если выйдет пять страничек) нипочем не дается, сидишь, упершись взглядом в стену, в голову лезет всякая ерунда, а картина боя, над которой третий день бьешься, будто развеивается, никак не составишь воедино разрозненные лица и подробности.

Рассказ определенно выходит плоховат, скорей всего — попросту не выходит, на днях читал несколько главок Жозефине Антоновне (Яков Петрович в Спасском не зажился и, уцепившись за какую-то причину, раньше прочих отбыл в Петербург), Жозефина Антоновна поначалу, слушая, набрасывала на каркас глину, потом вытерла тряпкой руки, сбросила серый с пелериной рабочий фартук, присела на стул и до конца чтения оставалась неподвижной. Рассказ похвалила, Гаршин, однако, побаивается мнения близких, которые часто слишком снисходительны к нему.

В последние дни красивое, матово-смуглое, как у испанки, лицо Жозефины Антоновны выглядит желтоватым, нездоровым, она заметно не в духе, хотя, как всегда, улыбчива, сдержанна в речах,

безукоризненно одета в черное, говорит негромко, медленно, будто подбирая слова, и мысль свою выражает очень точно.

Гаршин посетовал, что эпопее, похоже, не бывать, вот замахнулся было, да не получилось; Жозефина Антоновна рассказала в ответ, как минувшим летом вылепила из хлеба человечка и посадила его к Ивану Сергеевичу на край рюмки — тот пришел в восторг, а она впервые в жизни осознала себя мастером.

Гаршин чувствует, что ее настроение как-то связано с Иваном Сергеевичем: может быть, Полонская в собственных глазах несколько преувеличила свою близость к нему, собиралась ведь бросить семью, детей, ехать во Францию — ухаживать за Тургеневым или переселить его в Россию, но, кажется, получила из Буживаля хоть вежливую, однако решительную отповедь.

В Спасском Жозефина Антоновна сразу повела себя хозяйкой, по примеру минувшего лета, когда Иван Сергеевич просил ее заказывать кушанья, составлять реестры покупкам, следить за всеми домашними тратами и сам же ласково звал «хозяюшкой». Но без Ивана Сергеевича хозяйничать, должно быть, скучно, да и, за что ни возьмется, получается невпопад. Чтобы не терпеть лишних убытков, отказалась сдать фруктовый сад съемщикам, как водится в здешних краях, а без арендатора поди прикинь будущий урожай, и собери, и вывези, и продай. Захар, вечный спасский камердинер Ивана Сергеевича, высокий, худощавый старик, заложив руку за спину, неодобрительно смотрел одним глазом (другой покрыт бельмом), как падают и гниют в траве яблоки, однако (старинная выучка) помалкивал; лишь когда Жозефина Антоновна окончательно разуверилась в своих намерениях, просил разрешения продавать падалицу деревенским бабам, хорошие же сорта, сколько еще возможно, вывезти на продажу в город, чтобы хотя немного выручить. А тут еще сами барские крестьяне, проведав, что наемных съемщиков нет и за садом, почитай, никто не смотрит, всякую ночь безбожно таскают яблоки.

По утрам Жозефина Антоновна собирает лекарства, какие есть в доме, и отправляется по избам. С наступлением осени в селе начались болезни, люди мрут во множестве, особенно детишки, мрут от пустяков, даже мало-мальское пособие отсутствует; Жозефина Антоновна написала Тургеневу в Буживаль, просила определить двести рублей в год на врача и маленькую аптеку.

Между крестьянами ходил упорный слух, что Тургеневу в Спасском больше не бывать — новый царь на него гневается, винит в смерти прежнего государя и потому надел Ивану Сергеевичу колодку на шею.

...Все вдруг быстро двинулось к концу: там, где вчера проблескивал золотом случайный листок, полдерева заполыхало костром, птицы засуетились пуще прежнего, утки спешили мимо, с тонким посвистом рассекая крыльями воздух, и над головой раздавалось резкое

фью-фыо-фью-фью, Захар всякий день приказывал прислуге что-то мыть, чистить, раскладывать по шкапам, помаленьку переводя дом на зимнее положение, Жозефина Антоновна вовсе отказалась от хозяйственных забот, отложила лепку и взялась шить себе на зиму великолепный халат на шелковой голубой подкладке, рассказ двинулся с места и каждый вечер писался по страничке — немного, конечно, но всего-то оставалось странички три, не больше...

Образ человеческий

Да здравствует Кирилл Иванович!

Да здравствует Лизавета Агафоновна!

Да здравствует вишневое варенье с косточками, соловей в клетке, серый полосатый кот, обыкновеннейший «котярис вульгарис», заведенный квартирными хозяевами по случаю появления мышей, трущийся об ноги, мурлыкающий в лад с Лизаветой Агафоновной и зеленым глазом вожделенно посматривающий на соловья!

Да здравствует кирпичная стена за окном — он жаждет четырех стен вокруг, тихого острова для двоих, спокойного суденышка среди моря житейского; говорят, влюбленные глупеют до чрезвычайности, что поделаешь, он влюблен, как кот (тоже из словечек покойного отца)!

Насущнейшая потребность — явиться в дом номер пятьдесят два по Литейной и, расположившись на уголке стола, по которому разложены Надины конспекты и учебники, переписывать свою пачкотню.

Он готов даже отказаться от возведения каких-либо построек из находящихся на столе предметов: у Надежды Михайловны очень определенные представления о порядке в комнате.

«О если б навеки так было...» — не выдержишь и, пугая выводящую рулады хозяйку, и кота мурлыкающего, и дрессированного соловья, забасишь строку рубинштейновского романса; но счастливые часы выпадают нечасто: после закрытия врачебных курсов у Нади масса хлопот — надо как-то завершить образование, да и он теперь не свободная птица — служим-с.

Местечко, прямо скажем, незавидное — помощник управляющего бумажным складом фабрики Липгардт и К°, контора в помещении № 109 Гостиного двора (до изумления сырая, холодная комната): стол, чернильница, счеты, бухгалтерские книги; это одно название, что «помощник» и «управляющего», на деле же — никому не помогаешь и ничем не управляешь, день-деньской щелкаешь на счетах, пишешь в книгах цифры колонками, ставишь плюсы и минусы и выводишь «итого». Ему бы черные брюки в полоску, котелок и зонтик — так бы и запросился на страницы любимого Диккенса, совершеннейший «gentleman of City», чудаковатый клерк, который целую неделю строчит за конторским столом, а по воскресеньям что-то со-

чиняет, втайне надеясь, что однажды привалит ему неожиданное счастье.

Контора отнимает массу дорогого времени, но, пожалуй, необходима: он всегда хотел иметь обязанности, никогда не имел права рассчитывать, что заработает пером. На бумажном складе Всеволоду Гаршину платят пятьдесят рублей в месяц; чтобы получить в журнале эдакие деньги, он должен писать немногим менее печатного листа в месяц — дело немыслимое! Брат Женя обещает похлопотать на пивном заводе — говорят, открылась вакансия в канцелярии, работа нетрудная, а жалованье такое же.

Печатный лист в месяц ему нипочем не написать, хотя вот же в Спасском-Лутовинове и начал и кончил «Воспоминания рядового Иванова» — около трех листов, но кто знает, когда теперь возьмется за что-нибудь еще. Мама и брат Женя твердят ему: не то беда, что пишет медленно, а беда, что от рассказа до рассказа полгода проляжет и год. Правы, конечно: имей он способность писать по странице в день, за год получилась бы порядочная книга (этак, к радости близких, скоро и впрямь составилось бы собрание сочинений), но нет у него такой способности.

Он пристроился на уголке стола и возится со своим «Ивановым», никак не решаясь отнести его к Михаилу Евграфовичу, а ведь складывается уже в голове новая повесть, и прелюбопытная, — может быть, лучший сюжет, какой только ему доставался.

От студентов и курсисток наслышался он о сельской учительнице Раисе Радонежской; в Спасском-Лутовинове добыл номера «Орловского вестника» с ее записками, прочитал единым махом. Что-то до полной близости, до боли дорогое, свое было в этих обжигающе искренних записках — ударяли в сердце, и не давали покоя, и мучили вопросом, на который не знали ответа. Бесправие, несправедливость, невежество, страдания народные — и все сошлось, и все в одном обыкновенном, недальнем селе (от Спасского — считанные версты!), сосредоточилось и себя обнажило не на пятачке — на грошике. И какая сила сострадания! Радонежская, говорят, отказалась от литературной карьеры, снова «канула во мрак» — учительствует где-то в Черниговской губернии.

Образ Раисы Радонежской, сегодняшней подвижницы, сливался в воображении с воспоминаниями о докторше, давней знакомой, уехавшей после войны, на которой добровольно побывала, тоже добровольно в новгородскую или вологодскую деревню и там погибшей в непосильной борьбе с дифтеритом, дизентерией, голодом и темнотой, и о Сонечке Никитиной, пошедшей в тюрьму, оттого что арестантскому вагону не могла не поклониться, и еще об одной Сонечке, Рождественской, воевавшей с исправником-доносчиком и господами из министерства народного просвещения, запретившими ей просвещать народ за то, что учила жить лучше, а не «как положено», с десятками де-

вушек-курсисток, знакомых и незнакомых, — одна такая, навеки запечатленная на холсте, стоит сейчас в мастерской у Николая Александровича Ярошенко: девушка в пледе и круглой шапочке, с книжками под мышкой шагает среди серых каменных стен по сырой, промозглой петербургской улице.

Так и Надя и подруги ее ранним сумрачным утром спешили по Мытному переулку в анатомический театр; лабазники, стоя у дверей, подзадоривали друг друга: «Ребята, вон живодерки идут! Эй, стриженые, много покойников распотрошили?» Лабазники достойны прощения, если образованнейший профессор гражданского права честит учащихся женщин безнравственными нигилистками и злобными «дочерьми Каина», если правительство, с лабазниками стакнувшись, упраздняет курсы, именует женское медицинское образование «клоакой анархической заразы», женское образование вообще — «скоплением молодых девиц, ищущих не столько знания, сколько превратно понимаемой ими свободы».

Написать подвижницу, рванувшуюся жизнь отдать за общее благо, претерпевая надругательства, преследования, беспощадно подготовленные удары судьбы, — и не то важно, «преуспела» или нет, важно, что — поступила, святую написать, себя спалившую...

Михаил Евграфович начнет ворчать, как ворчал, читая сказку о пальме, что Гаршин «безнадежность проповедует», а может, и не станет ворчать — иные времена, печатает же у себя в «Отечественных записках» (с пометкой: «Из В. Гюго»):

Бывают времена постыдного разврата,
Победы дерзкой зла над правдой и добром;
Все честное молчит, как будто бы объято
Тупым, тяжелым сном...

Современное общество так настроилось, говорит Михаил Евграфович, что совсем не задерживает впечатлений.

Тем сильнее должны быть впечатления.

Конец повести сама жизнь подскажет...

Ах, Надя, как хорошо в твоей комнате, в этом чужом жилье! Кажется, нашему счастью придется обойтись без ночи, сада, фонтана — один соловей, и тот в клетке. Все, в конце концов, складывается не так худо.

Посмотри, как бодро и (так само выговаривается) радостно шагает на холсте у Ярошенко девушка с книжками. И Глеб Иванович Успенский, на картину глядя, радуется: всем тяготам и бедам вопреки, народился новый, «небывалый и светлый образ человеческий». И поэт «Отечественных записок», тупому, тяжелому сну ужаснувшись, пытается будоражить сердца, вселять надежду: «Такие времена позорные не вечны...»

А вдруг да и подскажет жизнь новой повести счастливый конец...

«...И играет на скрипке»

Перед сном Гаршин берет картуз жуковского табаку, коробку с гильзами и с помощью специальной машинки изготовляет папиросы — назавтра. Машинка нехитрая — разъемная металлическая трубочка, куда закладывается табак: тут очень важно точно взять, ни больше, чтобы не порвать тонкую бумагу, ни меньше, иначе папироса мигом высыпается, на трубочку натягивается гильза, после чего табак в нее выдавливается палочкой. Очень простая на первый взгляд машинка, а вот, поди ж ты, попробуй без должного опыта набить два-три десятка папирос — не менее половины, без сомнения, окажутся никуда не годны, опытные же пальцы сами точно отмеряют нужную щепоть, сами осторожно, не разорвав по шву, надевают гильзу, быстрым и точным движением проталкивают табак.

Что-то похожее подчас происходит с ним, когда берется за перо и работа спорится: вдруг сами являются и ложатся на бумагу картины, писать которые вроде не предполагал, не только сюжет — самая мысль рассказа поворачивает на какой-то иной, прежде не исчисленный путь, не знаешь, право, радоваться обретенной свободе или быть недовольным собой, оттого что первоначальный замысел оказался очевидно несовершенен и написанное выходит не таким, как задумывалось.

В «Воспоминаниях Иванова» вылилась сильная сцена царского смотра в Плоешти: рука сама неслась писать, чувство подсказывало слова, подчас нежданные, он и торжествовал, ощущая это ладное, стремительное течение мысли и слова, и робел умом — имеет ли он право выдавать в свет такие сцены, осудят, осмеют, еще хуже — похвалят те, от кого не желаешь похвалы. Салтыков-Щедрин насупится, откажется печатать в «Отечественных записках», скажет что-нибудь этакое, что со стыда глаза не поднимешь. Но теперь, когда написалось, рассказ уже немыслим без царского смотра, как немыслим без ожидания царского поезда, промчавшегося мимо с наглухо завешенными окнами — только из вагонов царской кухни выглядывали, смеясь, повара и поваренки, как немыслим без глупого бригадного генерала, погнавшего солдат в глубокую лужу, когда рядом был обход, как немыслим без кровавого смертного боя, венчающего «Воспоминания». (Михаил Евграфович прочитал рассказ и передал в набор без поправок.)

Каждый вечер он набивает двадцать штук папирос и укладывает в серебряный портсигар с гравированным на крышке изображением всадника в папахе и синим круглым камешком, при нажиме на который открывается замочек. Портсигар — подарок Надежды Михайловны, символический подарок: табак, по мнению многих врачей, несомненное зло, но Гаршин курит лишь в дни и недели сравнительного душевного спокойствия, приступы тоски и отчаяния начинаются

с отвращения к табаку. Прежде чем лечь спать, он изготовляет двадцать первую, последнюю в этот день папиросу, подносит к ней зажженную спичку и с удовольствием несколько раз затягивается, сбрасывая пепел в пепельницу из белого с желтыми прожилками уральского камня, на которой вырезана ящерица, точь-в-точь как в его сказке, даже с отбитым хвостом...

Квартира на Песках, на 9-й улице, угол Дегтярной, в третьем этаже, вход из подворотни, налево — крутая лестница.

Тесный двор, со всех сторон зажатый грязно-желтыми задними стенами соседних домов; Гаршин убежден, что видел этот дом еще маленьким мальчиком, будучи впервые привезен в Петербург, говорит, что узнал его по возвышающейся неподалеку голубятне.

При нынешней дороговизне плата за квартиру вполне сносная — двадцать четыре рубля с водою и дворником, но без дров, на дрова надо накинуть пять рублей за сажень березовых (сосновые дешевле — три-четыре рубля за сажень).

Из темной прихожей вход в гостиную, она же столовая, она же зала (если устраивается вечеринка), она же библиотека — у стены простые книжные полки, большинство книг в самодельных переплетах — любимое занятие Всеволода Михайловича, для чего приобретен особый набор инструментов, называемый «Американский переплетчик». Следом кабинет хозяина, маленький, с одним окном, возле которого прилепился под стать комнате письменный столик (Гаршин объясняет знакомым, что ничего почти и не пишет, на чт*о* ему солидный стол; читать же предпочитает лежа, почему покорнейше просит пройти в спальню). Дверь в спальню отсюда, из кабинета, расположение не очень удобное, но при отдельной комнате плата за такую же квартиру уже тридцать пять рублей — разница!

В спальне хозяйничает Надежда Михайловна, тут же и ее шкаф небольшой, справа отделение для платья, слева на полках книги (ее книги, медицинские, преимущественно по психиатрии, которой она намерена заниматься всерьез, — эти и Всеволод Михайлович часто берет, читает внимательно и долго). С мебелью повезло — очень удачно куплена при дешевой распродаже в магазине «Л. Галиен» на углу Стремянной и Поварского переулка.

Когда приходят гости, за столом в гостиной м*е*ста всем обычно не хватает: пока одна партия ужинает, другая разбредается по квартире, приятели быстро облюбовали спальню, усаживаются друг против друга на хозяйских кроватях — здесь всегда самый живой разговор.

Гаршин спокоен, насколько пристало ему спокойствие («глупое слово»!). Всякий месяц одиннадцатого числа он отмечает их с Надеждой Михайловной день свадьбы (обвенчались 11 января 1883 года), говорит, что «одиннадцать» для него счастливое число: 11 авгус-

та — Аяслар, 11 января — Надежда Михайловна, милый Надик: никогда не раскаюсь в том, что связал с ней судьбу, — горячо говорит друзьям. Одиннадцатое всякого месяца — их день: он является из канцелярии торжественный, в руках цветы и с Невского торт «Евгения», давний знакомый, роскошное сооружение из крема, апельсинов и миндаля...

«Служу. Женат, — весело докладывает он знакомым. И цитирует из „Ревизора": — Вообще очень потолстел и играет на скрипке».

Вовсе не потолстел, даже осунулся; с годами на его смуглом лице все чаще заметны бледные полоски морщин, как у путника, переходящего опаленную солнцем степь. И про скрипку, конечно, для красного словца; однажды, правда, завел было виолончель, даже выказывал некоторые успехи, но такие горестные звуки вытягивал смычок из инструмента, что скоро бросил, жалея близких, — довольно с них его унылой физиономии и не менее унылых историй, которыми он иногда балует человечество.

Играет на скрипке поэт Надсон, милый, прелестный юноша, недавно выпущенный офицером в 148-й Каспийский пехотный полк, — расквартирован полк вовсе не на Каспии, а на Балтике, в Кронштадте. Надсон решительно становится одним из лучших нынешних поэтов, молодежь в нем души не чает, старики тоже похваливают, Салтыков, хотя ворчит, печатает в «Отечественных записках». Жить бы милому юноше да радоваться, но, кажется, — не жить: процесс в легких, и не из тех Надсон, кто радоваться умеет, — тоже склонен принимать сладкое за горькое, да и горечи, правду сказать, выпадает на долю всякого порядочного человека куда больше, нежели, фигурально выражаясь, «конфект судьбы».

Если Надсон долго не показывается в столице (служба препятствует или «недостаток в долларах», как он шутит), Гаршин едет к нему в Кронштадт — юноша вскладчину с сослуживцем снимает две небольшие комнаты у местного жителя, моряка, на углу Владимирской улицы и Козельского переулка. В комнатах вечно толчется народ, тоже больше молодые офицеры, любители стихов и музыки, на столе среди бутылок блюдо с тертой редькой, обильно политой маслом, — компания шутливо именует себя «обществом редьки». Надсон возбужден, но не весел, охотно читает стихи, все без изъятия грустные — «И если с горечью сознаю я умом, что никогда лучом желанного рассвета не озарить мне мглы, чернеющей кругом, — к чему мне ваша жизнь без цели и значенья? Мне душно будет жить, мне стыдно будет жить...» Берет скрипку, с неподвижной улыбкой извлекает из нее мелодии, одна другой печальнее. Может быть, время такое — нерадостных стихов и песен?.. Надсон отправляется провожать его. Они долго взад и вперед прогуливаются по пристани. Ветрено. Гаршин тревожится за приятеля: про-

студится, чего доброго — сил нет расстаться. Уже слышится «Отдай швартов!», пароход «Луч», соединяющий Кронштадт с материком, дает протяжный гудок, Надсон нехотя выпускает его руку из своей:

— А что, Гаршин, если надежды, возбужденные мною, — миф и таланта у меня нет? Я не проживу без таланта!..

Минуты недостает открыться, что и он всякий раз, оставляя перо, погибает от той же леденящей мысли: не навсегда ли — вдруг не вернется больше способность писать!

Взбираясь по трапу, утешает приятеля шуткой:

— Полно, Семен Яковлевич, вам не идет быть гадким утенком: вы же лебедь, милостивый государь!..

С Надсоном свел его Алексей Николаевич Плещеев: старый поэт приходится крестным отцом многим начинающим в литературе; за седину и благообразную внешность, главное же — за неизменную щедрость сердца и доброту к молодым, между молодыми дано Алексею Николаевичу прозвище «падре». Ради литературы русской, которой он верно служит, ради будущего, в которое он, несмотря на все удары судьбы, нипочем не желает утратить веры, «падре» печется о дружбе своих «крестников», — объединив силы, они-то и понесут нашу литературу в будущее: «Несите твердою рукой святое знамя жизни новой...» и — «пусть ваша дружная семья отживших нас добром помянет...»

В «Отечественных записках» Плещеев ведет стихотворный отдел, едва не всякий раз, предлагая чьи-нибудь стихи в номер, выслушивает насмешливое ворчание «генерала от сатиры», «Салтыка» (так он про себя именует Михаила Евграфовича); он мягко, но неколебимо отстаивает назначенное им для печати творение. Михаил Евграфович, конечно, человек пристрастный, оттого порой придирчивый, но (он-то, Плещеев, знает) за суровой предвзятостью и обидными резкостями скрываются и поэтическое чутье, и тонкость душевная. Как часто оказывался он свидетелем щедринского непоказного внимания к начинающим — и усадит, и расспросит, и благословит, и — в передней уже — горничная замешкается, сам трясущимися своими руками заботливо подаст пальто. Вот тебе и «генерал Салтык»!

Даже Надсон, юноша болезненно самолюбивый, когда побеседовал с Салтыковым, надивиться не мог его любезности, тотчас полюбил и долго еще толковал про большие, умные глаза Михаила Евграфовича, и про то, как особенно смотрят эти глаза с исхудалого лица, и про необыкновенно маленькие белые руки, особенно Надсона поразившие: чудилось, у великого-то сатирика руки непременно большие, крепкие, корявые, а тут прямо женские, нежные руки!..

Гаршина, хотя тот, как принято говорить, уже и не нуждается в рекомендациях, старик Плещеев тоже считает за долг опекать. И в самом деле, на душе теплее, когда в редакции, или в гостях, или на

собрании Пушкинского кружка, где «падре» председателем, поворачиваешь голову навстречу ласковому взору Алексея Николаевича, улыбаешься в ответ на его ободряющую улыбку, спрятанную под седыми усами, в большой седой бороде, — что-то величественно-львиное есть в лице старика. За спиной у Плещеева годы солдатчины и ссылки, и самое главное — черный эшафот на Семеновском плацу, белая рубаха и колпак осужденного на расстреляние (по делу петрашевцев), десять минут у столба в ожидании залпа: такое даром не проходит. Сколько раз Гаршин пережил, перечувствовал это пребывание у последней черты, со всеми героями своими к последней черте подступал — дальше непременно следует прозрение, иначе никак невозможно. И если Плещеев убежденно повторяет в стихах и прозе, что из горнила борьбы и страдания дух человеческий является чист и крепок, если зовет хранить «химеры чистые возвышенной души», пламень веры до конца дней своих не гасить, значит, открылась старику истина, ради которой стоит жить.

Надсон говорит:

— Мы рано состарились, мы устали от непрерывной, тайной, никому не видной борьбы с собой, от постоянного отчаяния, которое нагоняет темнота вокруг. А старик — точно солнечное пятно в мрачной комнате...

В самом деле, газеты читать не хочется, всякое сообщение напоминает о том, до какой степени жизнь преисполнена всевозможного свинства, из каждого сообщения, из трехстрочной грошовой хроники непременно лезет торжествующее свиное рыло, но не читать никак нельзя, мучительные вечные вопросы гроша ломаного не стоят, коли нет за ними лица живого: одинокого инвалида на деревяшке, оставленного теми, кто призывал его идти под пули, отверженной барышни с панели, художника, в каждой картине своей подставляющего грудь под удары тяжелого молота, того, кто, войну ненавидя, не умел за спинами подобных себе отсиживаться и лежит теперь в дальних полях с черным отверстием над правым глазом, — мертвец этот тоже лицо живое! Без живого лица, без газетной статейки про взрыв на патронном заводе, про пожар в столярной мастерской, без высокоумных размышлений о необходимости закрывать курсы и школы, без коротенького объявления («нас просят обратить внимание») о бедственном положении вдовы с четырьмя детьми, проживающей на Песках по Мытнинской улице, дом № 11, кв. 42, — без живого лица размышление над вечными вопросами есть сытый эгоизм, тешащий самолюбие, не более. О «дальнем» человечестве заботясь, надо ближнему человеку сострадать, его беду кровавой язвой в собственном сердце отметить.

— Превозносим успехи науки, — печалится добрый друг Александр Яковлевич Герд, — а народ пребывает в невежестве. Страшно

делается, как подумаешь о распространенном у нас повсеместно отношении к детям, к женщине, о семейных драмах, побоях, зверствах, преступлениях, об ужасающем проценте преждевременных смертей, страсти к водке, стремлении к обогащению...

Герд день-деньской тянет лямку в гимназиях, училищах, педагогических комитетах, ищет способы распространения знаний и духовного просвещения народа. Во всяком разговоре с друзьями он горько сетует, что сделать удается лишь малую толику того, что надо бы.

Взамен предисловия к «Определителю птиц», Гаршиным переведенному, Александр Яковлевич поставил свою речь о народных учителях: народные учителя — посредники между наукой и народом, наука не есть абстракция для избранных, но средство улучшения жизни народа, учителя призваны нести в народ свет.

— Света, света, — будто заповедь, повторяет Александр Яковлевич. А власти знай себе тащат и не пущают, и сердобольная императрица скорбит о «заблудших» курсистках: «Надо вернуть этих несчастных их семьям».

В Петербурге молодежь на Радонежскую молится, как на святую, про школу на Черниговщине, где она учительствует, просто чудеса рассказывают, а святую, слышно, донимают проверками да комиссиями и, можно не сомневаться, — выживут.

Жизнь продолжает неначатую повесть...

Ах, если бы ради счастья дальних и ближних броситься навстречу выстрелам, как тогда на горе под Аясларом, если бы прут стальной к обнаженной своей груди приставить, чтобы молния, обрушившаяся на город, на род человеческий, одного тебя сожгла, испепелила! Все бьешься, стараешься объяснить людям, как это много — одна человеческая жизнь: вместе с ней не сухой комок земли, не былинка с муравьем, вниз головой ползущим, гибнет — целый мир, но как ничтожно мало весит она, единственная жизнь, когда вознамеришься на благо миру ее отдать, — ни счастья, ни тепла, ни света от потухшей искорки! Есть от чего прийти в отчаяние!..

Надсон хлопочет об отставке, готовится к экзамену в учительскую семинарию, имеет намерение ехать учителем в деревню. Рассказывает с энтузиазмом, как отроком проводил каникулы в деревне, однажды лег спать в сарае вместе с двумя работниками, допоздна пересказывал им своими словами «Сорочинскую ярмарку» и «Ночь перед Рождеством», чуть свет вышел со скрипкой в сад и долго играл над рекою, глядя, как заря разгорается, как на красном фоне неба резко чернеют острые верхушки старых елей, с одной стороны окаймлявших сад. (У бедного Семена Яковлевича открылась на ноге туберкулезная язва — грозный признак...)

Когда знаешь, что не дано тебе сгореть, испепелиться и тем искупить страдания человеческие, когда никакие возвышенные химе-

ры не помогут тебе поверить в это, когда данное тебе от рождения несчастное устройство нервов не пускает тебя в ряды борцов, когда тем самым утрачиваешь свободу со своим «я» расстаться и целью твоего существования оказывается забота о собственном «я», — порой вдруг начинает мерещиться, что вместилищем души стал желудок, от сытости которого состояние оной души и зависит. То-то...

Служу. Женат. Вообще очень потолстел и играет на скрипке...

Служит. С Гостиным двором разделался, рад несказанно, добыл новое место, на редкость удачное — секретаря Общего съезда представителей российских железных дорог — одно название чего стоит! Представители собираются на свои съезды раз или два в году, об эту пору бумагомарания хоть отбавляй — протоколы, решения, постановления; в остальные месяцы отсиживаешь аккуратнейшим образом ежедневно с одиннадцати до четырех и ровным счетом ничего не делаешь — не считать же за дело несколько пронумерованных и подшитых писем, составление прошения о пополнении номенклатуры или десятистрочное резюме, подготовленное для кого-то по чьему-то отчету о тарифах. Милейший Франц Егорович Фельдман, управляющий делами съезда, смотрит на служебные занятия не вполне обычного подчиненного сквозь пальцы: сиди на месте Гаршина в канцелярии мэтр Эмиль Зола (не говоря уже об изумляющих скоростью изготовления книг английских беллетристах Троллопах, матери и двух сыновьях, — один, к слову, служит чиновником в почтовом ведомстве), без усилий сочинял бы ежемесячно по роману. Сам Франц Егорович Фельдман время от времени берет Гаршина под локоток, спрашивает предупредительно, имеет ли он возможность писать; он благодарит Франца Егоровича, отвечает, что для него всего необходимее внутренняя возможность. «А вот мы, сударь, дай срок, и прибавим, — говорит Франц Егорович. — Я уже в правлении кое с кем побеседовал». Гаршину совестно — и так получает вдвое сравнительно с бумажным складом: сто рублей в месяц. Да и пишет, правду сказать, невыносимо мало. «Ждем, ждем чего-нибудь новенького», — отходя, ободряет его Франц Егорович.

Съезды железнодорожных представителей угнетают Гаршина безудержной болтовней, вздором, произносимым с таким пафосом, будто и впрямь от некоторой суммы, переданной правлением Одесской ж. д. соответственно правлению Харьковской, от поздравительного адреса, отправленного французскому или английскому банку по случаю сколькотолетия со дня основания, от лишней пуговицы на мундире дежурного по станции зависит благополучие мироустройства. Очевидцы рассказывают, что на месте кукуевской катастрофы из-под земли, из-под обвалившейся насыпи, прижатой сверху многопудовой железной тушей локомотива и вагонами, четыре дня раздавались стоны и крики заживо погребенных. Нет виноватых, несчастный

случай — отмахиваются от вопросов господа представители железных дорог, да никто и не задает вопросов, некогда, в ресторане уже столы накрыты — обедать, господа, ужинать! Право, не напиши он в юности очерк земского собрания, впору нарисовать картину железнодорожного съезда. Начальник дистанции, объезжая линию, ударил рабочего по лицу кулаком и нанес ему увечье. Вдова стрелочника, задавленного поездом, умоляет о помощи. Путевой сторож просит не взымать с него штраф за распаханный при будке огород — на двенадцать целковых с семейством не проживешь... Ужинать, господа, обедать! Добрый Франц Егорович, будет охота, после разберется, похлопочет, добудет бедной вдовице пятерку или трешницу...

Служу. Женат...

Во всех концах империи ни за что ни про что хватают людей, заковывают в железа, отправляют на каторгу, неугодных лиц высылают из городов по малейшему подозрению и вообще без подозрения, по желанию начальства, полиция является в университетские аудитории, разгоняет собрания и сходки, жандармы в любое время суток врываются в квартиры с обысками, и самое поразительное — вокруг точно оглохли, ослепли сердцем. Даже кто-то из министров заметил, что никогда прежде в Петербурге не танцевали столько.

Ярошенко после «Курсистки» пишет к очередной передвижной выставке новую картину: такая же девушка-курсистка, но не шагает бодро по дождливой улице — полуодетая лежит на кровати, рядом на столике стакан, пустой флакон из-под яда, догорает свеча, в комнате беспорядок, сквозь узкую щель между занавесками вползает мрачная серость петербургского рассвета: начинается день, которого девушка не увидит. Всякий, кто пожелает «угадать» причины страшной истории, тотчас увидит следы ночного обыска, неравной борьбы, вспомнит недавнее газетное сообщение о курсистке, после обыска покончившей с собой, — может быть, нашли в шкатулке бережно сохраненное письмецо (сколько раз порывалась сжечь!), для нее память чувства, но скорый росчерк, буковка единственная вместо подписи (вдруг поняла несчастная барышня) несет гибель самому дорогому для нее человеку.

В мастерской у Ярошенко попался Гаршину рисунок — первая мысль картины: разбуженная девушка испуганно сидит на кровати, в распахнутых дверях статный жандармский офицер, возле него квартирная хозяйка в капоте и теплых домашних туфлях, за спиной офицера теснятся нижние чины, готовые ворваться в комнату. «Кто же разрешит помещать на выставке жандармов?» — разводит руками Ярошенко, но дело, конечно, не в этом: трагический сюжет, избранный художником, поможет хорошо знакомым со вседневной жизнью зрителям восстановить события минувшей ночи в страшных и ярких подробностях.

После открытия выставки господа рецензенты, как всегда, нападут на Ярошенко за «тенденцию», при этом сделают вид, будто ничего, глядя на холст, не поняли, станут хихикать по поводу «дамы в дезабилье» и, хихикая, строить гадкие предположения, будут ходить без страха по темным петербургским улицам, мысль, что за каждым окном в ту минуту, когда под ним проходишь, может быть, разыгрывается трагедия, написанная художником, не постучится к ним в голову, а постучится — прогонят, надо гнать тягостные мысли. Пишет же Михаил Евграфович, что вполне возможно настолько дисциплинировать свое естество, что будешь чувствовать позыв только к насыщению: главное, первое время на себя приналечь, а остальное последует само собою, и не заметишь, как отучишь биться сердце при созерцании явлений, от которых еще недавно лез на стену.

Вокруг — любопытствующие разговоры о казнях, арестах, убийствах и самоубийствах, добро бы одни лабазники — милые, честные барышни с интересом, даже с глазками горящими толкуют о гибели себе подобных, об ужасах толкуют без ужаса. Или — никаких разговоров. Давний приятель затащил Гаршина в компанию, всё образованные молодые люди — гимназические преподаватели, адъюнкты, лаборанты и прочая ученая братия — какая ничтожная пустота речей! Люди, готовящие себя к тому, чтобы учиться и учить, постигающие невообразимые высоты науки, создания животворящего духа величайших своих предшественников и современников, будто въевшиеся в чиновничество герои департаментов, толковали о карьере, перемежая беседу решением головоломок и геометрических курьезов, анекдотами, соединявшими в себе несусветную чепуху с бесцельной и неостроумной похабщиной, сдабривали и то, и другое, и третье обильной выпивкой и ни словом не обмолвились ни о чем, что составляет и только и должно составлять ни на миг не отпускающую боль сердца...

Гаршин называет это привычкой к свежеванию — само собой явилось однажды словцо.

Вместе со словцом явилась в памяти далекая картина, запросилась на бумагу (бедная мама прочитает рассказ и, конечно, опять оскорбится — что поделаешь, не удержался, волю себе дал) — нежданные воспоминания детства, не спросясь, выплеснулись на страницы нового рассказа. Бедная мама будет по-своему права: и без этих страниц, строго говоря, можно бы обойтись, как без полусотни строчек в «Ночи», где он — шестилетний мальчик и рядом — добрый отец (строчки эти мамашу очень рассердили), но вот не обошлось — и это уже выше тебя, выше твоих «хочешь — не хочешь». Может быть, и рассказа не получилось, если бы вдруг снова не окунулся с головой в прекрасную пору доверчивой искренней любви ко всему доброму, любви, не окованной и не осложненной сомнениями,

когда ты тянулся к отцу ручонками и личиком, и был он тебе «папа», а не «сумасшедший господин», как пять лет спустя, запуганным гимназистом, фальшиво оправдываясь перед матерью, называл его в письмах к ней.

— ...Папа, — просишь ты его, — еще немножечко!

А вокруг раскинул свои огни цыганский табор; дрожащий красный отсвет костров лежит на белой парусине шатров и палаток; движутся большие черные тени, возникают, растут, колышутся и пропадают куда-то; вокруг табора расстилается темная степь, безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-белым сумраком; холодным лунным светом блестят извивы реки, дальше мерцают огоньки города; легкий туман поднимается из лощины.

— Еще немножечко, — просишь ты. Утром пестрая толпа цыган, пешая и на телегах, подошла к городу и стала табором в степи за рекою, и скоро началось здесь замечательное представление — медведи плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба, а хозяева их и хозяйки между тем чем-то торговали и меняли что-то, гадали на картах и по руке, ковали лошадей и чинили телеги, и так дотемна, до поздней ночи, пока не настала им пора присесть у костра под растянутой на поднятых вверх оглоблях холстиной и приняться за сваренный в черном большом котле ужин.

Уже и костры стали понемногу тушить цыгане, и медведи, звякая цепями и громко урча, залезли под телеги спать, а он все просил отца не уезжать, задержаться немного; из темноты смолкнувшего табора вдруг послышалась песня, дикая, заунывная — никогда после не случалось ему слышать такой цыганской песни, он навсегда запомнил ее чуждые для уха звуки, потом сделалось совсем тихо, только из степи доносился торопливый крик дергача, перепелиное «пить пойдем!» и откуда-то сверху опускался на землю тихий звон, похожий на занесенный легким ветром голос далекого колокола.

— Ну, пора, пора, — говорит отец. Старый мерин Васька бодро трогает с места, дрожки, поднимая пыль, уже остывшую к ночи, катятся прочь от табора.

Позже рассказали Гаршину, что в один злосчастный день чуть ли не из Петербурга от самого министра вышел приказ перебить всех таборных медведей. Для чего — неизвестно: всем ведомо, что вреда от ученых зверей никакого, ну, да что будешь делать — приказ, начальству виднее. Цыганам из разных уездов велено было к назначенному сроку привести зверей на городской выгон (в ту самую степь, где однажды мальчиком до полуночи он не в силах был расстаться с табором), привести и собственноручно расстрелять своих кормильцев.

Город, понятно, взбудоражен: не всякий день станешь зрителем медвежьей казни; помилуйте, можно жизнь прожить — не увидеть;

земские сеятели и деятели в нетерпении — «живем без значительных событий, одна ссыпка хлеба, право, соскучишься, а тут — большая казнь!»

Если расположиться на высоком правом берегу, поднявшемся саженей на пятьдесят над рекою прямо напротив выгона, зрелище расстрела будет как на ладони. Можно прихватить корзину с припасами, ковер, скатерть — великолепная мысль: получится нечто вроде пикника, соединение приятного с полезным... Съехались на дрожках господа и дамы, ковры разложены, скатерти расстелены, хлопают пробки, извлекаемые из бутылок, кучера раздувают для господ самовары, горничные разносят чай, — нужно заранее навести бинокль, чтобы не терять ни минуты, когда начнут убивать...

Рассказ «Медведи» еще и не набран, только отнесен в редакцию «Отечественных записок», а знакомые-доброхоты уже бегают, пересказывают якобы Гаршина слова: «Мне не позволяют писать о том, как вешают людей, я буду им писать, как расстреливают медведей». Какая пошлость! Какая неспособность постигнуть самую суть творчества!

Будто возможно в страдании и самоотвержении прожить, пережить, ощутить все, что написалось, — день собственного детства, пестроту, шум, движение, красные ночные огни цыганского табора, лунный свет, сияющий в излучине реки, и тут же речь старого цыгана, с которой обращается он к такому же старому медведю, прежде чем пустить ему пулю в ухо, будто возможно ощутить наконец мертвящую скуку и пустоту уездной жизни, сонно шевелящейся между земской больницей, базаром, острогом, прогимназией, банком и плацем, где учатся солдаты местной команды, — будто возможно все прожить, пережить для того лишь, чтобы, говоря одно, видите ли, намекать на другое!..

Вечные выискивания аллегорий... Гаршин терпеть их не может, он неспособен к аллегориям — да разве кому внушишь!

И разве бессмысленная, жестокая большая казнь медведей не ужасает сама по себе, неужели сама по себе эта казнь не вопиет о неблагополучии и неправедности мира, в котором она допустима! И разве не так же страшна (а может быть, еще страшнее казни!) привычка к ней, даже интерес, «привычка к свежеванию», признак очерствения сердец и омертвения душ!..

Истинная суть вещей

Двадцать третий год пошел, как Глеб Иванович Успенский должен литератору Пыпину двадцать пять рублей.

Двадцать третий год состоит должником, и деньги-то не бог весть какие, а вот не сумел возвратить их на протяжении такого огромного пространства времени — не сумел, и все тут.

Про его, Успенского, непрактичность изволили сочинить множество анекдотов, вроде того, что однажды, едва успел получить в «Отечественных записках» то ли триста рублей, то ли все восемьсот, снова заявился к Салтыкову за авансом: «Да что ж вы с утренними-то деньгами сделали?» — «А вот, фунт сыру купил...» — «Ну, а еще что?..» — только, как ни бился Михаил Евграфович, ничего, кроме «фунта сыру», не дождался.

Анекдот, и правда, смешной до чрезвычайности, непрактичность его удивительна, достойна осмеяния, и деньгам он до странного при постоянной своей нужде в них не придает значения, но при всем том анекдотец однобокий, сочиненный (а может, так оно и было?) шутки ради, а не для уяснения истинной сути вещей.

Суть же вовсе не в том, что он по непрактичности своей сорит деньгами (которых, к слову, сроду не получал в таких количествах, сколько наберется в анекдотах). Суть в том, что с молодых лет (когда, кроме своей семьи, содержал мать, четырех сестер и трех братьев, между которыми по рублю и по два делил скудный заработок), с молодых лет и до зрелости (почитай, до старости) его уделом была и остается тяжелая литературная поденщина и, пытаясь разобраться в запутанных, давно непостижимых материальных своих делах, в многолетних долгах, обязательствах, расчетах с издателями, он все обреченнее понимает, что — потрать он неведомо на что лишнюю сотню или прижми ее, удержи в кубышке — ничего ровным счетом для него не изменится.

Анекдот про триста рублей, убитых на фунт сыру, конечно, смешной и, даже для него, для Успенского, лестный, но изобретателям забавной штуки не расскажешь, что за триста рублей он в свое время продал Карбасникову, издателю, все свои сочинения и на многие годы вперед, что издателям же продавал написанное не поштучно, не полистно — целыми книгами, по полсотни за том, где там торговаться и ждать — дают, бери, и слава богу.

За бесценок уступал право выпускать его сочинения, втридорога выкупал их обратно — и снова уступал.

Книги же его нарасхват, приносят издателям тысячную прибыль; очерк или статью журналы и газеты берут охотно.

Вот только что печатал в газете фельетоны с продолжениями, редактор либерал и в некотором роде приятель, а платили за каждую публикацию, за восемьсот строк, по тридцать пять рублей; смешно сказать (скорей, стыдно): выходит четыре с половиной копейки за строку. Все равно — печатал.

Счастье, что однажды, как всегда, для самого себя неожиданно, оказавшись при деньгах и в расчете на будущие богатства, купил этот простой, большой дом в Сябринцах: после скитаний, без которых ни жить, ни писать он не способен, после столичной маеты сябринский дом с его крестьянской простотой, почти бедностью —

родное гнездо. Вот, думалось, конец, издержался, исписался дотла, нет выхода, мука, смерть, путаница, опять не стать на ноги, опять идти ко всякой дряни просить рубля, но тут, в многажды и, наверно, в самом деле нелепо перестраиваемом деревенском доме (тоже анекдоты сочиняют про его проекты), снова набираешься сил работать, снова исполняешься веры, что сдюжишь, что еще не все потеряно для тебя...

Гаршина Глеб Иванович зазвал в Сябринцы, соблазняя отсюда ехать в Тихвин, где в последних числах июня сего, восемьдесят третьего, года празднуется пятисотлетие явления чудотворной иконы божией матери. Всеволод Михайлович приглашению очень обрадовался: действительно, объяснял весело, напрет туда народу со всей России, и посмотреть такую штуку будет крайне интересно.

Всеволод Михайлович, без сомнения, приуныл в конторе при железнодорожном съезде, — правду сказать, сомнительно, чтобы долго высидел. У него, Успенского, на сей счет собственный давний опыт: тоже полез было в должность (к слову сказать, тоже по ведомству железных дорог), года не высидел: скука ужасная и — тяжело, потому что, едва захочешь уяснить истинную суть вещей, непременно упрешься глазами в хищные разбойничьи челюсти разных господ, глотающих миллионы на подлых, шарлатанских предприятиях, и хотя сам получаешь двугривенный, но, имея способность с особой чувствительностью принимать скверные впечатления, испытываешь глубочайшую невыносимость стоять возле такого дела.

Всеволоду Михайловичу, бедняге, правда, по-своему тяжелее, чем ему: пишет Гаршин помалу и редко до чрезвычайности, он же, Успенский, смолоду вынужден и привык быть литературным пролетарием. Коли засел за работу, приспела охота и пошл*о*, тут уж успевает столько, что страшно и подумать.

Всеволоду Михайловичу, понятно, страсть захотелось в Тихвин, все повторял весело — вдруг на чудеса попадем, чувствовал, конечно, потребность встряхнуться, набраться впечатлений, а там — литературное занятие имеет такую особенность — дай срок, начнутся и чудеса.

Гаршин с давним своим приятелем, Михаилом Егоровичем Малышевым, художником, прибыл в Сябринцы точно как было условлено, но вот беда, у него, Успенского (такое с ним нередко), обстоятельства переменились — обстоятельства душевные, ехать в Тихвин сделалось невмоготу. Скорей всего, он не отдохнул еще от недавнего утомительного путешествия на юг, в Тифлис и Баку, по кавказским сектантским селам, нефтяным промыслам и рыбным ловлям, — об этом путешествии он уже пишет в «Отечественные записки» и собирается еще и еще писать (всего намечено заготовить материалу номеров на восемь журнала).

От усталости, от неизбывности работы, сколько ни бейся, не сокращающей суммы долгов и не приносящей никаких надежд на будущее спокойствие, снова одолела его отчаянная, пугающая мысль, что минута, когда нуждаются в Успенском-писателе, проходит, а сил все меньше, глядишь, скоро издатели-благодетели просто-напросто выбросят на улицу.

Все это Глеб Иванович изложил Гаршину, толкуя, отчего ему теперь в Тихвин никак не путь, — высказал с тоской и отчаянием. Накопал из ящиков стола записные книжки, тетрадки, заметки, где показана вся денежная его путаница, сыпал цифирью, спрашивал Всеволода Михайловича (больше себя), что тут делать, как распутать, — спрашивал, чтобы душу утешить, ибо знал, что никак невозможно тут помочь, устроить, облегчить.

Всеволод Михайлович слушал с вниманием и сочувствием, Глебу же Ивановичу лишь того и надо было: непрактичностью, знал он, Гаршин может с ним соперничать. Как существует он на ежемесячную, дарованную железными дорогами сотню — форменная загадка. В «Отечественных записках» ему платят не по таланту и не по имени мало, советы поговорить о сем предмете с Салтыковым он решительно отклоняет, доказывая, что бóльших денег и не стоит, потому что сотрудник ненадежный, пишет дурно и мало, к сроку же и вовсе не умеет; если же чего и в самом деле ему недодают, то по вполне простительной рассеянности, о которой и напоминать неловко.

Тогда в Сябринцах Гаршин, по привычке подняв тревожно бровь, далеко заполночь слушал с понятным сочувствием горестную исповедь приятеля, на рассвете же двинулся, как и намеревался, в Тихвин — «на богомолье», объяснил он весело.

По возвращении уверял Глеба Ивановича, что тот много не потерял, оставшись дома. Тихвин, несомненно, принес бы ему материал, но после прежних его одиссей не столь значительный. Торжество никакими чудесами ознаменовано не оказалось; в самый день праздника с утра и до поздней ночи лил дождь; богомольцы, наполнившие город, вымокли до нитки, сперва на площади, дожидаясь выноса чудотворной иконы, а затем следуя крестным ходом к монастырю; в монастыре была устроена даровая трапеза для всех желающих «без различия пола и состояния», бедным, однако, раздавали хлеб и квас отдельно. Сам же Всеволод Михайлович вернулся донельзя довольный поездкой: туда добирался по железной дороге и на почтовых, назад пароходом по Сяси, каналам и Неве — проветрился...

Но вот тут-то для Глеба Ивановича и начались чудеса, ибо Гаршин, не откладывая, отправился к издателю Павленкову, хорошему, идейному издателю, лишь недавно получившему правожительство в Петербурге после тринадцати лет пребывания под надзором в отдаленных от столицы местах империи, и что самое удивительное

(при гаршинской-то анекдотической непрактичности) — с издателем замечательно его, Успенского, дела уладил.

Глеб Иванович помнил Павленкова еще в давние времена, еще на похоронах Писарева, с которым Павленков дружил, — кажется, за организацию похорон он и был арестован и выслан. Малого роста человек, высоколобый, почти лысый, с мелкими чертами лица и задорно выставленной вперед бородой, живые темные глаза, смотревшие горячо и смело, делали это лицо значительным. Павленков, понятно, не из тех господ, что наживаются на несчастье ближнего, но — издатель, что ни говори, издатель, а значит (он, Глеб Иванович, уже привык к тому), не упускает случая получить с каждой выпущенной в свет книги по возможности больше. Узрев в письме Гаршина, сообщавшего о сделке, сумму, назначенную за издание сочинений Успенского, Глеб Иванович глазам не поверил — условия были непривычно хороши для него.

Самое же поразительное состояло в том, что именно Гаршин одержал такую победу, и, желая уяснить истинную суть вещей, Глеб Иванович немало думал о том, как удалось Гаршину распутать клубок, за который брались люди подлинно деловые, хваткие — и не в силах были распутать. И выход напрашивался такой, что Гаршин потому и добился успеха, что ничего не распутывал.

Он, похоже, не очень-то и въедался памятью в колонки цифр, кои в записных книжках и тетрадках были перед ним разложены, не о том хлопотал, какой долг погасить и откуда взять, то есть ни о чем таком не беспокоился, что в первую голову подсказывал здравый смысл (на здравом-то смысле, кажется, деловые люди и попадались, терпели поражение), — Гаршин как бы с другого конца начинал: там, где иные прочие размышляли, как Успенскому с долгами рассчитаться, он о своем тревожился — *как бы Глеба Ивановича не обобрали.*

Вдруг вспомнилось, что в письмах после обратного адреса Гаршин, случается, прибавляет что-нибудь вроде: «Впрочем, лучше пишите в Канцелярию Общего съезда железных дорог, туда не так высоко подниматься почталиону», и, когда дойдешь до этого «почталиона», все, что выше написано, сразу как-то по-другому прочитывается, будто кто-то переставил знаки препинания, переменил интонации, с которыми привычно читался текст.

Какие бы серьезные мотивы ни побудили Гаршина приняться за письмо, он, оказывается, держал в уме еще «почталиона», потому что никогда не делил жизненные факты на «крупные» и «мелкие», на «первоочередные» и «не срочные»: единичный жизненный факт для него не то что бы частица, а проявление общего строя жизни, — весь общий строй жизни в каждом таком факте умещается и открывается вполне.

Две с половиной тысячи, добываемые для терпящего нужду товарища по перу, так же завладевают всей его духовной деятельностью, как *не могу есть, пить, спать, когда другого на Семеновский плац везут,* как *не могу, чтобы сердце не болело,* как *пусть расстреляют: я не мог видеть и не вступиться...*

Глеб Иванович на сообщение о гаршинской победе телеграммой откликнулся: «Очень, очень благодарю». Но дело не в деньгах, конечно, которые опять же будут истрачены неведомо куда и принесут новые долги: всего больше сердце согрелось мыслью, что осталось, не отмерло, не съедено еще в жизни нечто, что не рассчитывается, не распутывается с цифирью, — чистота помысла, и сочувствие к чистоте, и вера в сочувствие; а покуда в душах людских сохранилась хоть капля чувства, говорящего человеку: «хорошо, истинно, необходимо», или, наоборот: «нельзя, нехорошо, неблагородно, подло», покуда такое в душах людских звучит — стоит жить.

Наследство

Невозможно поверить, что не был знаком с Тургеневым, и не потому лишь, что мир, Тургеневым созданный, стал для него, как для многих читателей, неотъемлемой частью действительного мира, простертого вокруг, а герои Тургенева — подлинными людьми, существующими в этом мире, повторенными в десятках и сотнях действительно существующих людей, — не только потому. Он убежден, чувствует, осязает — кожей, нервами, памятью, что полжизни рядом, глаза в глаза с Тургеневым прожил, — так оно и выходит: полжизни, тех шести лет половину, какие живет на белом свете писатель Всеволод Гаршин.

Фотография овальная, снятая у Шапиро, — поворот головы на три четверти, Иван Сергеевич печален, задумчив, смотрит чуть в сторону, и оттого кажется, внутрь себя заглянул, в глубины, ему одному ведомые, и не рад открывшемуся, — передает фотография одинокость Тургенева, для тысяч людей в мире близкого человека.

Снимок этот, увеличенный и окаймленный траурным крепом, выставлен был в витрине заведения К. А. Шапиро на Невском, но по распоряжению полиции на другой день убран. Полицейские меры ощутимы повсюду в Петербурге, власти не скрывают беспокойства, даже скорей подчеркивают, без конца следуют разные распоряжения и циркуляры касательно похорон, участия в них, упоминания о них в печати, мер охраны; наблюдательные агенты, присутствуя повсюду в публичных местах, не таят своего присутствия; в прокламации, пущенной по рукам, говорится: действия правительства подтверждают, что Тургенев (верил ли в русскую революцию или сомневался в ней) служил русской революции сердечным смыслом своих произведений.

Прах Ивана Сергеевича встречают на Варшавском вокзале столицы 27 сентября восемьдесят третьего года, утром, двадцать минут одиннадцатого. На перроне, как и на вокзальной площади, великое множество народу, не протиснуться; могучие городовые с выражением величайшей ответственности на лицах важно басят «Па-а-прашу!» и, схватившись за руки, образуют цепь.

В траурном вагоне сооружено нечто вроде походной часовни: посреди на возвышении светлый ясеневый гроб с переброшенной через него белой лентой, по ней золотом: «Les Frênes» — «Ясени».

На спасских ясенях, должно быть, осень уже тронула яркими красками побледневшую с первыми заморозками листву; ветер набежит, ветка, качнувшись, вспыхнет на солнце, загорится червонным золотом, в просвете ветвей покажется чистая лазурь неба, ясная и ласковая, как прекрасный глаз (Ивана Сергеевича сравнение).

Из буживальского дома — хоть и опоздал, может быть, — навеки выбрался, решился: когда о том дело, в какой земле лежать, с этим не шутят.

Иван Сергеевич перед смертью говорил, что возле Пушкина мечтал бы, у ног учителя, но не суждено, да и заслужить такое надо (никто не заслужит!), но уж на родное, на Волково, потрудятся друзья, доставят.

У подножья постамента — ветки рябины; среди подсохшей зелени светятся гроздья красной ягоды — от русских детишек на первой станции российской, пограничной: Вержболово.

Незадолго перед кончиной Иван Сергеевич в письме просил Полонского — будет в Спасском, дому поклониться, саду, молодому дубу — родине поклониться: я ее больше не увижу... В Спасском Гаршин утром выходил из дома, шел садом к молодому дубу, посаженному собственными руками Ивана Сергеевича полвека назад. Перед двухсотлетними деревьями дуб глядит совсем мальчиком — сколько бурь у него впереди!

«Каждый стареющий писатель, искренне любящий свое дело, радуется, когда он открывает себе наследников: вы из их числа» — это Иван Сергеевич Тургенев ему, Всеволоду Гаршину, руку протянул; три года был возле, ободрял словом и взглядом.

Нелепость: сидеть за его столом, в его кресле, у его окна, за которым его деревья плещутся в его небе, слушать тишину его дома, вздрагивать от скрипнувшей за дверью половицы (сейчас войдет!) — и теперь этот ясеневый ящик!.. Такая несусветная нелепость, такое совершеннейшее «не может быть», что натура Гаршина всеми шестью чувствами (или сколько их там!) прямо-таки вопиет, протестуя: видел, слышал, чувствовал пожатие его руки, одним воздухом с ним дышал, знает звук его голоса, смех, цвет глаз, движение, которым отбрасывает со лба седую прядь...

Разве Ивана Сергеевича не было в гостиной, когда Гаршин только что законченные «Воспоминания рядового Иванова» читал? Как же не было: разбросав длинные руки, устроился поудобнее на любимом «самосоне» (и не заснул во время чтения!). «Вы, как мне кажется, в этой повести вступили на хорошую дорогу, которою и желаю вам продолжать идти» — вот что Тургенев ему сказал...

На тротуарах, в окнах домов, на балконах, в подъездах, на крышах, заборах, фонарных столбах — всюду люди, народ. Шествие растянулось на две версты, одних депутаций — сто семьдесят шесть. Целая выставка венков, иные (на каком-то, говорят, среди цветов обрывок железной цепи) тут же изымались по приказу градоначальника, генерала Грессера. Градоначальник, будто парад принимал, красовался верхом на белом коне у пересечения Загородного проспекта и Гороховой; пропустил мимо себя всю процессию. Подумать, так подлинно — парад. Только не по воле генерала — вопреки.

Кроме градоначальника, следившего за соблюдением мер охраны, официальных лиц на похоронах не было.

...Исчезнут все венцы, престолы, порфиры всех земных царей, но чистые твои глаголы все будут жечь сердца людей... Надо же, сколько лет он, Гаршин, стихов не писал, вдруг полезли в голову ямбы, сами собой забормотались.

По Расстанной перед гранильными мастерскими и цветочными прилавками — строй спешившихся казаков: приказано стоять «вольно», чтобы ни у кого мысли не явилось, будто отдают усопшему воинские почести. А ведь отдают, самим своим присутствием здесь отдают!

Справа из-за кладбищенских сторожек, между которыми, как в засаде, теснились чины полиции, появился Надсон в шинели и в фуражке. «Семен Яковлевич, да вы что? Военным запрещено...» — «Неужели?.. — отзывается Надсон с неподвижной улыбкой и кивает на стоящих за оградой казаков. — И в казармах войска одеты по-походному». — «Семен Яковлевич, голубчик, вам только на гауптвахту не хватает...» Надсон более месяца лежал в постели, даже на скрипке не было сил играть, подносил к губам маленькую деревянную дудочку, высвистывал одному ему ведомые мелодии, по приказу доктора поглощал в огромных количествах «кефир» (или «кэфирь»), входящий в моду напиток (говорят, творит чудеса не хуже кумыса), но тут, увы, похоже, чудес не будет. «Поздно беречься, — Надсон, улыбаясь, машет рукой. — Меня плац-майор уже записал в книжечку...»

Порядок речей утвержден заранее, какие-либо речи, кроме предварительно заявленных градоначальнику, запрещены. Генерал Грессер к панихиде перекочевал на кладбище, странным изваянием возвышаясь среди крестов и обелисков.

Первым говорил профессор Бекетов, ректор университета, над открытой могилой говорил о бессмертии: назовем ли погибшими звезды, свет которых тысячелетия продолжает доходить до нас, умирает ли тот, чьи духовные силы продолжают колебать миллионы сердец?..

...И отдаленнейший потомок перед тобой главу склонит, когда среди времен потемок звездой твой образ заблестит... Нет, это не Бекетов и не Алексей Николаевич Плещеев, выступивший вперед читать написанные к печальному дню стихи, — это его, Гаршина, мысли теснятся, бьются в голове, облекаются в слова, складываются в строки.

Плещеев читает, как всегда, хорошо. И голос-то глуховат у Алексея Николаевича, однотонен, и стихотворение, признаться, не очень удалось, но в каждом слове слышится непоколебимое убеждение, что оно, это слово, должно быть произнесено, что в нем правда, которую необходимо поведать людям. К тому же величавая фигура, седая борода патриарха, и такая отчаянная грусть в детских серых глазах, и слезы по щекам, которые старик, читая, сердито смахивает ладонью...

Много стихов прольется по Руси о нынешней утрате, но не в надгробных стихах выскажется главное, завещанное сегодня, не в речах, не в воспоминаниях близких, не в трудах критиков и университетских профессоров, даже не в образовавшейся пустоте, которая долго еще не заполнится, не в сердцах самых памятливых читателей, наконец. Слово Тургенева отзовется, обретет бессмертие в созданиях новых художников, сегодняшних, завтрашних, грядущих, — неважно, считают ли они себя наследниками почившего писателя или нет, — в созданиях, быть может, далеких, как звезды, от того, что писал Тургенев, но хранящих и открывающих сегодняшним, завтрашним, грядущим людям высокие, светлые мысли и чувства, запечатленные Тургеневым, лучшие мысли и чувства человеческие...

...Десятая книжка «Отечественных записок» 1883 года открывается рассказом Гаршина «Красный цветок» с посвящением: «Памяти Ивана Сергеевича Тургенева».

«Красный цветок»

— Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!..

Но ревизия объявляется всему миру, погрязшему в зле, жестокости, несправедливости, — надо принести свободу и счастье томящимся за железными решетками людям...

Рассказ «относится к временам моего сидения на Сабуровой даче, — сообщал Гаршин одному из приятелей, — выходит нечто фантастическое, хотя на самом-то деле строго реальное...»

«Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны...»

Ну, конечно, это «строго реальное»: большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, пробитым в углу окном; темно-красная масляная краска, которой выкрашены стены и своды над головой; две овальные каменные ванны, вделанные в почерневший от грязи пол, в уровень с ним, как две наполненные водой ямы; огромная медная печь с системой медных трубок и кранов; наконец, толстый, мрачный, вечно молчавший служитель, надзиравший за ваннами, — все, без сомнения, «строго реальное»; у Гаршина, что ни подробность, пусть самая малая, непременно взята с натуры.

Да вот и рассказ его не рассказ-сочинение — случай из жизни, из времен сидения на Сабуровой даче, поведанный в беседе именно в 1883 году, когда писался «Красный цветок»:

«Раз, в ожидании ванны, которую готовил для меня служитель, стоял я совсем раздетый у окна. Мне вспомнилось тогда и детство, проведенное среди родных, в доме родителей, под наблюдением матушки, которая так любила нас; представилось и одиночество в мрачном углу этой больницы, освещенном одним окном — с железною решеткой куда-то в стену, и этот геркулес-служитель, наблюдавший за краном и за мной... Вдруг сильный удар в грудь сбивает меня с ног, и я упал на пол без памяти. Это было напоминание служителя о ванне. „За что ты меня ударил? — говорю, опомнившись, ему, державшему меня под мышки, — что я тебе сделал?.." ...И теперь иногда чувствую боль в этом месте...»

«Все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер», — заключает Гаршин описание ванной комнаты уже в рассказе, в «Красном цветке». Фантастической оказывается сама строгая реальность, — и, право, не только в «расстроенной голове» при знакомстве с такой реальностью, с этими подробностями, тщательно перечисленными, могут явиться тягостные, фантастические мысли, образы, сравнения и картины.

Что же до «расстроенной головы», то здесь очень важно, в какую сторону повернет охватившая ее фантазия: «Душевная болезнь не обезличивает человека... — писал, разбирая рассказ Гаршина, его современник, известный психиатр И. А. Сикорский. — Благородные черты индивидуальности не уничтожаются, а только направляются в иную сторону».

Как бы ни относилась к этому тезису позднейшая наука, для понимания рассказа Гаршина он очень важен: писатель увлеченно интересовался психиатрией («Эта наука — психиатрия — меня восхищает», — заметил он как раз после знакомства с Сикорским), статьей Сикорского о «Красном цветке» он был неизмеримо доволен.

Ванна и болезненный компресс, налепленный на затылок, вызывали у героя рассказа мысль об испытаниях и муках, выпадающих на долю борцов и подвижников. Стараясь обрести душевную силу,

он обращается памятью к «мучимым раньше», к тем, кто претерпел великие муки ради великой идеи и великого деяния.

(Гаршин, вспоминая побои служителя, совершенно искренне и бессознательно говорит о страшном ударе в грудь, у него «и теперь» грудь болит, — так оно, конечно, и было. Но невозможно и от того уйти, что «грудь подставлять», «удар в грудь», «грудь, болящая от ударов» — важнейший гаршинский образ-символ...)

Пытки, инквизиция, тайная казнь — вот картины, которые возникают в воображении героя рассказа, едва он переступает порог больницы (а у Гаршина при воспоминании о сумасшедшем доме свое, «современное» сравнение — каторга!). Эти картины тотчас открывают читателям, какая идея целиком захватила героя, открывают перенаправленные болезнью, но благороднейшие и величественные черты его личности.

Гаршин огорчался, когда сказку о гордой пальме, ломавшей в стремлении к свободе железные решетки оранжереи, объявляли аллегорией, готов был доказывать (своего рода — аллегория наизнанку), что такой случай действительно произошел в Петербургском ботаническом саду.

Железные решетки в «Красном цветке» — действительно железные решетки на окнах больницы; символ (аллегория) они для запертого в больнице героя: порабощенный, закованный в железа мир, который он, герой, призван освободить. Читатель «решетки» эти принимает как дважды реальность — на окнах и в представлении героя; но вместе и его, читателя, чувства не останутся глухими к настойчиво напоминаемому, повторяемому: «железные решетки», «железо», «решетки» — отзовутся!..

И сам *Красный цветок* не одним больным воображением создан. Он действительно живет в больничном саду вместе с другими растениями — желтой с красными крапинками далией, высокими розами, яркими петуниями, кустами высокого табака с небольшими розовыми цветами, мятой, бархатцами, настурцией: красный цветок (с маленькой буквы — имя нарицательное) — всего лишь особенной породы мак, только меньше обычного размерами и необыкновенной яркости алого цвета (Гаршин такой мак несомненно видел — и, может быть, на Сабуровой даче). *Красный цветок* является читателю и кустиком, стоящим у больничного крыльца, и страшным фантастическим существом, каким воплотился он в сознании героя, и еще чем-то третьим — здесь обе реальности слиты воедино, ибо читатель не сторонний наблюдатель, а рассказ не этнографический очерк «из жизни сумасшедших».

И катастрофическое похудание героя, неостановимо быстрая потеря веса, никак им самим не замечаемая и его сознанием не перевоплощаемая, вроде бы само собой ощущается читателем как необходимое, неизбежное уничтожение человеком себя во имя высшей

цели, требующей полнейшего самоотречения, самопожертвования — всего себя другим отдать...

Такого героя, как в «Красном цветке», у Гаршина прежде не было и впредь не будет.

Зло всегда больше его героев.

Совесть зовет их грудь подставить, когда другие подставляют грудь, но, погибая, они других не спасают.

Совесть зовет их растворить себя в «общей жизни», отказаться от собственного «я». «Спасая душу» и отрекаясь от ответственности, они впрягаются в «общее дышло», но не в силах ни облегчить повозку, ни остановить, ни повернуть в другую сторону — ничего в «общей жизни» изменить не в силах.

За год до смерти Гаршин напишет рассказ «Сигнал»: стрелочник Семен смоченным в своей крови флагом останавливает поезд, готовый сойти с рельсов; рельс отворотил другой стрелочник, Василий. Бунтарь — он не знает, как искоренить одолевшее мир зло. Кроткий Семен жертвой своей предотвратил беду и Василия покаяться заставил, но смоченный живой кровью сигнальный флаг не преграждает дороги злу, губящему жизнь миллионов людей на земле.

Герой «Красного цветка» видит цель и верит в будущее. Он подставляет грудь, жертвует собой, но он убежден, он чувствует, что «все готово» — наступает час немыслимо трудной и жестокой, но последней борьбы.

Путь борьбы неведом, как неведом в реальной жизни. Путь, избранный героем «Красного цветка», в сущности, все тот же — грудь подставить, но здесь это не только жертва — последний бой, победа всего человечества...

— Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!..

Слова произнесены (согласно указанию в тексте рассказа) 5 мая 18** года, возможно — 5 мая 1880-го: именно в мае Гаршин был доставлен на Сабурову дачу, возможно, именно эти слова произнес он в приемном покое больницы.

Петр Первый постоянно интересовал Гаршина, он собирался писать роман о Петровской эпохе, среди прочих точных подробностей эта тоже, скорей всего, точна. Гаршин хорошо помнил почти все, что говорил и совершал во время болезни («безобразные, мучительные воспоминания»), как герой «Красного цветка» помнил в минуты прозрения: «И вдруг с необыкновенной яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом».

Трудно (да мыслимо ли?) выдумать, сочинить такую поразительную подробность, как это неожиданное и тревожное появление в дверях больницы человека, именем Петра Первого ревизующего



«сей сумасшедший дом». Скорее сама подробность могла подсказать тему: ревизия, неблагополучие порядка вещей, необходимость коренного преобразования мира.

Герой рассказа не воображает себя ни Петром Первым, ни государевым ревизором: Петр для него как бы символ гигантской идеи преобразования, как «сумасшедший дом», который он намерен ревизовать, само здание, принятое им за постройку Петровского времени, мало того, что реальная больница — обиталище людей всех времен и всех стран, живых и мертвых.

Не хочется называть его «безумцем».

Пальме, рванувшейся ввысь, к свободе, нужно было порвать со «здравым смыслом» угревшихся и сытых обитателей тюрьмы-оранжереи. Что общего между «здравым смыслом» докторов в «Красном цветке» и великим предназначением их пациента?

Фантастическое в рассказе усиливает и возвышает могущество реального — иначе это рассказ «про сумасшедших». Цель героя так величественна, личность так чиста и прекрасна, поступки так самоотверженны, что читатели реальной истории, напряженно следуя за героем, видят пред собой не потерявшего ум, несчастного больного (тогда он был бы только смешон или патологически страшен): перед читателями, несомненно, и «первый боец человечества»...

— Вы сказали, — беседует с ним доктор, — что живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь — доктор вынул часы — половина одиннадцатого, 6 мая 18** года...

Но, отрицая значение пространства и времени, герой действует не во имя кого-то, где-то и когда-то, а во имя человечества и вечности: его цель — «гигантское предприятие, направленное к уничтожению зла на земле», всего зла мира, которое он вышел победить разом, — зло прошлое, настоящее, грядущее.

«Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить, — размышляет герой «Труса». — И что можешь сделать против такого желания ты?..»

В «Красном цветке» часть поднимается против целого, против огромного организма — и побеждает.

Человек в «Красном цветке» больше мирового зла, которому бросает вызов, хотя цена победы — его жизнь.

— Что хорошего, что вас самих в дышло запрягут? — спрашивают у героя «Труса».

— Совесть мучить не будет...

Но у Достоевского: «Воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать».

Надо ставить перед собой цели, достойные гиганта.

Не услышать такое невозможно.

«Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь, все слезы, всю желчь человечества... Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало — нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди... Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит — тогда он сам погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира».

Грустные солдаты Гаршина умирают, чтобы совесть не мучила.

Первый боец человечества умирает гордым и счастливым — он исполнил свое великое назначение.

«Красный цветок» — сигнал и мечта: кровь свою пролить, чтобы остановить поезд, несущийся к катастрофе, и направить его к счастью, свободе, свету.

Чтобы спасти мир, надо в задачах быть больше и выше себя обычного.

Звезды появлялись над головой прежних героев Гаршина, чтобы напомнить им, что существует огромный вечный мир.

Герой «Красного цветка» разговаривает со звездами как с равными.

«Сколько сил мне нужно, сколько сил!» — повторяет первый боец человечества, жадно поедая больничную кашицу.

Ночью, разрывая путы, стянувшие его по рукам и ногам, сокрушая железо решеток, преодолевая высоту каменных стен, он разом покончит с мировым злом.

Фантастическое помогает Гаршину сказать людям то, что «строго реальное» сказать не в силах.

Мировое зло — это и война, и каторжный труд, и стремление нажиться на ближнем, и разврат поневоле, и продажа себя, и искусство на продажу.

Грустные солдаты Гаршина погибают, убитые войной, каторжным трудом, невольным развратом, продажей себя, необходимостью творить на продажу.

«В двух маленьких книжках Гаршин пережил все окружающее нас зло...» — после смерти собрата по творчеству подведет итог Глеб Успенский (прежде чем умереть, Гаршин успеет еще один небольшой сборник рассказов издать). Дальше, говорит Глеб Иванович, пути у Гаршина не было: «Переживать то же самое и писать на те же темы, то есть, как говорится, „разрабатывать" те же самые ужасы жизни, которые уже пережиты дотла, — было решительно не по натуре, не по нервам Гаршина». А жизнь на каждом шагу настойчиво доказывала неразрешимость пережитых писателем жгучих вопросов, «не сулила хотя бы малейшего движения от глубоко сознанного зла»... Гаршин умер не от болезни, выводит Глеб

Иванович: «Его наследственную болезнь питали впечатления действительной жизни».

В «Красном цветке» Гаршин поднялся над собой, над натурой и нервами, над строго реальными впечатлениями от действительности, которые умел наблюдать и воспроизводить тревожно и тщательно, в каждой букве, написанной на бумаге, оставляя каплю крови.

Первый боец человечества — осуществлением мечты — разом уничтожает все и всякое зло, которое когда-либо и где-либо омрачало судьбы человечества, подставляет грудь и убивает себя во имя великой цели, и умирает счастливый, ибо верит и знает, что «скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте».

На Сиверской

За окном сороки ссорятся, бранчливо орут, перелетая с дерева на дерево, по стволам берез мечутся их быстрые тени...

Глядеть в окно никакой нет охоты, хотя место здесь, на Сиверской, сносное, даже, пожалуй, живописное: супруга наняла дачу, по обыкновению, модную, с приличествующим цене видом, вон в двух шагах торчит громадный куст шиповника, усыпанный крупными красными цветами; цена даче вместе с кустом — тысяча рублей.

Еще и погода неустойчивая, то холода, то жары, изволь по милости супруги проветриваться да пропекаться, но всего хуже сквозной ветер, от которого нестерпимый кашель и в горле постоянно свербит. Приходится поверх обычного вишневого халата напяливать другой, серый, тяжелый, как шинель, а плечи, точно баба, заматывать в шерстяной платок.

Правда, теперь и кашель, как ни донимает, не помеха — три месяца почти он, Михаил Евграфович Салтыков (для читателей Н. Щедрин), ничего не пишет и писать не может, так и остановился на полуслове, где настигла его катастрофа.

Разразилась же катастрофа двадцатого апреля сего, восемьдесят четвертого, года, о чем Пошехонье было извещено специальным сообщением в «Правительственном вестнике»: журнал-де «Отечественные записки» внес немало смуты в сознание известной части общества, он не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но имеет ближайшими своими сотрудниками лиц с преступными намерениями, а посему признано за благо издание оного журнала прекратить вовсе.

Такого развития событий он, Салтыков, давно ждал: когда пошли предостережения журналу, сразу почувствовал, куда сей сквозной ветер дует. Он не сомневался, что высылка Михайловского (соредактор — не шутка!) и арест Кривенко, ведавшего отделом критики

и публицистики, «Отечественным запискам» дорого обойдутся; читатель тоже не дурак, мигом смекнул, что к чему, в последний год не досчитались едва не тысячи подписчиков, читатель же у «Отечественных записок» был, по большей части, постоянный, но поди его, своего читателя, ублажи, когда во всякой дельной статье сам же находишь повод для властей с твоим журналом разделаться.

Вот говорят: пишет человек — квартального опасается; тут добавить нужно — пуще какого другого опасаешься квартального, который внутри тебя засел.

Но по всему видать, спасти «Отечественные записки» ни малейшей возможности не представлялось. Ни Эртеля, прозаика, ни критика Протопопова, посаженных в крепость и уже по одному этому объявленных преступниками, никак нельзя было считать ближайшими сотрудниками журнала — а их тоже в строку.

В нынешнюю пору бесчестности и рутины кому нужен орган печати, представляющий собой дезинфицирующее начало и хотя несколько очищающий сознание общества.

Что до него, Салтыкова, с уничтожением «Отечественных записок» литературное его поприще, похоже, закончилось, а вместе и жизнь: лишившись возможности беседовать с отвлеченной персоной, именуемой читателем, искренно и горячо им любимой, он испытывает громадную скуку и, признаться, в толк не возьмет, зачем будет дальше существовать, кому и на что нужен.

Не говоря уже о неизменной пошехонской трусости, вследствие которой либералы его за три версты обегают, редакторы журналов бога молят, дабы внушил им, как от Щедрина приличным образом отделаться, круг же знакомых тайных советников со дня упразднения «Отечественных записок» суживается с изумляющей быстротой.

Всего же обиднее безразличие (или, может быть, «привычка к свежеванию», как весьма метко выражается Гаршин) господ от литературы — ни один и сочувствия не выразил по поводу гибели журнала, если не в котором, то возле которого жизнь прожили. Поневоле вспомнишь Тургенева — этот непременно отозвался бы.

Михайловский в «Отечественных записках» хорошо определил: если бы Тургенев ничего больше не написал, и в таком случае он был нужен литературе — имя его было нужно, присутствие, тон.

На днях Гаршин навестил, рассказывал между прочим об освящении памятника Тургеневу: положили на могилу черную каменную плиту чуть не в шестьсот пудов, а речи порядочной ни у кого не нашлось. Собралось-то, Гаршин говорит, три с половиной человека, стояли, ждали, не скажет ли кто-нибудь чего-нибудь, друг друга локтем толкали, но ни у кого слова так и не вылупилось, помолчали да пошли в какой-то погребальный трактир на Расстанной водку пить.

Гаршин сидел унылый, вздымал скорбно бровь, жаловался, что не пишется, будто сроду и не занимался писательством. Прежде он на

Гаршина ворчал — его сердило, что иные литераторы, и даровитые, по-барски пишут, только когда хочется, он и на этот раз поворчал для порядка, но теперь, впервые в жизни, и у него, Салтыкова, ни сил нет себя за работу засадить, ни желания взять перо в руки — разве что нужда заставит.

Гаршин, умница, хорошо сказал: дико видеть свои рассказы не под привычной желтой обложкой. В том и соль, что никак не все равно, где печататься: «Отечественные записки» не тем брали, что по примеру иных журналов старались быть не скучнее прочих, а тем, что умели лицо не потерять и душу сберечь. Без ошибок не обходилось, но не подличали никогда. Бывали слабые вещи, но глупых и пошлых не бывало. Литераторы, случалось, сердились на строгость требований, но мало ли примеров, когда писатель, всеми замеченный и высоко оцененный, пока печатался в «Отечественных записках», оказывался малоинтересным в других изданиях.

Как ты ни свободен, когда водишь пером по бумаге, а очень важно представлять себе своего читателя, знать, куда и для кого пишешь. Вовсе не каприза ради он, Салтыков, ревниво оберегал круг авторов «Отечественных записок» и терпеть не мог, когда свои смешивались с кем попало.

Гаршин свой был с самого начала, с «Четырех дней», которые привез от него из Харькова какой-то молодой человек и которые он, Салтыков, — не частый случай! — подписал в набор, ни одной буквы не меняя.

Сам Гаршин появился в редакции спустя несколько месяцев, чуть ли не в дни некрасовских похорон или сразу после: припадавший на раненую ногу молодой человек — в одной руке палочка, в другой барашковая шапка «пирожком», — был, помнится, в пальто с таким же барашковым воротником, почему-то не снял в прихожей — а может быть, это на лестнице или на улице кто-нибудь показал начинающего Салтыкову (уж не Елисеев ли?).

Познакомились еще позже: Гаршин пришел к нему представиться и деньги за рассказ получить, не за «Четыре дня», уже за новый, про девицу эту, про Надежду Николаевну, за «Происшествие». Пока беседовали, все порывался объяснять, что рассказец не из удачных и для «Отечественных записок» не подходит; пришлось даже прикрикнуть: вы, дескать, сударь, позвольте уж нам решать, что хорошо, что плохо, тем более — чт*о* нам подходит, для того и поставлены. Но с этим ничего не поделаешь — сколько ни печатался, всякий раз один разговор: и написано дурно, и для журнала не годится. Он, Салтыков, ворчал, насмешничал, а в глубине души радовался: свой, свой, знает, чего хочет, и ответственность перед «Отечественными записками» чувствует.

Теперь Гаршин возит в кармане немецкую книжку по зоологии: если, говорит, прогонят с места (служит где-то на железной дороге),

займусь переводами. Своим и впрямь всех труднее, а Гаршину с его неуверенностью, с его честностью обжигающей, и подавно: какой-нибудь прохвост готов к любым страницам приноровиться, а свой да честный будет в чужом журнале чувствовать себя иностранцем.

Впрочем, поди отыщи журнал по душе; тот же Гаршин видел где-то список книг, кои предлагается изъять из публичных библиотек, до трехсот пятидесяти названий — «Отечественные записки», конечно, и «Современник», и «Дело», и, между прочим, такие журналы, которые издавать пока не запрещено, однако в публичные библиотеки пускать не велено. Некая часть публицистики, сама себе присвоившая название охранительной, недаром вопит, что публичные библиотеки превращены в пункты подпольной печати и конспиративные центры.

Как говорится, были годы — теперь другие. Человек по рукам связан, отчего его и не бить; отыскать для жизни новую, плодотворную основу, бесспорно, гораздо труднее, нежели дать ближнему оплеуху.

Гаршин вспомнил: когда собрались в последний раз в редакции «Отечественных записок», под окнами училась гвардейская артиллерия, выкатили два орудия и отрабатывали какие-то приемы, будто прямо в окна целили — невообразимое совпадение! Он, Салтыков, этого не заметил, и никто другой ничего похожего ему не говорил, но Гаршину верить можно — он памятлив на подробности, по рассказам видно. Подробностей же ныне, особливо такого рода приятных, хоть отбавляй.

Гаршин, когда беседует, непременно сооружает из подручных предметов какие-то немыслимые здания: линейку на пресс-папье прилаживает или умудряется бронзовую крышку от чернильницы установить на стаканчик для перьев и во что бы то ни стало вниз головой; на другого и накричать не грех, у Гаршина же, хоть и нервно (а может, оттого как раз), но очень естественно получаются подобные упражнения, начинаешь даже сам следить и переживать, чтобы не обрушилось что-нибудь.

Он Гаршина успокаивал, просил оставить сомнения и писать, написанное *же* обещался пристроить. Гаршин, конечно, не преминул сообщить: им-де заниматься не следует, он каждый месяц жалование получает, а у других сотрудников покойного журнала и на хлеб нет. Без него бы позабыли! Да он, Салтыков, об этом ночи напролет, надрываясь от кашля, думает, и про Михайловского в Любани, и про Надсона — юноша талантливый и хороший, а должен от чахотки помереть, денег нет на юг отправить, и про старика Плещеева — шестьдесят лет человеку, такое за плечами — жутко вспомнить, а вынужден быть литературным поденщиком.

Но не в одних деньгах дело. Необходимо, чтобы свои по мере сил писали свое. Честные люди обязаны не только пребывать честными, но всечасно говорить себе: нет, этому нельзя статься, не может быть, чтобы бунтующий хлев покорил вселенную! Иначе, умрем — будут про нас одни анекдоты рассказывать...

Сороки за окном совсем от рук отбились, галдят, трещат, крылья у них будто деревянные. И шиповник этот — глаза от него ломит. И ветер сквозной.

Развязки

Он пишет большой рассказ или — бери выше — повесть, страшную штуку с кровавой развязкой, так он ее называет.

Снова: убийство — самоубийство — смерть снова; уже и критики иные с ухмылочкой подсчитывают, не слишком ли завалены трупами гаршинские миниатюры — пощадите, г. Гаршин, нельзя же так, по нервам — и стальным гребнем, помилуйте, люди танцевать хотят, а вы им — трупы.

Даже в Пушкинском литературном кружке, коего вы имеете честь состоять членом и куда приглашаетесь, дабы публично читать ваши кровожадные творения, — и там после заседаний танцуют-с. И когда его превосходительство генерал Грессер, петербургский градоначальник, в каких-то своих видах приказал однажды отменить танцы в зале Павловой на Троицкой, где назначено было кружковое действо, вы, г. Гаршин, должно быть, заметили, что и народу на заседании поубавилось и ваш кошмарный рассказ про сумасшедшего с его нездоровой охотой за цветами, рассказ, которым вы снова хотели вздернуть бедного читателя на дыбу, прослушан был без обычного энтузиазма, и хотя вас по привычке, так сказать, на руках вынесли, б*о*льшая часть публики по случаю отмены танцев поспешила в буфет.

И такое понять можно и обижаться не след: устали люди, уста-ли, от ужасов, от смертей, от проклятых вопросов. Вы тщитесь эти вопросы задавать людям каждое мгновенье, людей сна и покоя лишить, по самому сердцу их проклятыми и жгучими вопросами вашими ударить, а людям грудь свою жалко, отдохнуть хотят, желают бодрости и веселья, и подлинная-то любовь к людям, возможно, в том как раз, чтобы им навстречу пойти.

Вон, взгляните-с — вы, впрочем, кажется, и сами уже изволили приметить, — благородный старик, скрипач, вы знавали его еще в гимназии, он учил вас музыке, а не считает зазорным играть на Фонтанке в танцклассе, не важничает, людям удовольствие приносит.

Да вы бы, чем мучиться и других мучить, поплясали, г. Гаршин, — отличное гигиеническое средство для приведения в бодрое состояние души и тела (к слову, и для пищеварения хорошо!); взяли бы хоть эту блондинку, по всем статьям очень даже недурна

(зовут, ежели угодно, Вандой), да прошлись с нею, вальсом, вальсом, не слезу же вам у нее вышибать, не про жгучие вопросы слушать она сюда явилась...

Он упросил приятеля сводить его в танцкласс, он должен был близко увидеть этих женщин, прикоснуться к трагедии, услышать страшную исповедь и после жечь ею сердца других людей.

Красавица блондинка заказала куриную котлетку и бутылку мадеры, выпила всю бутылку одна, съела котлетку и, постукивая вилкой о пустой бокал, молча слушала его и заметно скучала.

Полно, г. Гаршин, да посмотрите вы на вашу Ванду — по лицу видать, что и не вникает в то, что вы изволите говорить ей с такой горячностью, глаз не сводит с проносящихся мимо, кружащихся и скачущих пар, только и ждет, когда наконец пригласят танцевать странные господа. Но вы не приглашаете, знай расспрашиваете ее про жизнь, о которой она не желает задумываться, про минувшее, которого она не помнит и которое, сравнительно с настоящим, чудится ей обрывками давнего дурного сна, сами ее спрашиваете, сами же отвечаете, душевно о вашей даме печалитесь и даже немного плачете. Ванда натура добрая, ей вас жалко, расстроилась, добрый, красивый господин, вина не пил, а плачет, она и на танцы рукой махнула, хочет ехать с вами, но вы и тут наносите ей удар — быстро платите за ужин, прощаетесь и убегаете. Нехорошо-с!..

Он набросал несколько строк — стихотворение в прозе:

«Юноша спросил у святого мудреца Джиафара:

— Учитель, что такое жизнь?

Хаджи молча отвернул грязный рукав своего рубища и показал ему отвратительную язву, разъедавшую его руку.

А в это время гремели соловьи, и вся Севилья была наполнена благоуханием роз».

Но розы не цветут и не благоухают, вокруг темный лес, заполненный чудовищами, по-болотному пахнет гнилью и фосфором, странные цветы мертвенно светятся на змеистых стеблях, и соловьи не гремят, в глухом тяжелом воздухе резко взвизгивает скрипка, отмечая ритмы веселой польки, он замечает старого немца-музыканта, в гимназии старик аккомпанировал детям.

— Федор Карлович, — подходит он к скрипачу, — помните, вы играли нам элегию Эрнста?

— У меня четыре сына и дочь, — тихо отзывается старик. — Я не могу играть элегии Эрнста...

Он снова пишет историю Надежды Николаевны, давней своей героини. Страшная штука была задумана еще прежде «Происшествия», шесть лет прошло, теперь она ясно вырисовалась, до последней строки. Развязка в самом деле кровавая — три убийства, одно из них

самоубийство. Некуда деться от кровавых развязок, вот они слева, справа, только не желаем ни видеть, ни слышать, хотя и глаза даны, и уши, — привыкли, танцуем, взбадривая душу и улучшая пищеварение.

Танцуем, и в голову не приходит, что в вальсе кружимся, польку отхватываем с существами обреченными, с жертвами нашими. Статистика свидетельствует: более девяноста процентов женщин, занятых известным промыслом, имеют возраст от пятнадцати до тридцати лет, дольше не живут, гибнут, убитые образом жизни, вином, болезнями, петлей в грошовой конурке и прорубью на Неве, нами убитые; сорокалетних, утверждает статистика, «практически нет».

Статистика — занимательнейшая наука; недавно, к примеру, попала в руки любопытная статья о самоубийствах, число которых, к слову, все возрастает, — и что же: в статье подробно рассмотрены многочисленные способы лишения себя жизни, от старомодного кинжала и благородного револьвера до порождения цивилизованного быта, отвратительных жидкостей для выведения пятен с одежды и натирки полов, указано также предпочтение, отдаваемое личностью того или иного склада какому-либо способу (наиболее неуравновешенные прыгают из окон, с мостов, в пролеты лестниц, топятся в проруби). Но самое замечательное в статье, что причиной неуклонно растущего числа самоубийств господа ученые называют беспощадность современного строя жизни: таким образом, сама жизнь есть причина и, в известном смысле, способ самоубийства!..

«Вытащи ее!» — просит, молит героя повести его приятель — Надежду Николаевну из танцкласса, из всей этой ужасной статистики вытащи! Повесть пишется о том, как добрый и честный молодой человек, художник, Надежду Николаевну самоотверженно из одной жизни в другую вытащить пытался и как ничего у него не получилось. А ведь все уже, казалось, так удачно, так замечательно складывается...

Но является убийца-злодей и убивает почти спасенную героиню. И справедливый молодой человек карает зло, убивает убийцу, и тем себя убивает, потому что остаться жить убийцей не может.

Право, позавидуешь герою «Красного цветка»: разом уничтожить зло на земле и умереть счастливым, оттого что оставляешь после себя обновленный, прекрасный мир. Но кто подскажет путь, чтобы все зло — разом, да есть, ли такой путь?..

Добрые молодые люди, побуждаемые совестью, бросаются с открытой грудью на зло — и непременно попадают в тупик, в безысходность. Потому что, Надежду Николаевну из танцкласса вытаскивая, или добровольно на войне лоб под пулю подставляя, или, наконец, красками на холсте, пером на бумаге (не в том суть) созидая картину бедствий ближнего своего, даже малую толику великого и разнообразного всемирного зла не отколупнешь и не уничтожишь.

«Вытащи ее, вытащи!» — ах, если бы за дверями заведения на Фонтанке была оперная Севилья, с яркими звездами, сияющими на черном бархатном небе, с белыми домами, балконами, опутанными плющом, благоуханием роз, соловьиными трелями! Другая декорация на дворе. И знаешь, откуда вытащить, да не знаешь — куда.

В «Происшествии» Надежда Николаевна над картинкой в «Стрекозе» посмеялась: если не на панель, а в «чистое общество», так оно много ли лучше?

В новой повести опять про то же: жила бы, как все, сперва барышней «с загадочными глазами», потом вышла бы замуж, потом погрузилась бы в море бесцельного существования бок о бок с супругом, занятым необычайно важными делами на какой-нибудь службе, устраивала бы у себя журфиксы, воспитывала бы детей («сын в гимназии, дочь в институте»), занималась слегка благотворительностью и, пройдя назначенный господом путь, предоставила бы супругу случай уведомить на другой день в «Новом времени» о своем «душевном прискорбии»...

Так наш молодой человек рассуждает, движимый страстным желанием сделать для Надежды Николаевны что-то, в чем сам не может отчета дать, вот он уже любит и любим, вот уже, можно считать, «вытащил» — она ему позирует для его картины, зарабатывает в день по два рубля, да еще шьет, да к тому же переписывает огромную рукопись самодовольного вельможи — проект, согласно которому Россия должна быть облагодетельствована в самом непродолжительном времени, платья, в которых плясала, распродала, поселилась в скромной каморке с кроватью, комодом, двумя стульями и ломберным столом, служащим и для обеда, и для чая, и для письма, — какая тоска! Нечем жить. Речь не о деньгах, разумеется!..

Бедный молодой человек — он Надежду Николаевну жаждет к груди прижать (опять — грудь подставить!) и тем спасти. Круг заколдованный: «я прямо знал, что она будет моей женой» — будет женой академика живописи (за ту картину, для которой позирует, глядишь, звание и дадут), потом он профессора получит (она — профессорша), дети, журфиксы, благотворительность, в конце концов, такое же объявление в «Новом времени» — профессор живописи с душевным прискорбием сообщает...

Злодей и убийца Надежду Николаевну тоже любит, но вытаскивать не желает, он убежден, что падшие женщины к иной жизни не возвращаются никогда. Герой и злодей оба любят, ревнуют, борются за Надежду Николаевну, за обладание душой ее, в финале повести поединок убеждений оборачивается вооруженным поединком, погибают все трое, но спорили не о том.

Возвращаются?

Не возвращаются?

Некуда возвращаться!..

Злу ни шагу не уступать, зло казнить надо, необходимо, а непротивление — благоглупость. В повести главный герой, художник, и приятель его, тоже художник, оба картины пишут про эту потребность, необходимость казнить зло.

В повести удивительная картина задумана (приятелем героя), написать такую никому и никогда не удастся, в живописи она не воспроизводима, но — задумана и как замысел существует, вот что дорого!

На холсте Илья Муромец читает Евангелие, нагорную проповедь, и в недоумение приходит: как же это, если ударят в правую щеку, левую подставлять? «Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать?.. Нет, господи, не могу я послушаться тебя! Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя!..»

Осенью восемьдесят четвертого, от железнодорожной своей канцелярии отдыхая, он, Гаршин, провел пять дней в Киеве, осматривал и лаврские пещеры. Поразительно: Илья Муромец, былинный богатырь, вечный воин, удостоившись имени «преподобного», покоится себе среди священномучеников, затворников, постников и чудотворцев, между преподобным Исаакием, терпевшим искушение от демонов, и младенцем Иоанном, замученным идольскими жрецами. Всю жизнь убивал и вот — святой. Да потому и святой, что, убивая, — казнил зло.

Добрый молодой человек, художник, в финале повести про Надежду Николаевну казнью за зло воздает, но все равно — убивает. В «Четырех днях» такой же молодой человек убивает неприятельского солдата, который его убить хотел: «За что я его убил?.. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его?» Герой повести знает, за что, потому и убивает, но тем он и себя убивает, хотя казнил зло. К смерти себя приговаривает. Начнись все сначала, снова бы казнил — и тем снова приговор себе подписал.

Задавать вопрос каждый день, каждый час, каждое мгновенье, покоя людям не давать — это тоже из «Надежды Николаевны»: «Ты заставишь людей думать».

Кто не пляшет, тот думает.

Как жить?

Что делать?

Так что же нам делать?

Вот бы в самом-то деле счастье — одним цветком, как раскаленным углем, грудь прямо против сердца прожечь.

Мысль птицей мечется в тесной клетке, бьется — не согнуть железные решетки, не сломать.

И пусть бы еще прежний его герой, страстный Рябинин, вслед за «Глухарем» бросился бунтующего Илью Муромца писать — так нет же! В повести про Надежду Николаевну картину эту задумал приятель главного героя, художника и доброго молодого человека — тоже художник, тоже молодой человек и тоже очень добрый. Вообще-то он серьезных картин не пишет, а с немалой выгодой малюет на продажу котов, да вот замечтался... В «Художниках» Дедов с его гладенькими пейзажами и Рябинин — враги, но... Щедрин говорит: было время — теперь другое...

В Киеве у ворот лавры, за которыми покоятся святые мощи богатыря, на круглой афишной тумбе яркая зазывная реклама увеселительного сада «Шато-де-флер» — оркестры, танцы, оперетки, каскадные певицы, прекрасный буфет и электрическое освещение...

В киевских газетах он прочитал короткое сообщение: сельская учительница Радонежская покончила с собой, бросившись в девятисаженной глубины колодец, после того как гнавший ее училищный совет отнял у нее школу...

Круг своих

На передвижной выставке восемьдесят первого года Николай Александрович Ярошенко показал картину «У Литовского замка»: девушка в черном платье и черной шапочке, какие носят курсистки, напряженно вглядывается в крохотные оконца петербургской тюрьмы для политических. Случилось так, что выставка открылась день в день первого марта: в тот час, когда первые зрители подошли к холсту, неподалеку, на Екатерининском канале, девушка в черном платье, Софья Перовская, подала знак платком, грянул взрыв, царь Александр Второй был казнен. Картину, конечно, тотчас было приказано убрать с глаз долой, власти, однако, насторожились и проявили недвусмысленный интерес к убеждениям автора. Добро, был бы он, Ярошенко, только живописец, но он к тому же и артиллерии полковник, в оружейном ведомстве не последнее лицо. Начальство командирует его на Тульский, Сестрорецкий и Ижевский заводы для ознакомления с производством винтовок нового образца, а тут, пожалуйте, эдакий шедевр. Великий князь Михаил Николаевич, шеф артиллерии, генерал-фельдцехмейстер, страшно возмутился:

— Как можно? Ведь какие он картины пишет! Он просто социалист!

Призвали беседовать — и без обиняков: кого-де из преступных особ изобразили у тюремного замка — Софью Перовскую или Веру Засулич? А он и любит, чтоб без обиняков. Ни ту ни другую, ответил, поскольку не имел чести быть знакомым. А был бы знаком, наверно, изобразил бы. И тут же коротко и точно, потому что терпеть

не может уклончивости в суждениях: он запечатлевает на холсте то, мимо чего сегодня равнодушно пройти не может и что завтра запишется в историю...

Он часто думает теперь, запишутся ли в историю глухие, тяжелые годы, в которые выпала участь жить. «Холодно, одиноко, скучно...» — сетует Глеб Иванович Успенский, давний приятель.

Портрет Глеба Ивановича он выставил на Двенадцатой передвижной восемьдесят четвертого года. Написал Успенского — как привык видеть: Глеб Иванович с неугасимой папиросой в упавшей на колени руке устроился в сторонке, слушает внимательно или, может быть, рассказывая что-то, вдруг замолчал, как бывает с ним, надолго, паузы замечательно продолжают его сложно построенную речь; он молчит, его особенный мерцающий взгляд устремлен то на собеседника, то — с той же пристальностью — на бегущую к потолку синеватую струйку папиросного дыма, в глазах неутаенная скорбь, боль, мука душевная.

Кого из добрых знакомых ни берется в последние годы писать, Гаршина ли, Стрепетову, Михайловского, Михаила Евграфовича Салтыкова, непременно встречает в глазах эту тяжелую, скорбную думу, хочет того или нет — пишет ее, мимо равнодушно пройти не может, значит, и скорбь и дума окажутся занесены в историю.

Господа критики, за малым числом неизменно его хулящие, подняли крик о протаскивании «тенденции» в портреты. Они, критики, этот трагический взгляд с портретов заметили и уже спешат объявить, что Ярошенко-де исполнился желания запечатлеть в портретах психическую неуравновешенность некоторых лиц: среди житейских правил обывателей — стремление выдавать ранимое сердце, чуткую совесть за душевную болезнь; легче оберегать свой покой, когда ставишь знак равенства между равнодушием и душевным здоровьем. Люди, чьи портреты он пишет, подобно гаршинскому Глухарю, каждое мгновенье получают удар в сердце и не прячутся, подставляют сердце под удар.

Гаршин не скрывал, что писал Глухаря под впечатлением его, ярошенковского «Кочегара». Возле «Кочегара» много прошумело зрительских восторгов: в семьдесят восьмом, на Шестой передвижной, «Кочегар» был, что называется, «гвоздем», все прямо от входа бежали на него посмотреть. Некрасова вспоминали — «чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки», и Плещеева Алексея Николаевича — «о, не забудь, что ты должник того, кто сир, и наг, и беден», все были проникнуты сознанием долга народу, каждый личную свою вину перед народом чувствовал. Николай Константинович Михайловский провозглашал, что правда и высокие идеалы даются образованной части человечества благодаря вековым страданиям народа; «долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем», — каждый уважающий себя об-



разованный человек вслед за Михайловским повторял. Гаршинский художник Рябинин писал картину про Глухаря, тревожимый лежащим на совести долгом.

Но Кочегар — не Глухарь, он не корчится под ударами в темном котле: озаренный отблеском пламени, крепко стоит на земле могучими, пудовыми ножищами. За годы заводской жизни Ярошенко насмотрелся на рабочих людей — и на тех, чья грудь заменяет наковальню, и на тех, кто часами безостановочно (иначе заклепка остынет) взмахивает и бьет тяжелым молотом, лишь перекидывая его из правой руки в левую и обратно, и на тех, кто, по ловкому выражению журналиста, работает в «четвертой стихии» — в огне, в адском жару, среди раскаленного чугуна и железа, в воздухе, постоянно наполненном дымом, чадом, искрами. На его глазах сотни рабочих людей не выдерживают изнурительного труда, становятся калеками, гибнут, и все же число их на заводах день ото дня растет, содружество крепнет, набирает силу. Он и Гаршина на завод водил, показывал ему клепальщиков-глухарей, кочегаров, литейщиков, Гаршин с цепкой его наблюдательностью, конечно, не одни измученные, поникшие фигуры заметил — заметил, без сомнения, бодрых, окликающих друг друга веселой шуткой людей, заметил богатырские груди, стальные плечи, мускулистые руки. Но Гаршину свое дано запечатлеть для истории, ему, Ярошенке, — свое.

Они с Гаршиным познакомились на той памятной выставке, где русской публике «Кочегар» был представлен. Эта выставка — его, ярошенковские, «Четыре дня»: вчера жил да был никому не ведомым артиллерийским офицером, на досуге занимался живописью, а сегодня утром все газеты о нем трубят и критики сшибаются в боях возле его полотен.

Публика от «Кочегара» торопилась к его же «Заключенному», Владимир Васильевич Стасов объяснял, что одиночная камера, запечатленная на холсте, не что иное, как «мир среднего сословия», судьба людей, которые долг народу отдать пожелали.

Заключенный взобрался на маленький тюремный стол (на столе кружка с водой и Евангелие — пожалованная узнику пища телесная и духовная), сквозь узкое, забранное железной решеткой оконце задумчиво смотрит на «волю». «Воля» — зарешеченный кусочек светлого неба — и память, воображение, мысль, против которых бессильны каменные стены и железные прутья. Заключенный написан со спины, лица почти не видно, ни глаз, ни рук, надо было характер человека, убеждения, судьбу — все в этой спине передать. Соблазн был — героизировать, он не поддался: секрет был как раз в интеллигентской обыкновенности — узковатые плечи, слегка сгорбленные, некоторая расслабленность движений. Заключенный спокоен, нена-

пряжен, даже несколько неловок, ему нужды нет, что называется, «держаться»: он убежден, что живет, действует, думает правильно.

Заключенный писался с Глеба Ивановича Успенского, и не потому, что у Глеба Ивановича спина, затылок, кусок лица, попавший на холст, оказались подходящие, — привлекала цельность его, убежденность, вот что надо было написать, передать.

«Жить для чужих». «Приносить ближнему пользу». «Отдать душу за обиженного человека». Слова Глеба Ивановича не призывы — исповедь. В ту пору тысячи людей жили, отдавшись лучшим побуждениям души, вера в будущее ни в тюрьме их не оставляла, ни на каторге, оттого в «Заключенном» нет уныния: сквозь щель тюремного оконца будущее виделось ясно.

Теперь Глеб Иванович повернулся к зрителю лицом. Задумался глубоко и зовет разделить нелегкую думу. Настало время как бы заново написать прежних своих героев, тех, кого писал у Литовского замка и в Литовском замке, кто, по слову Успенского, служил народу сердцем, умом и мечом, написать вопреки модным теориям, противопоставившим «герою» — «будничного человека», «мечтателю» — «добросовестного практика», «идеальным задачам» — «малые дела». В безвременье надо заново написать героев, мечтателей, не поддавшихся обстоятельствам. Остановились в задумчивости, но их дума, тягостная, порой безысходная, — вызов действительности, в их тягостной, безысходной думе больше идеалов, мечты, будущего, чем в усредненных деяниях самодовольных практиков.

Людей, в глухое время-безвременье не утративших идеала, Николай Александрович Ярошенко каждую субботу встречает у себя. Являются люди, чьи имена у всех на слуху, товарищи-передвижники, писатели, артисты, университетские профессора — и никому неизвестные, студенты, приятели хозяина, и курсистки, опекаемые хозяйкой, Марией Павловной, энергичной деятельницей женского образования, и доброй ее матушкой, Анной Естифеевной. В комнате матушки тесно от корзинок, узлов, баулов, пачек с книгами, оставленных на хранение молодыми людьми и барышнями, нередко сами барышни остаются здесь переночевать, бывает, заживаются на недели и месяцы до приискания урока и недорогой фатерки.

Многие знают про ярошенковские «субботы». Так уж ныне повелось — каждый назначает свой день для приемов, можешь целую неделю напролет ходить по знакомым, найдутся «понедельники», «вторники», «среды», не заметишь — ты уже у кого-нибудь на «воскресенье», а там начинай сначала. У одних сытный ужин и разнообразная выпивка, у других веселье, танцы и даже костюмированные вечера, у третьих — элемент семейный, беседы о службе, о заботах домашних, о детях, сплетни о знакомых, у которых вчера был на

«вторнике» или «четверге», о службе этих знакомых, об их детях, у четвертых просто собираются как бог на душу положит, потому что вокруг журфиксы, значит, без них нельзя.

Николай Александрович квартиру снимает в доме № 61 по Сергиевской улице, в четвертом этаже. Ниже помещаются жилые апартаменты китайского посольства. Когда поднимаешься по лестнице, расписанной цветами и амурами, попадаются навстречу точь-в-точь такие китайцы, каких рисуют в иллюстрированных журналах — косица на макушке, тонкие свисающие бечевкой усы, голубая кофта с желтым драконом на груди. Вот молодая китаянка, густо набеленная и нарумяненная, с бумажным цветком в неподвижной затейливой прическе. Вот желтолицая морщинистая старуха неслышно скользит в толстых войлочных туфлях. Но, бывает, увидишь лощеного, европейски одетого господина — черная тройка от лучшего портного, по жилету золотая цепь с брелоками, проходя мимо, сверкнет бриллиантовым перстнем на указательном пальце, обдаст дымком дорогой сигары: если не вглядишься в черты лица, в разрез глаз, нипочем не отличишь от важных петербургских господ и прочих хозяев века. Увидишь, и тотчас сомнений нет, что в загадочном Китае, как по всему свету, именно такой господин правит бал, платит за ужин и заказывает музыку, а косы, драконы, витые колонны причесок с желтыми бумажными розами — декорация, пестрая картинка на обертке лучшего черного чая, оплачиваемого звонкой монетой (по 57 рублей за пуд). На лестнице — непривычный для русского носа запах соевого масла; на вопрос: «Чем это у вас пахнет?» — важный старик швейцар невозмутимо отвечает: «Дракона жарят».

Кому-то выгодно время от времени распускать слухи, что по субботам у Ярошенко чуть не конспиративные сходки — чепуха несусветная! Послушали бы досужие сплетники, какой оглушительный хохот стоит в квартире, когда Михайловский (манеры изысканные, как у чистокровного лорда), оглядев присутствующих холодными серыми глазами, вдруг рассыпает над столом свои сарказмы — и снова умолкает, без тени улыбки на лице. Или когда Стрепетова яростно читает отрывки из драматических поделок, бесконечно присылаемых ей для бенефиса жаждущими славы авторами. Или когда Анна Естифеевна в неизменном белом платке, завязанном по-деревенски (узелок выше лба и концы платка «рожками»), под громовую овацию вносит на блюде источающую тонкий пар разварную рыбу с овощами и хреном. На субботних собраниях веселья хоть отбавляй — шутки, розыгрыши, кругом испытанные острословы, он сам, хозяин, числится одним из первых, правда, признаться, несколько резковат. Ничего сплетники не подслушают, разве что из подъезда прижмутся ухом к замочной скважине — конспирации, конечно, никакой, но не для всякого свободный вход. Бывает (не без того), затешется на вечер некто прельщаемый тщеславной возможностью

других посмотреть и себя показать (назавтра: «Вечор с Глебом Успенским беседовал, Стрепетову слушал, с Гаршиным чай пил» — сладко!), затешется, но нипочем не удержится: либо заскучает, невзирая на шутки и смех, либо понять дадут, что лишний, — нечего греха таить, и сам хозяин и его гости умеют создать вокруг нежелательного посетителя холод и неуют.

Ежели угодно со знаменитостями повстречаться, всего лучше отправиться на Знаменскую, угол Бассейной, в пятый этаж, к Якову Петровичу Полонскому на «пятницу». Кого там только не увидишь! И Антон Григорьевич Рубинштейн на рояле сыграет, и Савина монолог произнесет, и старик Гончаров (уже давно классик!) пожалует, и сам хозяин в стареньком осеннем пальто взамен халата приветливо подойдет к тебе, постукивая костылем, и за руку возьмет, и точно для тебя одного, хотя прежде знакомы не были, стихи прочитает. Туда и министры наезжают, и владельцы газет, и финансовые тузы. Гаршин однажды на Победоносцева наскочил: обер-прокурор синода, бледный, без кровинки в лице, с посиневшим, точно от мороза, прямым тонким носом, с тусклыми холодными глазами, держа Якова Петровича под локоть, скучно объяснял ему, что уже лет десять, иначе как по делу, русских стихов не читает.

Гаршин после «пятниц» у Полонского на ярошенковские «субботы» приходит удивленный и расстроенный: люди на Знаменской собираются интересные, но очень уж разнокалиберные. Речь не о калибре личности или дарования — речь о взглядах, убеждениях, нравственных представлениях.

У него, у Ярошенко, на Сергиевской, конечно же, не конспиративный кружок, но все же собираются единомышленники — в отношении к людям, событиям, общественным явлениям. Поют, рассказывают, читают стихи и прозу, музицируют, острят, но, развлекаясь и веселясь, не «отдыхают от работ, забот и всяких сложностей жизни», как с нарочитым пренебрежением, побранивая «вопросы» и «проблемы», изволят выражаться иные господа газетчики: «работы, заботы и сложности жизни» в равной степени тема серьезных разговоров и острот.

У Герцена превосходно сказано: служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном. Здесь для него, для Ярошенко, каждое слово дорого: «центр», «связь», главное — «круг», свой «круг». Свой круг собирается на Сергиевской, чтобы в обществе разобщенном не чувствовать себя одиноко, чтобы в обществе скованном уберечь свободную мысль, совесть, мечту.

Потому-то каждую субботу он, Николай Александрович Ярошенко, ждет нетерпеливо, пока гости, один за другим, преодолеют крутизну лестницы, расписанной по стенам цветами и амурами, и, раскланявшись на пути с вежливо улыбающимися китайцами и цере-

монными китаянками, надышавшись запаха «жареного дракона», повернут наконец бронзовый ключик звонка, вделанный в тяжелую резную дверь квартиры четвертого этажа. И подчас думается ему, что память о субботних собраниях — а не одни его холсты — тоже запишется в историю.

Итоги

Мудрый Эзоп, спускаясь с горы, плакал — оттого что когда-нибудь придется снова взбираться на гору...

Критики и поныне привычно кивают на Всеволода Гаршина, вспоминая «наших молодых беллетристов», а Всеволоду Гаршину тридцать минуло, впереди четвертый десяток — крутою горою.

Правду сказать, жутковато, и хочется плакать, как плакал Эзоп: столько крутых гор позади, а все чудится — настоящая жизнь еще и не начиналась, только начнется; все, что успел, прожил, передумал, — лишь подготовка к этой настоящей жизни.

Но, глядишь, пора сводить итог.

Итог неутешителен, и не потому, что успел ничтожно мало, а потому, что с каждым годом все меньше надежд сделать что-нибудь, все ждешь команды — «Отдать швартов!», а надо, наверно, не ждать, надо рубить канаты; если бы вихрь внезапный, ураган, подхватил, понес, бросил в гору, с горы, в пучину...

Будто застрял в тесной лощинке: не то что вихря — движения воздуха ни малейшего...

Михайловский написал про его рассказы: Гаршин показал пробуждающегося человека, который ощупью, но уже настойчиво ищет выхода из бездны мрака и лжи, куда повергла его тысячелетняя история.

Ощупью из бездны: руки в ссадинах, ногти ободрал о камни, а бездна на то и бездна — не выберешься... Одна надежда — звезды высоко над головой.

...«Надежда Николаевна» имела некоторый успех у читателей, критика, однако, обрушилась на автора (по самого же автора свидетельству) со «смертельным мордобоем». Гонение продолжается, повесть, несомненно, заслуживает многих и многих упреков, но ему скучно читать про «натурализмы», «романтизмы», «протоколизмы», «мелодраматическую чепуху» (выразился один солидный критик — обидно, конечно, но тоже скучно читать): он ищет выход из бездны, а не «образов у Зола и Флобера», как ему доказывают.

Конечно, признает он, старая манера навязла в перо, попытка ввести в дело несколько лиц решительно не удалась, он готов переучиваться, но не того ради, чтобы туда, где прежде один герой действовал, теперь запускать дюжину: чт*о* сказать и к*а*к, чтобы

звезды проникали до самого сердца людей, чтобы человек нашел путь к звездам, — вот крутизна, которой не одолеть.

История Радонежской обдумывается, но не пишется. Скорей всего, сюжет и сам бы привел к такой развязке, но когда жизнь подсказала — страшно! Человек потянулся к звездам, а его в бездонный колодец вниз головой. Объяснят, соответственно выкладкам ученых, душевной неуравновешенностью, но повесть должна быть про беспощадную руку, которая подвела к роковому краю и сбросила вниз. Теперь всякий иной конец будет фальшью; впрочем, он и раньше был бы фальшью: немыслимо написать честную повесть о благополучном подвижнике — век не позволит. У знакомой докторши, работавшей в деревне и всякий раз приходящей на память, когда он думает о Радонежской, судьба счастливее: то ли дифтеритом заразилась, то ли тифом — умерла, так сказать, естественной смертью...

Старая погудка: век мой назади, век мой впереди, а на руке нет ничего.

Впору плакать: с горы на гору перебираясь, никак не взберешься на новую Аясларскую высоту — все, с чем явился в этот мир, снова разом под пулями отдать.

Может быть, впрямь не его век на дворе, чужой век, и дождешься ли своего...

Надсон пишет ему из Ниццы или из Ментоны: за что такая кара, Всеволод Михайлович, неужели ничего больше свершить не дано?

Надсон обречен: его прошлому суждено стать его будущим.

Но, может быть, и он, Гаршин, точно так же обречен, может быть, и он свой будущий век уже прожил?

Исполнил предназначение — выговорил, выкрикнул, разбудил, ударил...

Один короткий век отпущен ему судьбой, один Аяслар...

Дядя, Владимир Степанович, привозил в Ефимовку для детей механические игрушки; заводной медведь был особенно хорош: ходил на задних лапах, а передними стучал в медные тарелки. Но пружина раскручивалась, он внезапно останавливался, не успевая напоследок еще раз зазвенеть своими тарелками, передние лапы замирали в самом нелепом положении...

Старик Плещеев рассказывает: в ночь перед казнью ему приснилось — страшные звероподобные люди ведут его куда-то закованного в цепи, шапка надвинута ему на глаза, вдруг раздается звон колокола, мучители исчезают, он разрывает путы, сбрасывает шапку и видит себя на высоком берегу просторной голубой реки, впереди — залитая солнцем степь, ясное небо...

Плещеев помнил свой сон, когда наутро его с другими приговоренными к смерти товарищами-петрашевцами вели на Семеновский плац и когда к столбу привязывали, надели на голову холщовый

колпак. Когда же после оглушающей барабанной дроби в мертвой тишине объявили им государеву милость, все существо его охватило острое счастливое чувство, что жизнь только начинается и жизнь длинная.

Через длинную жизнь пронес старый поэт верования юности, и не было века, про который он сказал бы, что — не его век.

На собраниях Пушкинского кружка — в Знаменской гостинице или в зале Павловой на Троицкой улице — он, волнуясь, как начинающий, поднимается на эстраду, его встречают овациями, и он, седобородый старец, патриарх, «падре», сегодняшним молодым читает стихи, написанные, наверно, четыре десятилетия назад: «Вперед — без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья!» — читает, да так вдохновенно, с такой верой в каждое слово, что и не замечаешь некоторой однотонности в голосе его: «Вперед, вперед — и без возврата, что б рок вдали нам ни сулил!» — как всегда с особенною силою бросает он в зал последние строки и уходит, изнеможенный, при громе рукоплесканий.

У них оказался долгий завод, у людей сороковых годов и шестидесятых...

Летом восемьдесят четвертого Илья Ефимович Репин взялся писать его, Гаршина, портрет и необыкновенно хорошо написал. На репинском портрете он сидит за письменным столом, обернувшись к зрителям, потребность говорить сжигает его, во взгляде, в тревожно приподнятой брови чудесно передалось мучительное желание сказать людям нечто и вместе боль неведения, нескончаемый вопрос, но уста замкнуты и в пальцах нет пера, руки бессильно лежат на столе...

После сеанса засиживались в мастерской у Ильи Ефимовича, спохватывались иногда совсем поздно — светлой летней ночью Репин отправлялся его провожать. Дачу они с Надей не снимали — не по карману, да и ездить на службу затруднительно, пристроились у Надиных родных, на сухопутной таможне — закопченное дымами локомотивов кирпичное здание в конце Петергофского проспекта (тоже почти за городом). Илья Ефимович доводил его до калитки, окна в доме распахнуты настежь, плещутся на ветру легкие палевые занавески, за окнами ярко освещенная гостиная, лампы в белых матовых шарах-абажурах на зеленом сукне столов — снова к хозяевам набежали гости и снова играют в винт. От калитки поворачивали обратно — теперь он шел провожать Репина...

Прежде чем приняться за портрет, Илья Ефимович писал с него этюд для головы царевича в «Иване Грозном».

Он шутя говорит Репину, что отдал ему в картину немного своего профиля, зато взял взамен орудие убийства: заметил ли Илья Ефимович, что герой-художник в «Надежде Николаевне» казнит зло-

дея тяжелой палкой с острым стальным наконечником — не царский посох, конечно, всего лишь опора для большого зонта, который летом защищает от дождя и солнца, но вот ударил четырехгранным железным острием — и убил...

Сколько кричат возле репинской картины: «Кровь! Кровь! Зачем столько крови!» Но ведь и нужно, чтоб кричали, поняли, ощутили ужас кровавой жестокости «свежевания», чтобы каждый на себе эту кровь почувствовал...

Неужели нет предела, черты, конца, неужели такое надо людям на глаза представить, таким посохом ударить в сердце, чтобы остановились, задумались хотя бы?

Илья Ефимович рассказывает (точь-в-точь его, гаршинский, художник Рябинин), как страшился своей же картины, и прочь бежал, и возвращался — могучая сила толкала к холсту. Кровь, убийство, этот убийца-самодержец, пробудится ли в нем человеческое что-то?

Репин не побоялся написать кровь: красота вся в правде, говорит он, окружающая жизнь просится на холст, действительность слишком возмутительна, чтобы писать ковры, ласкающие глаз, век толкает к холсту, и на времени замешиваются краски: вот ковер, залитый кровью, а узоры пусть выводят благовоспитанные барышни...

Пока «Иван Грозный» был выставлен на передвижной, просто сил не хватало с ним расстаться: всякий день по дороге на службу, к железнодорожным тарифам и номенклатурам, непременно успевал хоть полчаса постоять перед картиной. Пошлая фраза — но всякий раз, право, отыскивал на холсте нечто очень существенное, чего не замечал накануне.

Он убежден, что такой картины в России еще не было, ни у Репина, ни у кого другого, он желал бы осмотреть все европейские галереи, чтобы сказать то же и про Европу.

Всегда находятся люди, оправдывающие и возвышающие свой век; современники тянутся за ними в помыслах и чувствах, возле них обретают уверенность, что недаром живут на земле. Репин из таких людей, и можно радоваться, что угадал оказаться на земле в одно время с ним...

Картину Репина гонят с выставок, сам властительный Победоносцев против нее ополчился. Прежние картины Репина, заявил, реализмом и обличением были ему противны, а эта просто отвратительна, она оскорбляет нравственное чувство верноподданных соотечественников.

На выставке Победоносцев увидел портрет самого художника: черты его лица, прибавил обер-прокурор синода, вполне объясняют, что ничего доброго и высокого такой человек создать не в силах...

Прекрасный, искреннейший Илья Ефимович, искреннейший всякую минуту, неуемный в благожелательности и яростный во гневе, истово влюбляющийся и нежданно разочаровывающийся, Илья Ефимо-

вич, талантливейший в каждом мазке своей кисти, в каждом своем суждении, пусть самом спорном, даже в самих неожиданных вспышках любви и гнева талантливый — и вот, пожалуйста, ждать от него нечего: черты лица, как полагает вершитель судеб российской нравственности, неподходящи.

Теперь в моде господин Ломброзо: довольно ощупать шишки на черепе, измерить нижнюю челюсть или расстояние между глазами, приглядеться к форме носа — вот вам весь человек, его убеждения, верования, предназначение на земле. Как удобно — раз и навсегда: вор, художник, убийца, государственный муж, добродетельная мать или барышня с панели. Вот уже и лекции читают, что у проститутки челюсть на полтора миллиметра больше выступает вперед, чем у приличной дамы. Так злодей-убийца в «Надежде Николаевне» участь ближних и дальних заранее у себя в голове разложил по ящичкам и отделеньицам и героине пожизненный приговор подписал. Убил — но себе ошибиться не позволил.

А Репин, по собственным его словам, не устает восторгаться каждым лицом человеческим, как не устает изучать его. Взгляните на портреты, на картины, им написанные, — какие глубины духа, какие тончайшие изгибы души, может быть, и самому человеку-то неведомые, вдруг выказывают себя в малейшей черточке запечатленного Репиным лица!..

Теперь он, Гаршин, опять Илье Ефимовичу понадобился: позирует для новой картины «Не ждали». Картина, собственно, закончена и показана публике, но Илья Ефимович хочет главному герою еще «лицо поработать». Политический вернулся из ссылки, после долгих лет отсутствия переступил порог родного дома, на состарившемся прежде времени лице — радость, тревога, уверенность, что пережитое надо было пережить.

Рецензент «Московских ведомостей» (тоже, поди, все по ящичкам и отделеньицам!) объяснил, что политические преступники самой своей наружностью не вызывают симпатии ни в одном истинно русском человеке. От этой подлости, публично заявленной, герой картины сделался для художника еще яснее и привлекательнее; они там, в ссылке, сохраняют чистоту и совесть, которые благонамеренные господа, даже не чиня подлостей, но смиряясь с ними, пятнают и разменивают; необходимо нужно в лице героя это передать: опаляюще-тревожный вопрос — как тут люди живут и как ему с ними дальше жить"?..

Илья Ефимович горячо просит, убеждает посидеть несколько сеансов. И просить не надо: быть у него в мастерской, смотреть, как он работает, — такая радость!.. Вдруг оборвет беседу на полуслове: «Почитайте, голубчик, вслух что-нибудь?..» Достаешь из кармана книгу, взятую в дорогу, большей частью Диккенса; Илья Ефимович, маленький, проворный, с длинной кистью в правой руке, в ле-

вой — огромная палитра, быстрыми, точными движениями там, здесь касается холста, отбегает от мольберта, взглядывает издали и снова устремляется к картине; но читаешь не впустую, слушает внимательно, — не выпуская из пальцев кисти, неловко изогнув руку, смахивает слезу или вдруг в ярости бросает палитру, топает маленькими ногами: «Негодяи, негодяи!..»

Глупейшая особенность организма — отказываться от табака, если худо на душе, если не пишется! Пишется между тем все реже и реже, табак пересыхает и крошится в пыль, гильзы мнутся, машинка для набивки папирос пребывает в бездействии, сидящая на пепельнице каменная ящерица с отбитым хвостом, похоже, уверена, как та, в его сказке, что хвоста она лишилась за убеждения. Пора отвыкать от сладкой уверенности, что ты писатель; как просто на постоянный, больнее пули ранящий вопрос, ежедневно кем-нибудь задаваемый, отчего так мало пишет, отвечать, что вообще не пишет — служит. К слову сказать, участвовал в конкурсе и весьма солидную премию получил за изобретение некоего приспособления к вагонам для перевозки хлеба, по каковому поводу Надсон письмом из Ментоны посулил ему великую железнодорожную будущность.

Только привычка и высокие примеры, Лев Николаевич или Михаил Евграфович, заставляют множество людей твердить зады об особенной миссии писателя. Журналы заполнены рассказами, повестями, романами с продолжениями, авторы которых и отдаленной мысли о какой-либо миссии своей в голове не держат и оттого не способны напомнить о ней ни единым словом, потом те же романы, повести, рассказы соединяются в томы сочинений и собраний сочинений, стоят на полках книжных магазинов и часто забываются до того, как будут прочитаны. Поразительный дар говорить, когда сказать нечего, и кажется даже, чем меньше есть что сказать, тем больше находится слов. У него, по крайней мере, совесть спокойна — молчит!

Сочинять свою значительность на ниве литературной столь же пустое занятие, как, допустим, воображать, что, подшивая в папки протоколы комиссий тарифной и по поверке вагонов, ты присутствуешь у самого кормила государственной власти и, остановись ты на мгновенье, произойдет всеобщее замешательство: поезды начнут передвигаться задним ходом, свиньи, телята и пейзане поедут в первом классе, а действительные тайные советники и генерал-аншефы в скотских вагонах, при провозе сочинений Гаршина будут брать по десяти копеек за строчку и проч.

Легче всего валить вину на век, на время-безвременье: «остановившаяся в своем течении жизнь», как принято красиво выражаться, не подбрасывает хвороста в творческий костер. Но жизнь всегда жизнь, во всякий век. Живут рядом Лев Николаевич, и Михаил Евграфович, и Илья Ефимович Репин... Жизнь одинаково ка-

сается до многих людей, но в одном десятки и сотни струн, способных рождать в ответ на всякое прикосновение множество мелодий, поразительную по силе и красоте музыку, в другом — всего-то одна-две струны, раз-другой звякнули, и нечего больше играть, не брать же годами все одну и ту же ноту...

Он с ужасом думает, что с ним произойдет, если добрый управляющий делами Франц Егорович Фельдман получит новое назначение или, не приведи бог, умрет. В канцелярии Общего съезда секретаря Всеволода Гаршина держат, конечно, только из жалости, трудно себе представить, сколько лишних хлопот взвалил на свои плечи Франц Егорович, опекая его и притом стараясь еще способствовать его «литературной деятельности», — помилуйте, ну кому, кроме сего, должно быть единственного в мире, великодушного столоначальника, нужен секретарь с «литературной деятельностью», вдобавок с постоянными приступами тоски и меланхолии, глазами на мокром месте и унылыми раздумьями о бедствиях человечества! Куда как просто найти исправного чиновника, дельного, с хорошим почерком, без настроений, в служебные часы во всяком случае, способного в любой день недели выкурить свои двадцать папирос...

По просьбе общества для пособия нуждающимся литераторам — Литературного фонда, которого он, Гаршин, состоит деятельным членом, он навещает оставшихся без средств к существованию писателей, их вдов и сирот. Ищет убогие квартирки на задних дворах и черных лестницах. Пробирается в тесные комнатенки, узкие, как гроб, многие из них, оттого, наверно, что выгорожены кое-как на чердаках, в кухнях и чуланах, странно неправильной формы, треугольные или в виде трапеций, в комнатах холодно, пахнет сырой одеждой и дурной пищей, здесь просят о целковом, об устройстве детей в сиротский приют. Довольно один раз прогуляться в ночлежку, найти в углу огромного, грязного помещения, битком набитого бездомными, нищими, пьяными, товарища по перу — ожидал глубокого старца встретить, но в дальнем углу, как ни темно было, разглядел молодого (тридцати нет) человека: знакомый страшный недуг заставляет его долгие месяцы обретаться в больнице, а оттуда куда денешься, коли нет никого близких на свете, — только сюда, в ночлежный дом. Звал несчастного в ближайший трактир, хотел накормить обедом, но тому не в чем было на улицу выйти, отдал ему пять рублей — все, что с собой было: пожалуй, впервые подумал, что сойти с ума иной раз не в пример лучше, чем голод и сума...

Надсона — лечиться или умереть — провожали за границу как гордость отечественной литературы, Антон Рубин-

штейн ему на фортепьяно играл, Давыдов, профессор консерватории, на виолончели, Плещеев и Полонский стихи читали, поклонники толклись у одра его от зари до зари, молодые поэты чуть не благословения просили, дамы несли охапками розы, почтенные деятели с умирающим юношей равную беседу вели, обитала же больная гордость отечественной литературы в душной комнатке, выходившей на пыльный и грязный задний двор, окна упирались в мрачную кирпичную стену соседнего дома, и, если бы не собранные благотворителями три тысячи, не видать бы Надсону краев, где апельсины зреют, — по сердитому замечанию Салтыкова-Щедрина, изныл бы на Песках. Три тысячи, конечно, не один рубль, который попросил у него, у Гаршина, старый писатель, умиравший в нищете от воспаления мозговой оболочки (дал десять в счет будущего пособия Литературного фонда — больше в кармане не оказалось), но от трех тысяч милостыни, пожалованных на краю могилы, можно сойти с ума так же, как от целкового...

Попалась в руки история Робинзона Крузо, не тот, с малолетства знакомый роман англичанина Даниеля Дефо — книга французского писателя Сентина, и вдруг глубоко тронула, он решил ее переработать для детей взамен прежнего «Робинзона». У Сентина мореплаватель, выброшенный после кораблекрушения на необитаемый остров, мучается одиночеством, дичает, звереет.

Ему предоставлена возможность жить по законам добра и разума, самим собой и для самого себя созданным, но человеку одного себя мало, ему необходимо жить и создавать рядом с другими и для других, один человек бессилен создать прекрасный мир, даже одного себя сделать лучше бессилен.

Николай Константинович Михайловский говорит, что герои Гаршина гибнут в стремлении положить душу свою за други своя; они обречены на гибель, но только одно это стремление и может в настоящее время заставить человека жить.

Если бы знать, где та крутая гора, чтобы взобраться, броситься в огонь, душу положить...

Он месяцами не берется за перо, и стопа чистой бумаги давно убрана с письменного стола.

Живешь как под водой, шевелишься замедленно и вяло, воздуху не хватает, и совершенно не знаешь, что с душой своей делать...

Субботние вечера

С Михайловским они видятся у Ярошенок, по субботам.

Торопливо поднимаешься по лестнице на четвертый этаж — нигде так ужасно не ощущаешь одиночество, как в подъезде: сворачиваешь с людной улицы, тяжелая дверь, точно выстрел, бухает за твоей спиной, и ты уже один на дне мрачного колодца, гулкого и холодного, цепляешься за перила, задыхаешься, торопясь выбраться из него поскорее, с ожесточением крутишь бронзовый ключик звонка. А после, на обратном пути,из пронизанного человеческими голосами, взглядами, теплом человеческим пронизанного пространства квартиры — снова в этот гул, знобкость, глубину, куда стараешься не заглядывать, — бежишь, почти взлетая на крутых поворотах площадок, пока, оглядевшись, не замечаешь себя на улице, в толпе пешеходов, и ретивый извозчик, притираясь к тротуару, пугающе кричит тебе в спину: «Барин, поберегись!..»

Ярошенко встречает дорогого гостя в передней, отстраняя прислугу, сам принимает у него пальто, ужасная неловкость, поневоле начинаешь спешить, пуговицы не расстегиваются, и рука не вылезает из рукава, потому что зажал в ней шапку.

Николай Александрович очень красив, южной, для него, Гаршина, привычной с детства малороссийской красотой: правильные черты смуглого лица, черные волосы и борода, тронутые редкой, но очень приметной сединой, взгляд горячих черных глаз прямой, властный. Глядя на Николая Александровича, никогда не забудешь, что он человек военный, и дело не только в развернутых плечах, прямизне спины, четкости походки, уверенной речи, — и в движениях его, и в словах есть привлекательная определенность: точно всякий раз он делает единственное движение, какое мог сделать, произносит единственное слово, какое мог произнести.

Николай Александрович берет его под руку и ведет в мастерскую или в столовую, в дверях столовой предостерегающе поднимает палец — просьба к гостям не звенеть посудой: Всеволоду Михайловичу это неприятно.

Его место на том конце стола, где сидит хозяин, — это места «старейшин», места «первородства», как именуются они среди посетителей «суббот». Если с ним Надежда Михайловна, ее ведут на противоположный конец, к хозяйке, здесь вокруг Марии Павловны, на местах «чечевичной похлебки», теснится молодежь. Но почет тебе в любой части стола одинаковый, оглянуться не успеешь, какая-нибудь курсистка (девочка совсем) в перешитом из гимназической формы платьице вовсю нападает на Михайловского, он же, отложив салфетку и взглядывая на

свою оппонентку холодными глазами, готовится держать ответное слово.

Да и Мария Павловна не уступает супругу в точности и уверенности речи; разве что, разгорячась, занимает слишком крайнюю позицию в споре и даже перед стальной логикой супруга сдаваться не желает.

Мария Павловна лицом тоже очень хороша, и глаза такие же, как у Николая Александровича, черные, жаркие; с годами, правда, Мария Павловна сильно располнела, оттого носит широкие черные платья, но в комнате у Анны Естифеевны над креслом-качалкой большая фотография: Мария Павловна — худенькая девушка в белом; домашние иногда называют девушку на портрете «невестой Некрасова» (кресло-качалка, рассказывают, тоже принадлежало поэту), подробностей никто, понятно, не выспрашивает — тайна сия глубока есть...

После ужина читают непропущенные цензурой сказки Салтыкова или из рук в руки передаваемую, также запрещенную к печати статью Толстого.

Стрепетова читает: кутаясь в черную шаль, поднимается с места, маленькая, на вид убогая, «горбатенькая», как ласково между собой называют актрису друзья, с острыми чертами некрасивого лица, — встает, сжимая пачку густо исписанных листов в худых желтовато-бледных руках, первую фразу читает, как бы примериваясь, за ней другую, тоже вроде бы раздумывая, и вот нашла, ухватила ниточку, суть, опалила слушателей огнем, страстью, мыслью — прекрасная женщина, скорбное бледное лицо, спина распрямилась, вся она, Стрепетова, как натянутая тетива, тонкие бледные руки, словно скованные браслетами, — страдалица, пророчица.

Глеб Иванович Успенский, отодвинувшись в сторонку от стола, принимается рассказывать о последней своей поездке по городам и весям. Однажды утром в пермской гостинице услышал он какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звенят, или, как в Ленкорани, караван идет с колокольчиками, — рассказывает Глеб Иванович. Выглянул в окно: из-под горы идет серая, бесконечная масса арестантов. Он смотрел на закованную толпу, все знакомые лица — мужики, господа, воры, политические, бабы, человек не менее полутора тысяч — все валило из России в Сибирь. И так его потянуло вслед за ними, как никогда не тянуло ни в Париж, ни на Кавказ, ни в какие бы то ни было места, где виды хороши, а нравы того превосходней. Мы томимся, скучаем, мучаемся, пьем чай с вареньем от скуки, лжем и опять мучаемся, а эти люди не выдержали такой жизни — и ему, Глебу Ивановичу, захотелось идти с ними, чем изживать теперешний век, бесцветно, скучно

и неумно... Глеб Иванович говорит тихо, отрывисто, перескакивая с одного на другое и замолкая надолго, но в конце концов и слова, и паузы, и отрывочные, казалось, мысли, и непроизвольный частый жест его — два пальца к груди, точно болит сердце, и задумчивое раскуривание одной папиросы от другой — все связывается, соединяется в нечто необыкновенно цельное и крепкое.

(У Полонского в минувшую пятницу Рубинштейн играл шопеновскую сонату с похоронным маршем — невозможно было сдерживать слезы; от рояля Антон Григорьевич сел за ломберный стол — чудо кончилось...)

Немыслимо преодолеть себя, рассуждать о литературе после Михайловского, читать после Стрепетовой, рассказывать после Глеба Ивановича, да никто и не требует от него ни того, ни другого, ни третьего. На душе у него становится хорошо и спокойно, он просит пустой стакан, отыскивает в кармане гривенник и показывает фокус: монета движется по столу, забирается под стакан и выползает обратно; его просят открыть секрет, но тут все очень просто, нужно только смотреть внимательно — и монета опять залезает под стакан и вдруг вовсе исчезает, как не бывало. Вокруг смеются, ему давно не было так весело, пожалуй, беспечно весело: все, что мучило, ни на мгновение не давало покоя, отступило куда-то, развеялось. Он почти убежден, что все как-нибудь поправится, решится. Он рассказывает, как Илья Ефимович намерен переделать свою чудесную картину «Не ждали», два дня назад он был у Репина в мастерской — вещь узнать нельзя; он собирается опять писать статьи о живописи, о русских художниках, в первую голову о Репине и Ярошенко. К тому же один сюжет из российской истории сильно его томит, просится на бумагу; но, чтобы взяться за дело, придется проштудировать томов двести ученых сочинений...

По лестнице спускаются оживленной гурьбой, он забывает свои страхи, вдобавок такая счастливая удача — Надежда Михайловна зашла за ним к Ярошенкам после дежурства в клинике. На втором этаже китаец с длинной тонкой косой приветствует компанию почтительным поклоном. «Вот бы, Надик, отправиться нам с тобой в кругосветное путешествие. Ну, на худой конец, хоть в Ялту. Как обвенчались, никуда и не ездили вместе дальше Петергофского проспекта».

Прощаясь, Михайловский говорит, что ждет от него новых рассказов, что очень, очень на него надеется...

Проводы

Бедная мама: из четырех сыновей только Женя оправдывает ее ожидания; не одного Виктора — троих потеряла (старший, Георгий, все не выберется из уездной глуши, точно не было у него иного предназначения); он, Всеволод, больше, чем остальные, разочаровал, обманул, именно потому, что было пообещал больше, поманил — и не оправдал, не исполнил.

За его спиной мамаша нет-нет и обронит в беседе: «мой знаменитый сын Всеволод», а «знаменитый сын» после года молчания выдал в свет «Надежду Николаевну», весьма дружно разруганную, и снова замолчал — да не навсегда ли?

Сколько проектов устройства его жизни с давних пор сочинила Екатерина Степановна! При всяком повороте его судьбы в голове у нее тотчас рождался новый план, сулящий ему отменную будущность, — и все безуспешно. В каждом плане неизменно оказывалось что-то, решительно его не устраивающее, противопоказанное ему. Беда в том, что всякий раз, новый план сочиняя, Екатерина Степановна примеряла его на себе — даром, что ли, затевая разговор, начинает с излюбленного: «Будь я на твоем месте...» Но каждый сам один на своем месте, и у каждого своя судьба...

Самое горькое, что, по суждению Екатерины Степановны, вину за его грехи и неудачи теперь делит с ним Надя, ибо не помогает сбываться материнским проектам, потакает Всеволоду, он же, Всеволод, как известно, самостоятельно ни на какие серьезные поступки не способен.

Мама смолоду взвалила на плечи ответственность за судьбу сыновей, выстрел Виктора ей постоянный укор — не уследила: значит, крепче надо держать вожжи в руках, направлять всякий шаг, иначе собьются, заплутаются, она привыкла взнуздывать и пришпоривать ближних, при этом с подавляющей окружающих убежденностью в постоянной своей правоте. Надя же уверена, что всякий человек, ближний и дальний, имеет право сам решать свою участь; характер у Нади твердый и независимый, от своих правил она не отступается; в спорах на шумные аргументы Екатерины Степановны отвечает неприступным молчанием. Золотистые волосы Надя теперь гладко зачесывает назад, и от этого выражение ее лица, когда не улыбается, тоже сделалось серьезным и неприступным.

Ссоры неизбежны, всего ужаснее, что он оказывается причиной этих ссор, он же призывается в арбитры и он же должен быть примирителем. Он ходит к матери объясняться, но объяснить ничего не умеет: Екатерина Степановна не слушает возражений, говорит очень громко и так убеждена в своей

правоте, что самые веские его доказательства неожиданно оборачиваются против него; он бегает в кухню, мочит голову холодной водой из-под крана, закрывает ладонями уши, плачет, обещает немедленно поступить на военную службу или просит отвезти его в больницу к доктору Фрею. Женя подает ему пальто, надевает на него шапку и ведет прогуляться от Саперного переулка, где обитает с матерью, на Пески. В ссорах Женя не желает занимать чью-либо сторону, сидит, отворотясь, неторопливо постукивает пальцами по столу. При всей его деловитой подвижности, в нем нет, слава богу, напряженной горячности старших братьев, и в глазах светлеет ледок.

На Жене сосредоточились теперь мечты и надежды матери, при ней он — «Евгений Михайлович», снискавший первую известность педагог, литературный критик, энергичный газетчик, он скоро, похоже, и роман напишет, преогромный, какого Всеволоду сроду не потянуть, а возле Всеволода (и это вопиюще несправедливо!) он по-прежнему — «Женя», «брат известного беллетриста». Кое-кто встречает его (вдвойне несправедливо!) старинной эпиграммой: «Наш Лев Сергеич очень рад, что своему он брату брат», а Евгений Михайлович уже и полнеть начал, и несколько облысел, носит просторный длинный сюртук, говорит солидно и непринужденно, речи «известного беллетриста» подчас представляются ему «студенческими» — пылкими и незрелыми фантазиями, за столом он тоном старшего перебивает его: «Брат, остановись!»

Евгений Михайлович вместе с матерью открыл книжный магазин на Греческом проспекте, торговля, кажется, идет недурно, завели — как все — журфиксы, принимают почти ежедневно, угощение скромное — французские булки да чай с лимоном, зато разговоры!.. Гости собираются разные — литераторы всех жанров, возрастов и направлений, газетчики, какие-то гражданские чины. Яков Петрович Полонский, сочинения которого магазин на Греческом взялся распространять, наезжает кондитерским генералом; Екатерина Степановна в лиловом праздничном чепце с лентами расцветает улыбками и усаживает знаменитого поэта рядом с собой. На людях мать молодеет, ее темные, чуть навыкате глаза загораются весельем, она много шутит, громко смеется, в ее речах появляется несвойственная ее натуре легкость, даже беспечность, смысл их делается тот, что всем она довольна, все ей трын-трава, для чужого уха ее речи звучат искренно, да и произносятся искренно, и все-таки надрыв какой-то, электричество в воздухе вокруг Екатерины Степановны никогда не исчезает.

«Знаменитый сын Всеволод», он же «известный беллетрист», тоже появляется на журфиксах, под внимательным взглядом Екатерины Степановны пожимает без разбора всем присутствующим руки, каждому говорит приятные слова, берет с подноса ломоть булки, но не надкусывает, так как случайно, сам того не желая, вмешивается в спор о современной литературе, все умолкают, желая его послушать, это его мучительно стесняет, тем более, что по материнскому взгляду, по реплике Евгения Михайловича он понимает, что говорит не то; улучив минуту, он оставляет чай недопитым, пробирается по стенке в переднюю и незаметно уходит. Назавтра, желая искупить вину, которой за собой не знает, он отправляется с утра по редакциям — пристраивать мамашин перевод с французского: любовник, сын лакея, закалывает себя кинжалом, спасая честь возлюбленной-баронессы: «постыдная, страшная связь...» (Заодно брату Георгию резиновое пальто купить — входят в моду: Георгий Михайлович тянет в провинции лямку судебного следователя, в дождь, в распутицу колесит по уезду в плохоньком казенном тарантасе...)

Из Харькова перебрался на жительство в столицу Виктор Андреевич Фаусек, сразу сделался дорогим, необходимейшим человеком.

Фаусек мальчиком был, когда познакомились, — серьезный мальчик с мягкими чертами лица, светлыми рассыпающимися волосами и настойчиво вылезающими из-под них оттопыренными ушами, — учился с Женей в гимназии. Смешно: он, Гаршин, гимназиста этого в какой-то мере к естествознанию приохотил, сидел с ним над банкой с тритонами, улитками, щеголял с некоторым видом превосходства латинскими названиями — вот, не угодно ли, *тритонус вульгарис,* а это, на поверхности воды, ряска, или *лемна минор,* понятливый ученик слушал, слегка склонив голову, мигом запоминал, повторял, он похвалил мальчика: «Вы впитываете все, как губка», засмеялся: «К слову, как по-латыни губка?»...

Теперь Виктор Андреевич окончил университет, биолог, и подает большие надежды, профессора сулят ему недюжинное будущее. Отрастил бороду, носит очки в серебряной оправе — хоть сейчас на кафедру, только уши с мальчишеским любопытством выбиваются из-под волос.

Фаусек с головой нырнул в науку: в искании научной истины, говорит он, для него главная задача и вместе главная радость жизни, но, тоже Виктор Андреевич говорит, день и ночь в той жизни, которой мы живем, делаются не солнцем, а людьми, — об этом исследователю необходимо помнить, чем бы он ни занимался, астрономией или вот моллюсками.

Фаусек зовет его в Прикаспийские степи, на Северный Кавказ, там у него какие-то дела с моллюсками, но миновало время, когда вместе гербарии собирали, какой он теперь Виктору Андреевичу попутчик — недоучка-студент, писатель, разучившийся приставлять одно к другому слова...

Он долго стоит на перроне, машет рукой уходящему поезду, пока красный огонек фонаря, похожий на красный цветок, не скрывается в темноте. Оттуда, с юга, куда ушел поезд, тянет теплым, влажным весенним ветром, невидимые птицы кричат над головой, а в Петербурге на деревьях почки еще не распустились, это его огорчает — смолоду он каждую весну напряженно ждет первых листьев, сам не знает, почему. Надя берет его под руку, он покорно следует за ней, слезы текут по его щекам, не оттого он плачет, что гора впереди, а оттого, что нет больше гор, на которые он должен взбираться. Не хватило, должно быть, в нем струн, чтобы годами рождалась прекрасная музыка. Да и тем немногим, что природа вложила в него и что даровала ему жизнь, он распорядился как-то нерачительно: будто собрал, стиснул все, что было под наружной его оболочкой, в маленький тугой комок и сжег разом... Он вспоминает, как юношей ездил с Гердом в Дудергоф, что под Павловском, на экскурсии, местность эта некогда любима была Петром Великим, в прошлом веке здесь был ботанический рассадник, и с тех пор укоренилось значительное число растений, совершенно не свойственных петербургской флоре, старый сад тянулся по склонам высокого холма, — с вершины в ясную погоду видны были столица, Петергоф, Кронштадт... Он вспоминает, как студентом совсем было собрался в экспедицию на Печору, откуда приятель естественник привез поразительный ярко-красный цветок пиона, он при виде этого пиона «вне себя пришел» (словечко трактирного слуги у Островского в какой-то пьесе), вспоминает, как «Московскую флору» Кауфмана увлеченно штудировал, как в ботаническом саду день-деньской над микроскопом гнулся, с профессором Баталиным чаи распивал, — все рассеялось, выкрошилось, точно табак из залежавшихся в столе папирос... Поезда уже след простыл, и перрон опустел, только вдали в окнах буфета мелькают тени, оттуда доносится веселая музыка...

Иногда Фаусек представляется ему воплощенной его частью, корнем, отростком, который отделили от него и отсадили, и он принялся, дал листья и плоды, тогда как на нем самом почки не распустились, схваченные морозом. Хочется верить: где-то рядом укоренился, идет в рост, вот-вот листья распустятся, другой отросток — завтрашний русский писатель, который скажет все, что он, Гаршин, хотел ска-

зать и не сумел, и скажет то, что он, Гаршин, даже не предполагал сказать, но, едва это будет произнесено, тотчас узнает и примет в сердце как свое...

Надя достает из котиковой муфты платок, утирает ему слезы. Виктор Андреевич сказал бы любимое: относитесь ко всему серьезно, но не трагически — отчаяние всегда преждевременно.

...Он просит Александра Яковлевича Герда доверить ему корректуру учебника зоологии: он знает и русские названия, и латинские и вылавливает ошибки поважнее, чем перепутанные буквы. Что ни говори, тоже работа на случай, если добрый Франц Егорович почему-либо покинет канцелярию Общего съезда, а писатель Всеволод Гаршин окончательно прекратит свое существование...

...Будь у него ребенок, жизнь обрела бы новый смысл. Он мечтает не о своем продолжении, не о себе в завтрашнем дне — мечтает о том, что будущее вдруг окажется рядом с ним, будет ему даровано. Не исправленное и дополненное издание родителя — будущее мира и надежда, что мир станет лучше. Но, похоже, ребенком ему четвертое свое десятилетие не ознаменовать...

Вечерами он сидит за рабочим столом, на котором вместо рукописей домашний станок с набором инструментов, именуемый «Американский переплетчик», вырезает картоны для переплетов, форзацы из цветной бумаги, промазывает корешки книг жидким горячим клеем или округляет их, постукивая по краю молотком... Вечерами он часто остается один. Надя дежурит в клинике, способствует появлению на свет многих детей, роженицы ее любят, говорят, рука у нее легкая...

«ЧТО ЗНАЧИТ ЭТА БОЛЬ...»

26 марта 1888 года от дома номер девять по Бронницкой улице отправилась в путь по Загородному проспекту, Лиговке, Расстанной печальная колесница, видавший виды экипаж с черно-белым балдахином на витых столбиках-колонках, — неспешно покатилась привычной дорогой на Волково кладбище, где герою нашего повествования уготован был вечный покой. При жизни он любил приходить сюда, и не только ради соблюдения грустного обряда; здесь, бродя по аллеям между крестов и памятников, он (как и большинство его современников) непременно вспоминал Некрасова: «Природа-мать! когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни...» — и эта мысль здесь, перед лицом смерти, даровала веру в будущее. Печальная колесница тянулась по Лиговке, по Расстанной... Друзья, близкие, почитатели таланта покойного густой толпой шли следом. Часть пути провожавшие несли гроб на руках.

День был непогожий, из тех, какие нередки весной в Петербурге, — низкое серое небо, мгла, туманная изморось, под ногами холодное месиво — вода и мокрый снег. Лед на реке потемнел, потрескался, у берега и мостовых опор местами оттаял, льдины наползли одна на другую — вдоль желтых, будто прокуренных сломов быстрыми струйками бежала вода.

В доме номер девять по Бронницкой помещалась хирургическая лечебница Красного Креста: сюда 19 марта привезли бросившегося в пролет лестницы Гаршина; здесь 24 марта он, не приходя в сознание, умер.

Той весной 1888 года показалось ему, Гаршину, что мир окончательно расшатался. Он еще не был вполне болен, но болезнь подступала, он чувствовал. Он страшился безумия. Искать спасения было негде. Литература? Но когда неделю не пишется, месяц, и то успеешь прийти в отчаяние; когда же за три года с трудом закончил три рассказца (всех вместе страничек двадцать пять), право, уверуешь, что литература не твой удел. Семья? Но мучительный раздор взломал семейство, как мартов-

ская трещина льдину, — не составишь, не слепишь! Главное же — эта разлитая в воздухе неимоверная тяжесть, трудно дышать, и, куда ни повернись, — бессмысленное устройство, или, лучше сказать, неустройство жизни: несправедливость, жестокость, погоня за наживой, осмеяние добра — и мучительное неведение, как все в мире устроить иначе.

«...Он должен был всю свою жизнь испытывать ту неумолимую настойчивость в неразрешимости всех тех жгучих вопросов, которые он уже пережил. Жизнь не только не сулила хотя бы малейшего движения от глубоко сознанного зла к чему-нибудь... да хоть к чему-нибудь лучшему, но, напротив, как бы окаменела в неподвижности, ожесточилась на малейшие попытки не только хорошо думать, но и хорошо делать. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, и целые десятки лет, каждое мгновенье остановившаяся в своем течении жизнь била по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный „слух" — и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно притом по больному, и непременно по такому месту, которому надобно „зажить", поправиться, отдохнуть от страдания; удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя. Десятками лет идет какое-то беспрерывное, непрестанное, неумолимо-настойчивое отталкивание человека от малейшей попытки „поступить" — вот что дала Гаршину жизнь после того, как он жгуче перестрадал ее горе».

Так писал о Гаршине после его смерти Глеб Иванович Успенский.

Свидетельство Успенского особенно дорого. Глеб Иванович был другом Гаршина — близко его знал и писал о нем с любовью. В своей статье Глеб Иванович хотел рассказать именно о причинах гибели друга — статья называется «Смерть В. М. Гаршина». Работая над ней (был еще первый вариант, напечатанный по горячим следам в газете), он все больше спорил с теми, кто объяснял трагедию личным пессимизмом и психическим расстройством Гаршина. Пессимизм — конечно (много ли найдется совестливых людей, которым он не ведом?), и несомненно — болезнь, но куда вы денете, господа, эти постоянные, питавшие и пессимизм, и болезненное расстройство безжалостные удары жизни по одному и тому же больному, незаживающему месту? Глеб Иванович лучше большинства других мог разобраться в трагедии Гаршина — с погибшим другом его роднила общность душевного склада.

Той весной 1888 года друзья особенно тревожились за Гаршина, искали способ его спасти. У художника Ярошенко была дача в Кисловодске. Он предложил Гаршину пожить в горах, отдохнуть, набраться новых впечатлений. Всеволод Михайлович и Надежда Михайловна охотно согласились; он, правда, побаивался безлюдья, но вместе надеялся, что оно пойдет ему на пользу, приготовил лупу, пинцет, картон — собирался заняться любимым ботанизированием, надеялся, конечно, что исподволь начнет понемногу писать, — планы-то в голове громоздились.

Отъезд назначили на 20 марта, уже и вещи были увязаны, и домохозяин предупрежден, что освобождается квартира.

19-го утром Надежда Михайловна замешкалась, недоглядела, да и могла ли предположить, что именно в этот день, в этот час!.. Тут он — не в силах сопротивляться чему-то — и *поступил.*

Накануне ужасного события (может быть, за день, за два до него) Всеволод Михайлович с Надеждой Михайловной приехали к известному психиатру Александру Яковлевичу Фрею: проявления болезни делались все резче — хотелось услышать совет опытного врача. Фрей лечил Гаршина многие годы. Он считался не только врачом — еще и приятелем Всеволода Михайловича. Они встречались у общих знакомых, на заседаниях кружков и обществ, на публичных чтениях: Александр Яковлевич всем живо интересовался да и сам был не прочь высказать свое суждение о нашумевшем романе или картине, оценивая их со специальной, психиатрической точки зрения.

Надежда Михайловна спросила, не следует ли поместить больного Всеволода в клинику. Здание частной клиники Фрея находилось прямо против окон его квартиры — на Пятой линии Васильевского острова. Александр Яковлевич отвечал уклончиво, в глаза не смотрел, снимал пенсне, цеплял на указательный палец левой руки, шелковым душистым платком протирал стекла — и настойчиво советовал ехать скорее на юг, на Кавказ, куда и так решено было ехать, и день отъезда назначен, да страшно сделалось. Позже, беседуя с Надеждой Михайловной, помощница Фрея проговорилась, что тот остро провидел самоубийство, оттого и в собственную клинику счел за благо не брать.

Но это — позже. А тогда, после разговора с врачом, еще больше заспешили со сборами, еще нетерпеливее дожидались дня отъезда.

Гаршины снимали квартиру в Поварском переулке (возле Владимирского собора), в доме номер пять, на третьем этаже.

Наблюдательный современник оставил описание подъезда, где произошла трагедия.

Подъезд мрачный, стены до середины окрашены в темно-серый тюремный цвет.

«Окно в крыше над пятым этажом тускло освещало лестницу, — свидетельствует современник. — Окно было большое, из двух приподнятых под углом створ, каждая в роде парниковой крышки».

Какая выразительная, почти символическая подробность!

Прекрасная пальма высокой вершиной
В стеклянную крышу стучит...

Это стихи студента Горного института Всеволода Гаршина. Они написаны много раньше знаменитой сказки «Attalea princeps», сразу полюбившейся целому поколению. Когда сочинялись эти стихотворные строки, до писателя Всеволода Гаршина оставалось еще полтора года и трехмесячный поход из Кишинева к Аясларской высоте.

И снова заделали путь на свободу,
И стекла узорчатых рам
Стоят на дороге к холодному солнцу
И бледным чужим небесам...

Если нельзя вверх, сокрушая стекло, ломая железные полосы решеток, если солнце — холодное и небо не манит синевой, то, может быть, вниз — тоже свобода?..

Пролет лестницы был широкий, прямоугольный, лестничные марши — в длинном восемь ступенек, в коротком — пять. Дотошный оказался современник — все посчитал!

В пролете стояла высокая печь, обогревавшая подъезд. Ее верхняя часть доставала почти до второго этажа.

Про печь упомянуто не случайно: падая, Гаршин ударился о нее, нога попала в проем между печью и лестницей и сломалась.

Его подняли, перенесли в квартиру.

Когда поспешивший приехать Герд спросил, больно ли ему, Гаршин ответил: «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь!» — и указал на сердце.

Прежде чем впал в беспамятство, он все целовал руку у Надежды Михайловны и просил прощения.

Двадцать лет спустя Лев Николаевич Толстой с чьих-то слов будет рассказывать про смерть Гаршина — «...как он бросился с лестницы, весь разбился и, когда прибежала жена (она была врач), сказал ей: „Ничего"».

— Это так естественно: о своей боли не думает, а ее испуг видит, — прибавит Лев Николаевич.



Обнаружилась и такая странная подробность: оказавшись на лестнице, Гаршин, как бы сдерживая себя, начал быстро спускаться вниз, прошел целый марш, точно надеялся убежать, спастись от себя самого, — и лишь потом шагнул через перила...

Падать было невысоко. Разбиться насмерть, кажется, невозможно.

А он — умер. Разбился.

Врачи видели причину смерти в последствиях перелома ноги. Но, похоже, жизнь была исчерпана.

Прожил он тридцать три года, один месяц и двадцать один день.

26 марта 1888 года в церкви на Волховом кладбище возжжены были сотни свечей, в их свете сияла золотая парча покрова, металлические листья венков; прощание с Гаршиным, свидетельствует газета, происходило при громадном стечении народа.

Репин, стоя на правом клиросе, запечатлел карандашом эти минуты. Лицо писателя в последние мгновения, пока было доступно созерцанию, с венцом на челе, поражало особенным сходством с ликом библейского пророка, апостола, мученика. Сравнения эти, при жизни прилепившиеся к Гаршину, после его смерти повторялись почти непременно.

И в самом деле — похож!..

Я ничего не знал прекрасней и печальней
Лучистых глаз твоих и бледного чела,
Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине, недостижимо-дальней,

прочитает поэт Николай Минский над его могилой.

Могилу вырыли все там же, налево от ворот, на одном из перекрестков литераторских мостков.

Минский говорил последним. За три года до смерти Гаршин с ним разошелся. Причиной послужила статья Минского о стихотворениях Надсона. Не то возмутило, что в статье критиковались стихи поэта, — Гаршин высоко уважал чужое мнение (Надсон, к слову сказать, также в печати весьма неодобрительно отзывался о некоторых произведениях Гаршина) — он вычитал в статье Минского нечто оскорбительное для Надсона-человека.

Семь ораторов произносили речь у свежего могильного холма — и хоть бы один из друзей! Про иных державших надгробное слово не скажешь даже, что хорошо были знакомы с покойным, — ни в письмах его, ни в воспоминаниях о нем не упоминаются или почти не упоминаются. Друзья заговорят позже — пока молчат, пораженные утратой.

После речей началась у могилы давка: такая мода пошла — обдирать на память об усопшем искусственные цветы и листья с венков. Годом раньше, в феврале 1887-го, здесь же хоронили Надсона. Тоже говорили больше люди далекие. Гаршин смотрел, как опускали в яму небольшой прямоугольный ящик, обитый белой с серебряными нитями материей, слышал, как застучали о крышку мерзлые комья земли. Вспомнился рассказ Надсона: после окончания военного училища он селился по наемным квартирам подешевле и себя именовал «жильцом маленькой комнаты». Гаршин стоял в стороне, держал венок, присланный поэту от бывших сослуживцев по 148-му Каспийскому полку (случайно досталось нести — у ворот кладбища кто-то из распорядителей сунул в руки): черные атласные ленты и фарфоровые белые розы. В перерыве между речами начал было читать стихи Полонского, написанные на кончину молодого поэта: «Он вышел в сумерки. Прощальный луч солнца в тучах догорал; казалось, факел погребальный ему дорогу освещал...» Стихи обычно запоминал с одного раза — и навсегда, а тут запнулся, сбился. Укладывая венок, громко попросил: «Не рвите цветов!» — где там, не остановишь! Вспомнил портреты Ивана Сергеевича Тургенева на обертках абрикосовских конфект. Ну, почему к ногам высокого всегда репьем цепляется пошлость!..

26 марта, в день похорон Гаршина, Николай Семенович Лесков проникновенно писал издателю «Нового времени» Алексею Сергеевичу Суворину: «Неужели Гаршин не стоил траурной каемки вокруг его трагического некролога?.. Я, ложась спать, думал: „Верно, Алексей Сергеевич велит поставить крестик и каемочку". Утром вижу — нет! Почему, спрошу? Нам, литераторам, он ближе, чем Скобелев! Он несомненно „пробуждал мысли добрые". Зачем все известия о приезде „действительных статских советников" печатаются, а непристойным считается известить о приезде Чехова?..»

Несколько дней спустя «друзья и товарищи В. М. Гаршина, желая почтить его память добрым делом», начнут хлопотать об издании литературного сборника и обратятся между прочими и к Лескову с просьбой дать что-нибудь в книгу. Лесков откажется категорически. «Не сочувствую культу мертвых и не дам моего труда на камень, пока слышу просьбы живых о хлебе», — ответит он издателям сборника.

Предложение участвовать в сборнике сильно рассердит Лескова, а решительный отказ от благотворения, видимо, его мучит: он долго и подробно объясняет в письмах, прежде всего к тому же Суворину, почему и отчего считает подобную бла-

готворительность ненужным, бесполезным и пошлым делом. Как на высший авторитет он сошлется на Льва Николаевича Толстого: «Л. Н. Т. дал совершенно тождественный со мною отказ».

Толстой объяснял: «Не говоря уже о том, что нет никакого повода и причины составлять сборник и собирать на что-то деньги по случаю смерти Гаршина, я-то никак не могу быть в этом участником, несмотря на мою большую любовь к Гаршину, которую я желал бы выразить».

Если бы Лесков, как Лев Николаевич, сослался только на убеждения, и разговору бы не было. Но Толстой отказывается быть участником — несмотря на большую любовь к Гаршину и желание ее выразить (следом в письме: «И если бы пришлось написать о нем, что я думаю, то разумеется отдал бы в самое для этого приличное место — сборник»), Николай же Семенович к убеждению, что «давать на камень» вообще не следует, прибавляет, что давать на камень Гаршину тем более не следует: «Чем и когда Гаршин был обижен? Он не нес никакой несправедливости, а прожил свою короткую жизнь в „любимчиках" — с 3000 жалованья в Обществе железных дорог и 200 р. гонорара с самого начала. Чего еще было нужно?»

И в конторе, где пришлось служить Всеволоду Гаршину, и в «Отечественных записках», где он с самого начала и очень редко (писал мало) печатался, получал Гаршин втрое меньше, чем насчитал Николай Семенович. Притом денег ему в самом деле хватало — потребности были невелики. Главное же как раз в том, «чего еще было нужно?» Нужно ему было совсем иное и многое, не три аршина земли, а весь земной шар, говоря словами Чехова. Ему нужно было, чтобы никакой несправедливости «не нес» ни один человек на свете, чтобы мир обновился, чтобы ушло из него все, что делает людей несчастливыми, — тут у него, правда, запросы не на три тысячи рублей в год!

Чехов, о котором упоминает Лесков в письме к издателю «Нового времени», напишет специально для сборника в память Гаршина скоро ставший одним из самых известных рассказ «Припадок» и в нем, по собственному признанию, воздаст ушедшему товарищу, с которым познакомиться почти не довелось (говорили один раз, «да и то мельком»), «ту дань, какую хотел и умел». Герой рассказа — «молодой человек гаршинской закваски», определит сам Чехов, — попадает с приятелями в публичный дом («падшая женщина» — тема опять-таки гаршинская) и едва с ума не сходит, задумавшись о судьбе встреченных женщин, вообще о несправедливом общественном устройстве, постоянно, на каждом шагу, калечащем и губящем людей. Студент видит то, что и другие видят и знают, а ему еще

«чего-то нужно», ибо он одарен способностью «отражать в своей душе чужую боль».

«Есть таланты писательские, сценические, художнические, — скажет Чехов о Гаршине, — у него же особый талант — *человеческий.* Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще».

Но помимо того (свидетельство Бунина): среди видений, посещавших Чехова, была темная, грязная лестница, в пролет которой бросился Гаршин... «Два раза был я у Гаршина и в оба раза не застал. Видел только лестницу...» — пишет Чехов на пятый день после смерти Всеволода Михайловича. И три дня спустя: «А лестница ужасная. Я ее видел: темная, грязная...»

Горячо поддерживая издание сборника в память Гаршина, Чехов напишет: «Чем больше сплоченности, взаимной поддержки, тем скорее мы научимся уважать и ценить друг друга, тем больше правды будет в наших взаимных отношениях...»

В том самом письме, где Толстой сообщает о невозможности для него участвовать в гаршинском сборнике, он вспоминает сюжет, который услышал от известного юриста А. Ф. Кони: молодой человек из образованного общества узнал на суде в проститутке соблазненную им некогда девушку, решил жениться на ней, но девушка в тюрьме заболела и умерла. Толстой спрашивает, не отдаст ли Кони тему рассказа: «Очень хороша и нужна».

До начала работы над «Воскресением» почти два года, а до окончания романа целое десятилетие. Нет прямых оснований хоть в какой-то степени связывать его с творчеством Гаршина — и все же: «падшая женщина» из «образованных», «падение» начинается с обмана в лживом и грязном «чистом обществе», потрясение человека, вдруг — именно благодаря потрясению — начавшего думать, ночь прозрения, когда человек понимает, что невозможно жить для себя только, необходимо соединить себя с общей жизнью... Пусть всё другое, по-другому, но Гаршину близкое, и за всем мучительное — «Так что же нам делать?»: «неразрешимость жгучих вопросов». И опять-таки Гаршину близкое: если и не дано разрешить их, эти жгучие вопросы, то непременно надо задавать их каждый день, каждый час, каждое мгновенье, — не давать людям покоя!.. Вот что еще им было нужно...

...В ненастные мартовские дни на Волковом кладбище ныне пусто, прозрачно... Старые деревья с окаменевшей, как гранит памятников, чернеющей наростами корой, с черными вороньими гнездами, торчащими в их сквозных кронах,

слегка скрипят, покачиваясь, негромко переговариваются между собой — немало повидали они и передумали на своем веку. Слышно в тишине, как шуршит на их ветках подтаявшая ледяная корка, мокрый снег с глухим шорохом падает с ветвей на дорожку. Но вот на небе, кажется беспросветно сером, вдруг обозначится перламутровый, округлый край облака, солнца не видно, но вокруг посветлеет, в воздухе разольется слабое сияние, все глянет веселее — деревья с зарозовевшими вдруг на концах заскорузлых черных сучьев молодыми побегами, поголубевший снег, желтая стена церкви, все точно вспомнит о скорой весне, затеплится надеждой, и красные цветы на черном холодном камне пламенеют маленьким жарким факелом...

19 МАРТА 1888

Надежда Михайловна

За окном мгла, кажется, рассвета не будет...

Скорей, скорей прочь из Петербурга: здесь от самой погоды, гнилой, нездоровой, впору с ума сойти.

То неподвижно висящая в воздухе душная изморось, то резкий ледяной ветер, колючий, как стеклянная пыль, снег в лицо.

Гололедица. Близ мостов, где обыкновенно подпрягают к вагону конно-железной дороги третью лошадь на помощь, ставят пару — иначе не вытянуть, скользко.

Вот уже несколько лет подряд зимы одна хуже другой, недолгие, но сильные морозы сменяются столь же короткими оттепелями, точь-в-точь лихорадящий больной, снегу выпадает мало, даже не верится, что когда-то дворники с ночи чистили широкими деревянными лопатами тротуары и мостовые, во дворах лежали сугробы, мальчики строили снежные крепости и города.

От частых перемен температуры, от пронизывающей сырости в городе много больных, детей косит дифтерит, особенно в бедных районах, где плохо одеваются и экономят на дровах.

На Песках в сырых и темных домах ютятся ремесленники, мелкие торговцы, неимущие служащие, извозчики, прислуга; бывало, что ни вечер — звонили в дверь, спрашивали врача, она не успевала выйти навстречу, Всеволод уже стоял одетый, в пальто, чтобы проводить ее к больному; хороший врач дорог, да и не вытащишь куда-нибудь в полуподвал на Девятой улице, а она, доктор Гаршина, хотя начинающая, зато безотказная и денег не берет, — слухами земля полнится.

В полуподвалах дети сгорали в жару, по двое, по трое на одной кровати, Всеволод ждал на улице, пока она занимается с больными, после ни о чем не спрашивал — у нее все на лице на-

писано, бережно вел под руку домой, молчал, лишь вздыхал изредка.

Два года как съехали с Песков, решили устроиться поудобнее, ближе к центру, сперва поселились на Невском, в доходном доме Бенардаки, что за спиной у Юсуповского дворца, следующей осенью перебрались в Поварской переулок, неподалеку от Владимирского собора: мрачные кирпичные дома, некрасивые, все в них подчинено единственной цели — принести домохозяину наибольшую прибыль, квартиры приходится выбирать недорогие, в верхних этажах, Всеволод жалуется, что в подъезде пусто и гулко, иногда принимается хвалить Пески, особенно часто вспоминает дом с голубятней, вблизи от места, где они жили.

Всеволод болен, еще больше страшится болезни, картины безумия отпечатались в его памяти с необыкновенной яркостью, постоянно стоят перед ним завтрашним днем; он крепко сжимает ее руки: «Лучше смерть, чем *это».*

Почти год не курит. В портсигаре, который она ему подарила, серебряном, с фигурой всадника на крышке и синим камешком-замочком, сначала, чтобы не огорчать ее, держал шоколадные папиросы-конфекты «Оттоман», потом и вовсе куда-то его забросил.

«Американский переплетчик» давно покоится без дела. Минувшим маем Всеволод однажды обрез*а*л переплетенные книги, был, казалось, в хорошем настроении, весел даже, вдруг попросил: «Запиши стихи» — и стал читать ровным голосом, безразлично, как диктант в гимназии, этот голос особенно ее напугал и взгляд его, куда-то вверх, в угол комнаты, она украдкой обернулась и тоже посмотрела, так явственно по его взгляду чудилось, будто и в самом деле в углу было что-то, — ничего там не было, желтел на потолке ржавый потек, Всеволод находил его похожим на взмахнувшую крыльями птицу.

«Свеча погасла, и фитиль дымящий, зловонный чад обильно разносящий, во мраке красной точкою горит, — с ледяной четкостью, как нечто давным-давно заученное выговаривал слова Всеволод. — В моей душе погасло пламя жизни, и только искра горькой укоризны своей судьбе дымится и чадит...»

Всеволод тогда был особенно красив, дочерна загорел под весенним южным солнцем: полмесяца путешествовал с Гердом по Крыму, лишь недавно возвратился, отдохнувший, бодрый. Но она-то знала, что душевное нездоровье порой набегает внезапно, как туча в погожий майский день: только что голубое небо сияло залитое солнцем — и вот уже все вокруг потемнело, ветер порывисто проносится над землей, поднимает, крутит пыль, извилистые белые молнии раздирают из края в край лиловую пелену.

У нее карандаш ходуном ходил в руке, но она виду не подала, что взволнована, деловито переспрашивала отдельные слова, кивала, что успевает писать за ним, только он ни разу не повернулся к ней, не отводил взгляда от потека в углу, пока не кончил диктовать.

«...И что обманут я мечтой своею, что я уже напрасно в мире тлею, я только в этот скорбный миг постиг...»

Она с той поры видеть не могла это ржавое пятно, и правда похожее на птицу, но не летящую, а будто пляшущую, и радовалась, когда осенью, возвратившись от дяди, у которого на сухопутной таможне близ Нарвских ворот обыкновенно проводили летние месяцы, они решили сменить квартиру.

После этого стихотворения Всеволод ничего больше не писал. Три последних года он вообще редко брался за перо, переработал старинную легенду о гордом Аггее, закончил маленький рассказ «Сигнал» да «Лягушку-путешественницу».

Принялся было за обширную статью о художественных выставках, напечатал первую часть, рассказал о «Грешнице» Поленова, о «Боярыне Морозовой»... продолжать не стал — мысль, говорит, ушла куда-то.

Намеревается писать роман о Петре Великом, читает исторические сочинения, составил список, около двухсот томов, которые необходимо изучить, работа движется медленно, иногда он рассказывает ей эпизоды будущей книги, убеждает ее, что некоторые главы совершенно готовы и ждут лишь отделки, но Всеволод редко загодя подробно говорит о том, чему суждено быть написанным. Ей кажется, он сам себя обманывает: раз-другой повторяет рассказ и понемногу начинает верить, что действительно занес его на бумагу.

Для Всеволода великое страдание, мука великая, что не может писать, бывает, лежит с утра и до вечера пластом, жалуется, что голова болит, все в одной и той же точке, сердце болит, остро, непрерывно: может быть, в этой точке головы томится, просится на волю и пробиться не может росток какого-нибудь нового творения, может быть, в сердце жгучая боль оттого, что горестные впечатления жизни переполняют сердце, не изливаясь в слове; мысль мечется — а слов нет.

Чем его утешишь: почти три года не покупает чернила, привез из Крыма ручку, костяную, с разноцветным восточным орнаментом (извилистой вязью надпись «Ялта»), да так перо не вставил. Молчит Гаршин.

«Нельзя же тянуть до ста лет освобожденным от какого-никакого труда, от обязанностей, от самой жизни освобожденным, ведь я и на кусок хлеба не способен заработать», — постоянный его разговор.



С канцелярией съезда железных дорог пришлось расстаться, хотя всякий раз, когда душевное состояние не позволяло Всеволоду исполнять секретарские обязанности, добрый Фельдман временно замещал его другим чиновником; периоды болезни, однако, затягивались, последний заместитель, откровенный молодой человек, объяснился без цирлих-манирлих: совестно, господин Гаршин, занимать должность, которая по справедливости принадлежит другому, — Всеволод, конечно, тотчас объявил, что уступает ему место.

...По заросшему лопухом, репейником, пыльной травой таможенному двору тянулся ржавый железнодорожный путь — поезда ли с товарами прежде по нему подходили к зданию таможни или вагоны конки, развозившей грузы по городу.

Всеволод часто рассматривал рельсы, шпалы, скрепы, говорил, что путь этот и воспоминания о кукуевской катастрофе подсказали ему замысел «Сигнала».

Однажды минувшим летом она увидела Всеволода в дальнем углу двора и направилась к нему. Справа, за пыльным тесовым забором, стучали и скрежетали колеса вагонов, коротко звякал сигнальный колокол конки, свистели локомотивы; она шла к Всеволоду вдоль старого пути, рельсы не сходились на стыках (болты и гайки были вывернуты для других надобностей), изогнулись, кусками отвалились в сторону, шпалы рассохлись, потрескались, кое-где были засыпаны землей, травой заросли; там, где стоял Всеволод, пути дальше не было, он терялся в крупных лопухах, в побелевшей от пыли крапиве, будто под землю ушел, — так в пустыне, говорят, пропадают в песке чахлые ручьи.

Всеволод в серой суконной блузе без пояса стоял сгорбившись, сосредоточенно смотрел на железнодорожный путь, который никуда не ведет. Она вздрогнула от резкого свистка паровоза. Всеволод, похоже, его и не услышал...

Скорей увезти Всеволода из Петербурга, болезнь настигает его, но, она чувствует, еще можно убежать, спастись, доктор Фрей, у которого побывали на днях, тоже полагает, что не поздно, советует немедленно ехать, сменить обстановку: расстояние — хороший лекарь, многое, что гнетет здесь ежеминутно, представляется проще, узлы распутываются, пусть в воображении.

В прошлом году лазил в Крыму по горам, собирал для гербария цветы и травки, писал чудесные, веселые письма (в каждом конверте фиалка или примула), предполагал сразу по приезде взяться за роман о Петре.

Вещи уложены в расчете на долгое путешествие, Ярошенки предложили им свою дачу в Кисловодске, гонорар за вторую книжку рассказов был отложен почти неизрасходованным как раз на такой слу-

чай, решено провести на Кавказе весну и лето, хорошо бы и осень захватить, билеты уже куплены на двадцатое марта, один, последний день остался до отъезда.

За пять лет впервые уезжают вдвоем.

Прямо свадебное путешествие...

Прошлой весной примчался из Крыма до срока — соскучился.

Угодил к юбилею Якова Петровича Полонского — отмечали полвека литературной деятельности, привез лавры и ветку с пушкинского кипариса, приготовил к случаю прелестные гекзаметры: «Чудо! в Гурзуфе я был и видел там призрак поэта; светел и ясен как день он предо мною предстал...» — тень Пушкина просит венчать лаврами юбиляра и вручить ему кипарисовую ветвь. На торжестве, однако, Всеволод молча слушал речи и тосты. Ветку спрятал под скатерть, листок с гекзаметрами сунул поглубже в карман: нет, нет, невозможно это читать — Пушкин мне явился, меня просил!

Совестно, стыдно...

Предстоящая поездка бодрит Всеволода, появились планы на будущее, взял у Фаусека инструменты для занятия ботаникой, речь сделалась спокойней, не так отрывочна, когда по одному слову приходится восстанавливать длинную цепочку размышлений, в результате которых слово произнесено.

Он томится бессонницей, долгие часы неподвижно сидит у стола, смотрит, не отрываясь, на черный прямоугольник оконного стекла, в котором дважды отражается желтый огонек лампы с приубранным фитилем; за окном ничего не видно, только ветер гудит, давит на стекло, да колючий снег шуршит.

Несколько раз за ночь в соседней комнате (прежней их гостиной) принимается плакать ребенок, Всеволод, обгоняя кормилицу, поспевает к нему, берет девочку на руки, подносит к стене: он убежден, что ей нравится рисунок розовых обоев, девочке всего пятый месяц.

Всеволод часто повторяет, что семейству Гаршиных нужен «меч Демоклесов, висяй над главой», без меча этого, каждое мгновение готового порвать конский волос, на котором подвешен, и сокрушить сидящее под ним семейство, они, Гаршины, жить не умеют.

Похоже, сорвался меч.

Год с небольшим назад Евгений Михайлович сделал предложение ее младшей сестре, Вере Золотиловой; женитьба родных братьев на родных сестрах церковными правилами запрещена, а тут любовь, ради любви пришлось поступать в обход закона, лжесвидетельствовать, утаивать в документах, подносить духовным лицам, Всеволода эти уловки приводили в совершенное отчаяние, но сносил безропотно — любовь!

Только счастье оказалось коротко.

Екатерина Степановна не пожелала последнего сына, опору и утешение, невестке отдавать (две сестры — уже заговор), да и Евгений Михайлович, непреодолимые, думалось, преграды осилив, вдруг остыл, точно одумался: во всем заодно с мамашей, к жене холодно беспощаден, а Вера уже в положении. Через три недели после свадьбы, среди ночи, Вера к ним в дверь позвонила, Евгений Михайлович вслед не бросился, не поспешил догонять. Всеволод просил Веру навсегда у них остаться.

Объяснения с Екатериной Степановной бессмысленны: она обладает изумительной способностью из всех возможных слов выбрать самое обидное и оскорбительное для того, кто посмел в чем-нибудь не согласиться с ней.

Никому, кроме самых близких, и в голову не приходит, что эта маленькая, подвижная дама, в шелковом лиловом чепце, с живыми темными глазами, чуть навыкате, с шумной, веселой южной речью, приветливая и гостеприимная, способна безудержно и упрямо приносить людям страдания. Она не ведает любви самоотверженной, любит эгоистично, прихотливо, для себя, ломая и подминая того, кого любит.

Скорей всего, Екатерина Степановна тоже душевно нездорова, хотя в узком домашнем кругу постоянно разглагольствует о непоправимой вине покойного мужа, внесшего безумие в гаршинский род, — речи предназначены для Всеволода, за то, что от недостойного отца не желает отказываться, нет-нет и помянет добром в рассказе (о матери ни слова).

Из-за Веры, из-за ребенка у Всеволода с матерью год как отношения порваны, на днях он все же отправился к ней попрощаться перед отъездом — «Не могу, не могу оставить маму без доброго слова...» В ответ на доброе слово Екатерина Степановна, распалясь, сына прокляла — торжественно, шумно, с обличениями и самыми болезненными оскорблениями. «Я бы, Надик, все снес, но когда тебя, про тебя...»

Пошлый, жестокий спектакль!

С братом тоже разлад. Еще до семейной истории Евгений Михайлович, будто обиженный чем-то, часто говорил со Всеволодом несколько свысока, при посторонних, случалось, обрывал его речь небрежным окриком — Всеволод тотчас умолкал, сжимался. Милый Женя, которого она помнит совсем юношей (серую гимназическую куртку донашивал), Женя, восторженно смотревший на знаменитого брата, а теперь — солидный басок, черный деловой сюртук нараспашку, покровительственные жесты.

Теперь Евгений Михайлович редко в глаза (почти не видятся), чаще за глаза упрекает Всеволода то в стремлении примазаться к передовым взглядам, то в толстовстве, то в нежелании трудиться, то в опошлении. Всеволод письмом просит у брата аудиенции, бежит

выяснить истину. Евгений Михайлович принимает его в книжном магазине на Греческом, холодно читает нотации — «с позиции русского консерватора», как он теперь почему-то предпочитает себя именовать. С этой же позиции Евгений Михайлович в статье отругал Толстого за драму «Власть тьмы» (Всеволод от драмы в восхищении, вышел между братьями горячий разговор), в другой статье отозвался недобро о Чехове. «Всех кур со смеху уморили», — говорит печально Всеволод, возвращаясь от брата. Но, кажется, и курам не до смеха...

Один, последний день прожить, завтра сядут в поезд, застучат под вагоном колеса, начнут узлы распутываться.

На Кавказе, наверно, весна вовсю.

Птицы собираются на север, из окна вагона будут видны их летящие навстречу стаи.

С Кавказом и она, и Всеволод знакомы по прекрасным пейзажам Ярошенко: радостное, торжественное сияние синего неба, зелени, озаренных солнцем снеговых вершин, серо-сиреневые обломы скал, красноватая желтизна песчаника — краски сильные, яркие, чистые, смелые сочетания цветов, прозрачный воздух, неоглядный простор, высота, ширь... Как отличаются кавказские полотна Николая Александровича от его петербургских картин с запечатленной на них промозглостью, серостью, сыростью неба, воздуха, стен, мостовых, нездоровой бледностью лиц, блеклостью или траурной чернотой одежд.

— Поднимитесь высоко: мир увидится иначе, — говорил Ярошенко, убеждая Всеволода не тянуть с отъездом. — Когда смотришь с седловины хребта, как восходит солнце, когда обливается золотом снежный купол Эльбруса, когда внизу, в расщелине, синие с ночи деревья начинают зеленеть под касанием солнечных лучей, когда бегущее по небу облачко, зарозовев, вдруг замирает неподвижно в глубокой, сверкающей голубизне, — в такие минуты чувствуешь свою причастность к вечному, точнее и спокойнее сознаешь свое место в мироздании, постигаешь истинные ценности и освобождаешься от призраков.

— Да, да, — отвечал Всеволод, — высота корректирует зрение, особенно зрение духовное.

Помолчал — и спросил:

— А там, наверху, не одичаешь, как Робинзон у Сентина?..

Последняя их «суббота» у Ярошенок.

Михайловский, прощаясь, огорчался, что долго теперь не увидятся, обещал летом навестить в Кисловодске. Всеволод заговорил горячо, не выпуская руку Михайловского из своей:

— Мое отсутствие не будет заметно. Вы, Николай Константинович, возлагали на меня большие надежды. Я их не оправдал. И все

же могу не то что надолго уехать, умереть могу спокойно. Теперь все наши надежды оправдает Чехов.

Михайловский хотел было что-то возражать, но Всеволод прижал его руку к своей груди:

— Поверьте, Николай Константинович, у меня точно нарыв прорвался; я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал.

Только что, в мартовской книжке «Северного вестника», появилась «Степь», Всеволод ее читает и перечитывает — разве можно сейчас что-нибудь читать, кроме «Степи»! Говорит, что Чехов помог ему увидеть русскую жизнь чистыми глазами ребенка, увидеть, как отражается она в простой и чистой душе; повесть укрепляет веру в добро...

На днях встретили на улице стайку мальчиков-фабричных, худых, бледных, плохо одетых, в полупальто со взрослого плеча, в больших не по размеру сапогах, от этого худоба их рук, ног, шеи была особенно заметна; мальчики сквернословили, дымили папиросками, похоже, были навеселе. Всеволод остановился, стал спрашивать, кто они, откуда, чем занимаются; мальчики отвечали бойко, без робости, звонко сплевывали на тротуар. Оказалось, работают подручными на стекольном заводе, работа тяжелая, по двенадцать часов у огненных печей; детей на заводе много, девяти- и десятилетних. Всеволод сказал: «Вот так Егорушки из „Степи" превращаются в глухарей». Мальчики нетерпеливо переминались с ноги на ногу. От угла, заметив непорядок, неспешно, руки за спину, направлялся к непредусмотренному скоплению народа полицейский чин. Она взяла Всеволода под руку, почти насильно увела прочь — поразили его эти мальчики у огненных печей.

Зимой Всеволод вступился на Невском за девушку, заподозренную в проституции, дворники и полицейские с ругательствами и побоями волокли ее в участок; кончилось дело тем, что самого же Всеволода и привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка. «У каждого свой пост», — говорит в «Происшествии» Надежда Николаевна; никому не позволено нарушать установленный в обществе порядок. Молодой человек, полюбивший Надежду Николаевну, покончил с собой, но порядка не изменил, и когда сама Надежда Николаевна попробовала покинуть свой пост, она получила в грудь пулю. Все остается на своем месте...

Прожить один, последний день и увезти Всеволода из Петербурга, от серятины и слякоти этой, от сырого ветра, пронизывающего до костей, от мучительных сцен, каждую минуту его подстерегающих, от повседневных происшествий, отзывающихся в нем мучительными мыслями, болью душевной. «Мой ад всегда со мною», — часто повторяет он, от себя, конечно, не уйдешь, но разве синее небо, снежные вершины, скалы, пропасти, холодные реки — разве все это не помо-

гает человеку хотя на время взглянуть на мир иначе — коррекция зрения!

Это будет их свадебное путешествие, и, может быть, к этому путешествию она готовилась всю свою прежнюю жизнь, когда с первого взгляда там, в Николаевском госпитале, девчонкой поверила Всеволоду и пошла за ним. Все вокруг, и он первый, любят уважительно поговорить о твердости ее натуры, о ее уверенности — ах, как хотелось волосы золотистые по плечам распустить, голову милому на плечо склонить, разнежиться, волю себе дать! Во имя их любви стала уверенной и твердой, во имя их будущего! Пока два года ждала его из небытия — друзья-недруги твердили, уши прожужжали, что ждать не следует. Пока, не останавливаясь, не сворачивая, как одержимая, стремилась к врачебному диплому, постоянно обделяла себя в радостях и развлечениях, дня занятий не пропустила, цеплялась за многострадальные женские курсы, всякое лето практиковала на заводе или в деревне, отказывалась участвовать в сходках и протестах (сколько горьких обидных слов переслушала) — все ради бумаги с большой гербовой печатью, дарующей профессию и работу. Пока неведомую судьбу, ей от рождения уготованную, изжила в себе, ради их со Всеволодом судьбы, любви, будущего. И кто знает, не теперь ли, не с этого ли путешествия вдвоем, неизвестно толком куда и насколько, начнется их будущее?..

Снова плачет ребенок. Детей у них со Всеволодом не будет никогда. Всеволод тоскует, но нельзя им детей: болезнь — вот он меч Дамоклов.

«И растет ребенок там не по дням, а по часам», — низким, красивым голосом заводит нараспев в соседней комнате кормилица. Всеволод научил ее читать девочке пушкинскую сказку...

Упакованы чемоданы, корзины, осталось завернуть постели в клетчатые дорожные портпледы.

Все, что не берут с собой, — посуду, книги, мебель — дядя любезно согласился до их возвращения держать у себя на таможне.

Через несколько дней Вера с девочкой уедет в Орел, к родным.

Домохозяину уже заявлено, что квартира освобождается.

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет...»

Странно, что Всеволод не подошел к ребенку.

Неужели уснул?

Девятый час...

Екатерина Степановна

Вдруг ветер ледяной сорвется, помчит снег по прямым улицам и проспектам, швырнет в лицо, а не страшно, по всему видать — весна.

Лед на Неве почернел, у берегов оттаял местами, напротив Адмиралтейства сняли проложенные по реке пешеходные мостки, еще неделя-другая — затрещит, загудит, двинет махина.

На днях дочитала «Степь» Чехова: сюжета нет, длинно, скучновато, но в целом прелестная вещь; описания степи, постоялых дворов, деревень напомнили Екатерине Степановне далекую юность, отложив книгу, она сладко запечалилась от воспоминаний, от того, что юность безвозвратно прошла, но тут же подумалось, что все эти годы прожила она пусть нелегко, зато хорошо, упрекнуть себя не в чем, самоотверженно служила и служит любимым людям, многое успела и, хотя вот-вот повернет на седьмой десяток, многое еще предстоит.

Чехов вчера заглянул к ней на Греческий, в книжный магазин, очень приятный молодой человек, взял собрание сочинений Полонского (по записочке Якова Петровича), целый час просидел с нею (оказалось — почти земляки), славно побеседовали, повести тоже коснулись слегка, перебрали дорогие для них, былых степняков, подробности — лиловую даль до самого горизонта, курганы, машущие крыльями ветряные мельницы, горячие лучи полуденного солнца, раскаленную, потрескавшуюся почву, торопливые шары перекати-поля, стрепета, вспорхнувшего у самой дороги.

Но как ни сладки воспоминания, ни на какую солнечную степь не променяет она, Екатерина Степановна, слякоть петербургскую, потому что только здесь, в самой центре, мир духовный, встречи, общения — вот хоть с Чеховым, который быстро входит в славу, — только здесь подлинный интерес к жизни, а не жалкое, безразличное существование.

Как бессмысленны долгие, нескончаемые месяцы, которые приходится ей проводить у старшего сына, у Георгия Михайловича: кружок уездных чиновников, идеи, рассуждения, мечты — все с вершок ростом, а Георгий Михайлович, маленький, ничем не приметный, и там теряется в сером кургузом своем пиджачке — чисто воробей.

И не бесталанный, одарила природа и памятью, и разумением, начнет сыпать анекдотами, забавными историями из захолустного быта, который по следственным своим делам, что называется, изнутри постиг, заслушаешься. Сколько раз надоумливала: записывай да печатай в газете, братья помогут («провинциальные фельетоны» или, к примеру, «письма из провинции» — очень даже недурно!). Нет, чирикает впустую, потешает первых попавших под руку собеседников — это у них от папаши безумного, от Михаила Егоровича, покойника, пристрастие какое-то к незаметности.

Про Чехова рассказывают, что, приехав из Москвы на неделю в Питер, стал было в гостинице, да Суворин, Алексей Сергеевич, перевез к себе, предоставил две комнаты с роялью, камином и лакеем. Чехов, говорят, посмеивался, дескать, неловко было отказаться, рояль он от робости обходит стороной, а лакей суворинский прилич-

нее его, Чехова, одет, физиономию же, сравнительно с ним, имеет графскую, но смейся не смейся, сам Суворин предложил, перевез в свои хоромы (за квартиру, всем известно, двенадцать тысяч платит!).

Всеволода слава не тише чеховской гремела, а никогда на виду не был, никогда не умел себя показать, заявить, вечно где-то прятался, будто растворялся (умные-то люди недаром говорят: скромность — кратчайший путь к безвестности). В войну за подвиг крестом наградили, в офицеры произвели: крест по ошибке не дали, в отставку вышел прапорщиком (а при его-то славе недолго послужи — куда как мог в чинах продвинуться). Всюду — и в литературе — так и держит себя отставным прапорщиком. Хваленые «Отечественные записки» ему — Всеволоду Гаршину! — меньше, чем другим (почти безвестным) платили, он нет чтоб прибавки просить (не денег ради, хотя и они не лишние, — ради принципа!), еще всех убеждал, что пишет дурно, что и свой-то гонорар чуть не по ошибке получает.

Теперь бегает по всему Петербургу с чеховской «Степью»: можно, дескать, умирать спокойно, российская литература в надежных руках (Женя рассказывает). Пусть бессознательная, а уловка, опять уловка, чтобы себя не взнуздывать, за шиворот к письменному столу не тащить, тешить свое безволие. Чехов всякий месяц выдает по рассказу, по два и по три, а Всеволод Гаршин за год одну сказку напечатал, да и та, кур со смеху уморил, пять страничек в детском журнале — «Лягушка-путешественница»! (Миша Малышев по старой дружбе картинки нарисовал...)

Она ли ему не помогала, не способствовала, тайные переговоры вела и с покойным Иваном Сергеевичем, и с Михаилом Евграфовичем, все без толку, ни помощью ее воспользоваться не умел, ни славой своей распорядиться. Слушал бы ее, не обретался бы теперь в дешевых доходных домах, по дворам да по верхотурам, и камин был бы, и рояль, глядишь, и лакей с графской рожей, ну, не лакей, так хоть горничная, стыдно сказать, знаменитый писатель, придешь в гости, некому пальто принять (с тех пор, как Веру Михайловну у себя поселили, порога ихнего не переступала — и не переступит: пусть выбирает между матерью и бог весть кем!..).

Сама виновата, не доглядела, отдала, упустила, признаться, никак не полагала, что после двух лет болезни у Всеволода с медицинской его студенткой так быстро дело сладится, хватилась, да поздно: Всеволод, он ведь что поплавок, кораблик детский, какой поток его подхватит, тот и понесет.

Зазевалась, Екатерина Степановна, и обошли тебя. Георгия Михайловича, хоть старший, третий раз женила, невесту нашли с некоторым даже состоянием, притом совершенно без претензий — до беды сына не доведет. Живут опять же в дыре уездной, в каких-то

Крестцах (квартира, правда, хорошая), компания по-прежнему никчемная (болтливый товарищ прокурора с шуточками вроде — «шел дождь и два студента») — умом не принимаешь, но хоть сердце спокойно!..

А медицинская эта студентка (язык не поворачивается, душа не поворачивается Гаршиной назвать) век не простит несчастной матери, что старалась слабого, больного сына для его же будущего от любви, от женитьбы удержать.

Все по ее, по-матерински, вышло: где Всеволода надо крепко в узде держать, супруга ему попускает — докатились: будто и нет больше Всеволода Гаршина, не пишет, не печатается, со службы выгнали, теперь и вовсе увозят из Петербурга, в глушь, в безвестность, вместо того чтобы дело делать, будет на какой-нибудь горе сидеть, хандрить да плакать; вон ведь и Михаил Евграфович говорит, что современному писателю непременно надо жить в Петербурге.

Лев Толстой не в счет.

Чехов, дай срок, тоже в Петербург переберется — и камин заведет, и рояль, и фатеру за двенадцать тысяч.

А ведь какое начало было у Всеволода, какое начало!

Другой-то на его месте из «Четырех дней», от стола не подымаясь, четыре романа бы сделал, а Всеволод что в руках держал, и это выпустил.

С таким началом, как у Всеволода, можно было в Толстые, в Щедрины выбиться — утекло между пальцев.

Писатель, известное дело, должен писать, и Всеволоду от его болезни одно спасение — письменный стол, он же все с ног на голову ставит (а супруга — домашняя медицина! — ему поддакивает) — не пишет, дескать, оттого, что болен; а тут с другого конца глянуть надо: оттого болен, что не пишет. (К слову: попросить Женю найти что-нибудь из новых французских рассказов для перевода — иногда такие славные попадаются, про любовь, и переводить интересно, и публика читает да похваливает...)

Шесть лет назад, когда отсиживался у братца Владимира Степановича, они с Женей ему твердили: «пиши», — наконец, послушался, махнул в Питер и — как разговелся: «Рядовой Иванов», «Красный цветок», «Медведи» — почти подряд!

Сколько ни бегай Всеволод по городу с книжкой «Северного вестника» в руках, сколько ни читай любому встречному-поперечному чеховскую повесть, Екатерину Степановну не переубедишь: рядом с болгарским походом, с медвежьей казнью, виды степи, ветряки да стрепеты не больно много тянут. На публичных вечерах Всеволод читал, бывало, «Красный цветок» — разве что на руках автора не выносили, она, мать, непременно в первом ряду, лицо от гордости горело, точно опаленное степным солнцем, задыхалась в грохоте

оваций — где все это? Потерял — как портсигар серебряный (студентки своей подарок).

Женя в газетном обзоре отозвался о «Степи» без восторгов, Всеволод, передают, ужасно возмущается, оскорблен даже — своими бы делами занимался с подобным рвением (Чехов в разговоре виду не подал, что читал Евгения Михайловича обзор, а ведь читал, конечно).

Женя намерен собрать свои статьи, напечатанные в газетах и журналах, издать отдельной книжкой (том посолиднее получится, чем Всеволодовы собрания сочинений) — кто знает, не настает ли пора Гаршина Евгения!

Женя молодец, самому Толстому разнос устроил за драму, за «Власть тьмы» — среди общего восхищенного хора как припечатал: суетная гордыня графа не знает пределов, между тем пьеса безнравственна и в драматургии великий Лев ничего не смыслит. Всеволод прибегал объясняться, прямо зашелся от негодования, глупый. Оно не в том дело, хороша пьеса или плоха, но Женину статью не заметить невозможно: вот ведь на Толстого не струсил, замахнулся! Великая слава в искусстве часто начинается со скандала.

Должна же когда-нибудь судьба вернуть ей, пусть не сторицей, пусть одно посеянное.

Вожжи из рук не выпускала, да что вожжи, сама в хомут и в оглобли, по ямам, по колдобинам, тащила сыновей на просторную, гладкую дорогу.

И пожалуйте — приехали: на станции золотиловские сестрицы тут как тут, желают по счету получить с процентами!..

Всеволод, что там ночная кукушка ни кукует, а не отрезанный ломоть, прибежал-таки прощаться перед Кавказом этим дурацким — плакал, руки целовал: давайте, мама, расстанемся мирно.

Да зачем же тебе, Всева, глупенький, с матерью, с братом расставаться, — думаешь, Надежда да Вера заменят тебе материнскую Любовь (такое удачное словцо у нее выскочило)!

Пепельница на столе (Фаусек Виктор Андреевич подарил), фарфоровая, в виде яичной скорлупки с отбитой верхушкой, забавная, как ее ни вали, встает на тупой конец, у Всеволода руки секунды покоя не знают, говорит, говорит, а сам норовит фарфоровое яичко на бок уложить, скатерть бархатную, темно-коричневую, пеплом засыпал — да оставь ты, Всева, вещь в покое, не послушается она тебя, все равно будет торчком торчать. (Фаусеку профессуру сулят, а ведь Женин ровесник, Всеволод его латинским наименованиям учил.)

Она на Всеволода смотрела, вдруг нахлынуло, вспомнила, как ребенком пирожки в дорогу складывал, прилаживал сумочку на плечо — на войну идти, и как в самом деле на войну пошел, и она отпустила, и как ждала его, сводки с фронта, списки убитых читала, хоть имя не полагала найти (вольноопределяющийся — не офицер),

а от безымянных цифр еще страшнее! Убитых — 52, убитых — 12, убитых — 1, совсем страшно: а ну как один-то этот — он, Всеволод! Участь материнская... Нахлынуло, разнюнилась, себя жалко стало, чуть слезу не пустила — одумалась.

В «Медведях», как и в «Ночи», мечтою в далекое детство погружаясь, Всеволод снова про отца, про Михаила Егоровича. Снова бессмысленные, несчастные годы, когда совершенным еще младенцем жил рядом с никчемным этим человеком, оказываются для него самыми светлыми и счастливыми годами жизни. Она вспоминает мужа, раздражающую нелепость его слов и поступков, самого его вида. Его лицо, всегда будто испуганное, изможденно худое, с дурацкими реденькими бачками, которые он пощипывал, задумываясь невесть о чем. Его склоненную набок, точно к чему-то прислушивался, голову. Его взгляд, недоверчивый, искоса, через плечо. Его нерасчетливые движения — прежде чем сделать что-нибудь, он долго переступал с ноги на ногу, тыкался в разные стороны руками. Его дурацкую привычку неожиданно появляться в комнате и так же неожиданно уходить прочь... И ведь околдовал Всеволода, неведомыми чарами опутал! Вот где обида смертельная: десять лет пишет — хоть бы словцо про страдания матери, про жертвы ее, про самоотверженность любви материнской. Ну, да ведь имеем — не храним...

А Всеволод все на бок валит, все крутит в руках фарфоровую скорлупку — да уймись ты, господи, в глазах уже мелькает от суеты его жестов, голова кружится! Он все толкует про семейную эту историю, про обманутую Веру Михайловну, про несчастного, брошенного младенца («Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» — говорят, он пятимесячному дитяти сказки Пушкина читает), а коли поразмыслить, но — по совести, что ж тут худого, преступного: из четырех сыновей один добрый нашелся, не пожелал старуху-мать оставить (не побежал хвостом за юбками корыстных медичек золотиловских)!

Плачь, рыдай, затыкай пальцами уши (пепельницу уронил на пол, хорошо — не разбил), руки ломай в отчаянии, никуда ты с материнским проклятием не уедешь, после еще спасибо скажешь, как за перо возьмешься: не в Петербурге тебя удержала — в литературе удержала! Чем с чужой повестью бегать, читать по два раза на дню, пример бы с Чехова брал или вот хоть с брата младшего, с Евгения Михайловича — за роман принимается: опомнись, Всеволод!..

...Вдруг так ясно представилось, как ее, маленькую еще девочку, лет одиннадцати, везут из Приятной долины (так имение отца в Бахмутском уезде называлось) куда-то к родне, в Николаев или Одессу, мягко стелется под колеса брички пыльная дорога, а вокруг желтая выжженная степь, высокое прозрачное небо, воздух, застывший от зноя и тишины, стрекотание сверчков и кузнечиков, от которого зной казался еще сильнее, а тишина еще оглушительнее; время от

времени останавливались отдохнуть на берегу какой-нибудь подступившей к дороге речки, в зеркале ее чуть смазанные неровным по мелководью течением повторялись голубое небо, в котором, бесшумно взмахивая крыльями, проплывала птица, купы прибрежных верб, заросли камыша; пока ехали, она, девочка, неотрывно вглядывалась в даль — крыши домов, белая колокольня на горизонте заставляли сильнее биться ее сердце, ей чудилось, что там, на другом конце степи, ждет ее новая, неведомая и непременно счастливая жизнь...

На улице упрямо не светает, день начинается мрачный, ветер поет за окнами, но год уже повернул на весну, земля неудержимо мчится к солнцу.

Забот полон рот: надо побывать на Греческом, в магазине, перебелить новую рукопись Евгения Михайловича, к вечеру по случаю субботнего дня, без сомнения, гости нагрянут (попросить запиской Якова Петровича, чтобы Чехова привел).

Пора за дела приниматься.

Девятый час...

Гаршин

Часы, представьте себе, взяли да остановились.

Часы, надо сказать, были в свое время куплены необыкновенно удачно: шесть лет шли без починки, надо было, пожалуй, почистить механизм и подрегулировать слегка — сил не нашлось душевных...

В соседней комнате ребенок плачет, подойти скорей — благо, нынешнюю ночь и не раздевался, — прижать дитя к груди, успокоить (если удается сердце особенным образом повернуть к ребенку, он непременно затихает — вот так!).

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет...

Веру жалко, пусть Вера поспит...

Пусть все спят, кто может спать в такую ночь!

Ночь, впрочем, преординарнейшая, совершенно невыразительная ночь.

Ветер по морю гуляет...

Виктор Андреевич — Фаусек — посмеивается, по привычке то и дело откидывает рукой мягкие пряди волос за любопытствующие, оттопыренные уши: петербургская погода, говорит Виктор Андреевич, помилуйте, да это нонсенс, сами эти два слова, поставленные рядом. Ну, какая теперь в Петербурге погода? Чтобы признать ее существование, должны быть какие-либо выраженные погодные явления, а таковых нет; разве что три года тому в мае вдруг выпал невиданный град, каждая градина с грецкий орех величиной, а с тех пор никаких погодных явлений на пари не назовете. Хорошо, если удается отличить одно от другого времена года; ну, сделайте одолжение, взгляните за окно — воздух наполнен влагой, как перенасыщенный рас-

твор, но дождь не выпадает каплями на землю, и посреди этой бани вдруг ни с того ни с сего взовьется адская метель — просто черт знает что такое.

Он спорит с Виктором Андреевичем: может быть, отсутствие нормальных погодных явлений и есть феномен петербургской погоды.

К Фаусеку зашел третьего дня одолжить инструменты для ботанизирования. Друзья, к кому ни ткнешься, обступили со всех сторон, подхватили под руки, поддерживают за спину, словно подвыпившего гуляку из клуба, выпроваживают из Петербурга.

Виктор Андреевич расписывает ему прелести дальних странствий: вот, изволите видеть (разложил на столе большую карту, блуждает пальцем по расцвеченным густой коричневой краской хребтам и вершинам Кавказских гор), вот, изволите видеть, Теберда, из Кисловодска за два-три дня доберетесь без всяких сложностей, а вот, правее, Эльбрус, тоже рукой подать! Фаусек, увлекаясь собственным рассказом, рисует прельстительные картины: сияющие алмазным блеском вечные снега, вспененные реки, с грохотом падающие со стремнин, ущелья и пропасти, а на высокогорных лугах — какие бесценные находки для гербария!

Два года назад добрый Виктор Андреевич с той же страстью соблазнял его прикаспийскими степями, слал оттуда письма, составленные в тоне надписей на памятниках ассирийских царей, что-нибудь вроде: «Я, Фаусек Первый, совершил большие подвиги, обогатил мой ум познанием и сердце веселием. Я проехал в бричке Кара-Ногайские пески и ужасные солончаковые степи. Я катался в лодке по морю Каспийскому и посетил рыбные промыслы. Я был в Черном рынке, где неистовые блохи хотели съесть меня заживо, но я остался цел и невредим...» И еще что-то веселое, в таком же духе... По приезде Виктор Андреевич рассказывал, что обнаружил посреди пустынной степи роскошный искусственный оазис: устланные коврами палатки, навесы от солнца, накрытые столы, очаги для приготовления пищи, — здесь встретились для обсуждения взаимных действий против саранчи губернаторы астраханский и ставропольский; вельможи потребовали путешественника к обеду, в течение которого произносили друг за друга тосты и запивали оные остуженным во льду (среди степей!) шампанским; высокие мужи, прибавлял Фаусек, вид имели никак не ассирийский, зато совершенно щедринский, и всяким своим словом подкрепляли утверждение нашего сатирика, что климат лишь тогда вполне хорош, ежели и губернатор соответствует...

Михаил Евграфович нынешнюю зиму чувствовал себя совсем худо, жаловался, что пишет мало и трудно, ругал по обыкновению докторов, впрочем, отчасти находил им оправдание в том, что щемящая скорбь, которая мучает его больше кашля, камней в почках и трясения рук, докторскому диагнозу недоступна...

Щемящую эту скорбь из сердца кавказскими видами не вытравишь — мой ад всегда со мною — он, Гаршин, точно лягушка-путешественница: куда ни волоки его по небу, непременно, в конце концов, издаст скорбный вопль и плюхнется в болото; но ехать надо, он рад ехать, за ярошенковскую дачу ухватился, как за соломину, он чувствует приближение болезни, надвигается неумолимо, как ночь, — убежать, обмануть, тут уж согласишься и в горы Кавказские, и в Кара-Ногайские пески, и к черту на рога...

Виктор Андреевич склоняется над картой и так убежденно, так красиво — про снежные вершины, про каменистые тропы, про девственные леса на склонах гор, — снимает очки, протирает платком, быстро взглядывает на Надежду Михайловну, закидывает за ухо упавшую на лоб длинную прядь, снова взглядывает...

Бедная Надя, как невыносимо тяжело, как страшно однажды увидеть его другим человеком, не отвечающим ни за помыслы свои, ни за слова, ни за поступки! Как для него невыносимо страшно таким перед ней появиться! Всего же ужаснее, что рядом с тем завтрашним безумцем будет неотлучно пребывать он обыкновенный, с его понятиями и проклятой памятью, но бессильный, безвольный — ни остановить ему себя того, ни обуздать, ни поворотить — участь горькая навеки запоминать слова того и поступки, да в короткие минуты ночных прозрений горько рыдать над собой — тем...

Он положительно обладает секретом успокаивать детей (а все очень просто: нужно только почувствовать, что сердце у тебя горячее, и усилием воли посылать тепло ребенку), можно опять положить девочку в кроватку...

Минувшей весной Александр Яковлевич Герд уволок его в Крым — такая же была слякоть и серость, такая же смута душевная (в разгар нахлынувшей мартовской тоски нежданно-негаданно сорвался еще и меч Демоклесов: тягостная семейная история, предательство брата — язык не поворачивается произнести обычное «Женя» — «Евгений», «Евгений Михайлович»); в путешествии, однако, развеялся и освежился, загорел, как голенище, хотя весна только набирала силу (Гурзуф встретил их даже крупным, сухим снегом). Листья на многих деревьях еще не распустились, но первая крымская флора была восхитительна — подснежники, фиалки (*виола одората*), розово-фиолетовые примулы, нежно-голубые сциллы, цветение иудина дерева, персиков и миндаля, отчего скаты возвышенностей утопали в сиреневом, розовом и молочно-белом тумане. Из Ялты поднимались верхом к водопаду Учан-Су, то, что снизу виделось темно-зеленым мхом, оказалось вековыми пятнадцатисаженными соснами, кружась тропой между деревьев, взобрались на страшную высоту, под ногами скалы, вокруг дремучий лес, рев воды, облака водяной пыли — так на душе просторно сделалось, вольно, задышалось легко, уверенно, даль увиделась по-орлиному.

Новые впечатления оглушили звонким и свежим горным ветром, продули душу — так ветер очищает проспекты и улицы от зацепившейся в них густой, удушливой сырости — прогнали из головы мрачные опасения, ужасно захотелось писать.

Тогда, перед самым их путешествием, в Петербурге отмечали полвека со дня смерти Пушкина. Отмечали скучно, с паточным и вместе казенным однообразием, утром всюду, где только возможно, служили панихиды, после обеда в заседаниях всевозможных обществ произносили похожие на панихиды торжественные речи и ученые доклады, кадили, славили. Завсегдатаи юбилеев спешили поспеть из Конюшенной церкви в университет, из Царского Села в академическое собрание, публики всюду было хоть отбавляй, только Пушкин нигде не появился. На Черной речке определили место гибельного поединка — и тоже собрались, чтобы страшное и святое это место почтить. Там, на Черной речке, в первые, молчаливые минуты почудилось было, что от сугроба отделилась почти прозрачная, чуть мерцающая в белом воздухе тень, в правой руке пистолет, в левой сброшенная с плеч шуба, но тут захороводили ораторы, тень помедлила как бы в раздумье и тихо растаяла. Вечером дома он читал Наде вслух «Онегина», вдруг впервые всем существом своим прочувствовал веселую прелесть двух смешных строф, повествующих об отъезде Лариных из деревни в Москву: «Ведут на двор осьмнадцать кляч», — прочитал он, изумляясь, что никогда прежде не сознавал буйное, прямо-таки фантастическое очарование открывшейся ему картины, и не в силах сдержаться заплакал — не оттого, что расстроился или нервы шалили, заплакал от счастья, что такое сочинено, создано, существует в мире...

Из Севастополя в Ялту плыли на пароходе «Генерал Коцебу»; ночью, в три часа, он вышел на палубу, взобрался на мостик; справа и слева за бортом плавно качались, подымаясь и опускаясь, черные, сверкающие в лунном свете глыбы, крупные соленые брызги долетали до него, обдавали ему лицо, он не стирал их, радуясь, что на обдуваемые ветром лоб и щеки, чуть стягивая кожу, ложится тонкий слой соли...

Стараясь перекричать шум волн, он читал вслух стихи. Ветер по морю гуляет... Нет, не эту застрявшую, точно заколодило, в голове строчку — в ту ночь он повторял другое, совершенно подходящее случаю...

Внизу, под ногами, в глубокой утробе машинного отделения громко стучал двигатель, железный корпус судна непрестанно вздрагивал и дребезжал, из высокой трубы позади мостика валил густой дым, черневший на фоне яркого неба, по которому мчались облитые лунным светом облака, временами из трубы, как из самоварной, вылетали красные искры, и все-таки «послушное ветрило» шумело и «угрюмый океан» волновался, и Пушкин был — крепко держась за

мокрые поручни, он стоял на самом носу, в плаще, развеваемом ветром, и смотрел, как под напором корабля раздаются надвое черные сверкающие пласты воды...

В ту ночь явственно показалось, что музы от него, от Всеволода Гаршина, лица не отвратили, дай срок и скоро снова возьмется за перо, и это радостное, ощутимое физически — каким-то особенным покалыванием в пальцах, томлением в груди — предчувствие писания уже не оставляло его в течение всего путешествия.

Взбирался ли он на Аю-Даг (1918 футов), карабкался по скалам, собирая свои травки для гербария, или ехал по петлистой дороге в общественном плетеном экипаже (точно корзина на колесах), в воображении он устраивал на бумаге будущие свои сочинения. Не то чтобы подробно обдумывал замыслы, ясно, до мелочей, представлял себе картины, тем более искал единственно точные слова — нет, именно устраивал: вот он сидит за столом, обмакивает перо в чернильницу и — странно — не по буквам, а какими-то «массами», как сказал бы живописец, размещает нечто — он и сам пока не знал что — на больших листах бумаги...

Может быть, это была «петровщина», как для себя называет он еще не ясный до конца замысел большого исторического романа, — скорей всего, это была «петровщина»: он тогда, путешествуя, купил в Одессе и от корки до корки прочитал шестнадцатый том «Истории» Соловьева, как раз повествующий об эпохе великих преобразований...

Большой исторический роман, чего доброго, — эпопея! Гаршин — и роман: смешно и грустно! Всякий раз циклопические его замыслы оборачивались (и то хорошо!) десятком страничек рассказца, гора рождала мышь — но в силах ли что-нибудь остановить, погасить мечту, как задувают свечу? В узорах розовых обоев, которыми оклеена комната, видятся ему изображения старинных гравюр — башни, крепости, славные баталии, белые дымы над стволами осадных орудий, округлые, как купы прибрежных ветел, полные ветром паруса плывущих победным строем кораблей... Подымаются города, возводятся оглушающие железным грохотом, опаляющие красным пламенем печей заводы и фабрики, рубятся канаты, ловят парусами попутный ветер, убегают прочь от верфей трехмачтовые красавцы, флот российский уверенно привыкает к победам. И все это «петровщина»... Но оборотной стороной — кровь и пот народа, тысячи убитых — снарядами, пулями, голодом и холодом, бичами и дыбами, втоптанных в землю могучей поступью преобразований — тяжелыми подошвами сапог, орудийными колесами, катками, подложенными под днище спускаемых на воду судов... и все это (никуда не денешься) тоже «петровщина». В какой-то книжке вычитал: когда строил Петр новую столицу, требовал во всем строгого отчета, в каждой тесине, в гвозде каждом, не ставили в ведомость лишь число умерших рабо-

чих — не на одних сваях, на костях людских поднялся стоящий за окнами Петербург...

Неужели невозможно творить добро, на каждом шагу, как воду в следах, оттиснувшихся на влажной весенней земле, не оставляя за собой зло, неужели таится оно непременной частью и в самом высоком помысле?.. Бедный, добрый Ив*а*нов, гаршинский молодой человек, как именуют его иные критики, — куда ни повернется, носом ли уткнется в муравья да былинку, обитающих близ лица его на сорном пятачке земли, обратит ли взор в бесконечное небо, усеянное звездами, — подставляя грудь, желает того или нет, убивает.

«За мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть...» — как увлекательно звучит, как захватывает, манит с отрочества затверженная фраза! Есть ли что выше, дороже, страшнее — ради высокого помысла принесенной жертвы, сына родного, отданного на заклание? Дело царевича Алексея требовательно просится в центр будущего романа.

Живота своего не жалею, то како могу тебя пожалеть... Но не выше ли — непотребного пожалеть? Не б*о*льшая ли слава могучему кораблю, когда отворачивает чуть в сторону, чтобы не раздавить, не утопить идущую наперерез шлюпку?..

Да вот беда: немощный царевич, к ногам отцовым припадая, молил себе клобук монашеский, уединенную деревеньку, а в кругу сообщников похвалялся, что клобук не гвоздем к голове прибит, что, дай срок, дождется отцовской смерти или супротив отцова трона большого бунта — и тотчас все по-своему повернет: флот потопит, города забросит, прежних людей петровских лютой смертию переведет...

Год назад стоял потрясенный перед суриковской «Боярыней Морозовой» — потрясенный в такой же потрясенной толпе. В зале толпа и на холсте тоже потрясенная толпа: что там ни думай об исступлении мученичества и жертвы несчастной Федосьи Прокопьевны, как о ней ни суди, какая бы дикая, чуждая истинной человечности идея ни владела ее душой, какие бы мрачные призраки ни руководили ею, но если человек угнетен, если он в цепях, если его влекут на пытку, в заточение, на лютую казнь, толпа всегда будет останавливаться перед ним и прислушиваться к его речам. Он стоял перед картиной и сострадал обреченной на гибель боярыне, ибо не встретила в мире, уготованном ей судьбой, живой жизни, куда могла бы отдать деятельную свою любовь, страсть, самоотречение, — но вот осилил себя, стряхнул чары искусства и, мученице низко поклонившись, мысленно увидел ее не в цепях, не на позорных розвальнях, а на троне, облеченную знаками власти. «О, дайте этой Морозовой, дайте вдохновляющему ее Аввакуму власть — повсюду зажгутся костры, воздвигнутся виселицы и плахи, рекой польется кровь, и бездушные призраки примут многую жертву», — писал он в последней

статье о живописи, не оконченной: пообещал журналу продолжение, да так и не осилил...

«Не о себе пекущеся, но о множех», — занес в тетрадку начало рассказа ли, повести ли о неистовом протопопе Аввакуме, одну только строчку, а за ней неотступным видением: человек, о многих пекущийся, на смертную жертву себя обречь готовый, но его же волей вокруг чадно пылают костры, стоят, набычившись, иссеченные лезвием, напитавшиеся кровью плахи...

В памяти неотступным видением — постукивающая залепленными грязью колесами телега, длинный ящик, прикрытый рогожей, военный врач, вытирающий платком затянутую в перчатку руку, в дальнем конце плаца арестанты в серых куртках, громыхая досками, разбирают виселицу, еще дальше фабричные трубы дымят, свистят локомотивы...

Где теперь Лорис-Меликов с его цепкими бархатными глазами, хитрыми речами, щегольскими грубыми прибаутками? Говорят, совсем плох, умирает за границей от чахотки...

Пора быть утру, а не светает.

Поистине: дня не было.

За окном ровный немолчный шум, точно, ни на минуту не прекращаясь, идет там какая-то нескончаемая машинная работа, — ветер ли гудит, дождь льет, или крутит метель, или то, и другое, и третье, все вперемешку.

Он отбивал атаки Фаусека на петербургскую природу: нигде на юге не увидишь такой зелени, как в здешних краях; в Крыму дивно хорошо, но найдите-ка там, дорогой Виктор Андреевич, такую сочную, густую листву на деревьях, кустарники же, сравнительно с нашими, и вовсе чахлые и пыльные; Виктор Андреевич, однако, все свое — про богатство кавказской растительности (тысячу видов разных травок обещает для гербария)... Это друзья его выпроваживают, чтобы ехать не раздумал, тем более теперь, когда доктор Фрей, Александр Яковлевич, настоятельно потребовал его отъезда, — третьего дня были у него с Надей...

В гостиной у Фрея подобие зимнего сада, по трем застекленным стенкам большого прямоугольного эркера — жардиньерки и затейливые полочки, взбирающиеся до самого потолка, стебли причудливых растений карабкаются по всем направлениям, цепляясь за веревочки, специально для того протянутые, или, как бы выплеснувшись из горшочка, зелеными потоками стекают с его краев, посреди домашней оранжереи в кадке у окна преспокойно обитает, не помышляя о бунте, невысокая пальма. Горничная подала чай, на серебряном подносе красиво расставлены тонкого фарфора с позолотой чайник, молочник, сахарница; стол не накрывали, каждому под чашку была подложена свернутая квадратом салфетка, у Фрея чай пьют по-английски, крепкий, с молоком, и наливают в установленном

порядке — заварку в молоко, а после уже добавляют кипятку. Доктор бесшумно помешивал в чашке ложечкой, говорил, обращаясь больше к Надежде Михайловне, поучительно поднимал указательный палец левой руки, правой снимал пенсне, цеплял на поднятый палец, прикрыв глаза, потирал помятую пружинкой массивную переносицу. У Фрея случалось бывать и не в качестве пациента, здесь, в гостиной, за этим круглым столом красного дерева с бронзовой инкрустацией по краю, собирались послушать рассуждения Александра Яковлевича о многих явлениях человеческой психики. Фрей снимал и снова надевал пенсне, тыльной стороной ладони, снизу, от кадыка к подбородку, поглаживал ухоженную, с заметной рыжиной, бороду, говорил много, но топтался на месте, и смысл сказанного был один, чтобы побыстрее уезжали из Петербурга...

Вещи уложены, три чемодана, сак, портфель — из работы берет с собой лишь Монтескье «Персидские письма», для перевода; несколько месяцев назад начал было, перевел одиннадцать писем, потом дело споткнулось и остановилось; роман ему нравится — кто знает, вникая в чужой текст, глядь, и сам распишешься.

Вещи уложены, инструменты для переплетного дела запакованы в ящик, книги убраны с полок и тоже покоятся в ящиках, уже забитых, дворник Василий, силач с изрытым оспой лицом (кривой: левый глаз тоже пропал от оспы), вчера весь день, покряхтывая, ворочал тяжелые ящики, шоркая пилой, подгонял доски для крышек, ловко, одним ударом молотка, загонял в них гвозди по самую шляпку; года в квартире не прожили, но обои в проемах полок, за книгами, заметно темнее, чем в остальной части комнаты.

Непривычно освобожденный от всех прижившихся на нем предметов письменный стол стелется перед ним пустынной степью, ни деревца, ни кустика, лишь следы чернильных потеков и пятна клея на обивке — тенью оврагов, пересохшими старицами и белесыми солончаками, справа, в дальнем углу стола, под шаровидным стеклом золотисто сияет лампа восходящим над степью светилом, а впереди, на севере, за краем стола, как за горизонтом, прячется в темном окне Петербург...

Ничего он не написал, не писал той, прошлой, весной, возвратившись из Крыма, ни «петровщины», ни статьи о живописи, ни рассказа, ни повести, не сидел часами у стола, перо в чернила не обмакивал, не бросал на чистые листы, не устраивал на них густо теснящихся друг к другу строк — собирался, да прособирался, что-то испортилось, переменилось в хвостиках нервов, мысли, планы, громоздящиеся, как волны, до времени не разобранные слова, все вытряслось, улетучилось — оглянуться не успел.

Он переплетал книгу, низко пригнулся к столу, выравнивая тетради, прежде чем обрезать их, случайно поднял голову и увидел ржавое пятно на потолке — они жили тогда в доходном доме Бенар-

даки, узкий прямоугольный двор за спиной Юсупова дворца, мрачный подъезд в дальнем углу, узкая лестница, квартира в верхнем этаже, шестьдесят три ступени над уровнем Невского, — ржавое это пятно от протекшей крыши обычно казалось ему похожим на взмахнувшую крыльями птицу (Надя говорила, что птица эта не летит, а пляшет), но в тот раз вместо птицы билось в углу яркое пляшущее пламя, он успел подумать, не пожар ли, но тотчас понял — не пожар: пламя плясало в отворенной топке печи, работник Николай, крепкий веселый малый, сует туда охапками солому, огонь с шумным вздохом набрасывается на нее, соломины в одно мгновенье раскаляются яркими золотыми нитями, чернеют и рассыпаются белым пеплом, тень пламени колеблется на стене комнаты, которую он видит как бы сквозь пламя, по ту сторону печи, причудливый узор красного ковра то озаряется, поражая разнообразием меняющихся, как в калейдоскопе, фигур, то меркнет, как всегда неожиданно появляется отец, не тот суетливый с изможденным, изрезанным продольными морщинами лицом человек, которого он помнил, а молодой румяный офицер с приглаженными височками, в темно-зеленом мундире с высоким красным воротником и крестиком в петлице, отец с миниатюрного портрета, висящего в бронзовой рамке на стене, — он притворяет дверцу печи, отчего в комнате сразу делается скучно и мрачно, «спать, спать, дружок», — говорит отец и гладит мальчика по голове, он склоняется над столом и задувает свечу, в темноте несколько секунд тлеет красноватая точка и гаснет... Он вдруг почувствовал, как из пальцев, из-за грудины ушло томившее его ощущение способности писать, тело его наполнилось тяжелым испугом, а на стене, в углу, где желтая птица плясала, разбросав крылья, одна за одной, как на Валтасаровом пиру, загорались, чернели и рассыпались в прах тяжело влачащиеся строки о гибнущей его жизни — «уже напрасно в мире тлею»...

Скоро рябой Василий принесет на загорбке схваченную истрепанной веревкой охапку дров, с грохотом сбросит на пол и в последний раз растопит для них печь; в этой квартире устье печи расположено удивительно высоко, почти не нагибаешься, когда подбрасываешь полено... Сегодняшнего тепла до завтра хватит, а там пошлют за извозчиком, погрузят вещи (осталось постели завернуть в портпледы, но это завтра утром) и на вокзал; следом за ними и Вера с девочкой уедет к родным; потом с таможни от Нарвских ворот прогромыхает ломовик, начнут выносить мебель, ящики с книгами, выстудят комнаты — и уже новые жильцы заведут в них свое тепло...

Ночью плач ребенка заметнее, сильнее жалобит, чем днем; кормилица опередила его, поет тоненько, видно на руки взяла; «ветер по морю гуляет...» — подсказывает он слова. Вера не просыпается, намаялась, бедная. Он достает из кармана черные часы на длинной цепочке, замечательные часы, шестой год служат безотказно, лишь

изредка он сам чистит и регулирует механизм и ход, но часы стоят, утро нынче не наступает...

Сначала далеко впереди, где небо сходится с землею, загорается и ползет по степи широкая ярко-желтая полоса, следом такая же полоса начинает светиться ближе, а вот и еще одна появляется неведомо откуда и несется навстречу остальным, полосы сходятся, сливаются, и вот уже вся широкая степь сбрасывает с себя утреннюю тень и сверкает росою...

Множество раз видел он рассвет в степи, но пришел Чехов и заставил увидеть по-новому, увидеть и поверить, что всякий раз он видел именно такой и только такой рассвет.

Он читает и перечитывает чеховскую повесть, книжка «Северного вестника» истерлась, истрепалась (когда-нибудь, после приезда, он оденет ее в новый переплет), читая, он чувствует, что сбросил с себя огромную тяжесть, стопудовый жернов, который, куда бы ни двинулся, постоянно тащит за собой, шаг его становится легким, невесомым, воздух легко и сладко вбирается в грудь, хочется бежать, бежать, не останавливаясь, навстречу встающему над степью солнцу.

Он снова Егорушка, тот мальчик, для которого красное только красное, а не отражающее красные лучи, любовь только любовь, добро и зло всегда добро и зло, не путаются между собой, не оборачиваются одно другим. Жизнь в хорошем и дурном видится проще и зорче; перед чистым, не искаженным привычкой и недобрым опытом взором обычное оборачивается неожиданным, душа очищается, обновляется, рождается и крепнет вера, что по этим просторам, по широким, размашистым и богатырским дорогам хозяином будет шагать Илья Муромец, а не малорослый серый старичок-миллионщик...

В последний раз у Ярошенок он сказал, прощаясь с Михайловским: «Я умру спокойно, все наши надежды в русской литературе теперь оправдает Чехов». Николай Константинович ничего не ответил, лишь дольше обычного задержал его руку в своей...

Невыносимо стыдно за брата, за Евгения Михайловича, — точно целью поставил сделать себе имя, ниспровергая едва не всех, кто деяниями своими оправдывает не слишком радостное сегодня и вселяет надежду на завтра. Вот и у Чехова, высокомерно и походя разбранив «Степь» в «Биржевке», не обнаружил ни малейших признаков беллетристического таланта, объявил повесть скучной и требующей от читателя чрезмерного напряжения, чтобы стало охоты воспринимать все прелести художественного изложения. Стыдно, когда человек недостаток собственного чутья к прекрасному объясняет отсутствием самого прекрасного. Когда Евгений Михайлович горячее, пожалуй, чем следует, пишет в статье, что усердно восхищаться произведением Чехова можно, лишь желая показать себя человеком, чутким к красотам художественного слова, сразу понятно, в чей огород камень, — обидно за Женю...

Книжники и фарисеи привели к учителю женщину, уличенную в прелюбодеянии, и сказали ему, что заповедано в законе побивать таких камнями; он же, чертя пальцем по земле и не глядя на обвинителей, отвечал: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Поленов взял эти несколько стихов евангельской притчи сюжетом картины и справился с задачей превосходно. Живою передана толпа, охваченная несознанным чувством, равно готовая через минуту бить или плакать или кричать «осанна!», и эта грешница с наивным лицом ребенка, не постигающая своего падения, и озлобленные фарисеи, задающие ненавистному бунтовщику вопрос, который его погубит, — они уверены, что он дарует грешнице жизнь и тем закон нарушит, и спокойно пишущий пальцем по земле человек, уверенный, что сумеет ответить, ибо в душе у него есть живое начало, могущее остановить зло.

Он подробно хвалил картину Поленова в неоконченной статье о живописных выставках. Не удержался: напомнил о таких же грешницах, которых видим каждый день на наших улицах, о добросовестном полицейском, который тащит их, куда, как полагает, почему-то тащить следует.

Страшная сцена: по приказу агента в штатском полицейские и дворники, орудуя кулаками, волокут к остановленной извозчичьей пролетке опрятно одетую барышню, вина которой к тому же и не доказана, если вообще можно поставить в вину барышне жизнь, толкнувшую ее на панель, превратившую в «клапан общественных страстей». Полицейские и дворники волокут преступницу, выворачивают ей руки, гулко бьют по спине кулаками, а толпа вокруг хохочет, ругается, поощряет стражей закона возгласами. Черная шляпка с вуалью упала на панель, в грязный снег, кто-то из зрителей поддал ее ногой, да так ловко, что под общий смех кособокой галкой взлетела на пролетку, прямо в руки растрепанной владелице... Потом «известному беллетристу Гаршину» пришлось ходить по вызову в полицейский участок и к мировому судье, давать объяснения устно и письменно, на каком основании отнесся без должного уважения к общественным страстям, нарушил общественный порядок, поскольку в порядок этот равно входят и преступница, и полицейский агент, и дворник...

Но суть притчи, выбранной Поленовым, может быть, в том, что как раз не попало на полотно (да и в силах ли неподвижность живописи передать это), суть притчи в том, что пришедшие судить и побивать камнями, услышав ответ учителя, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим: живой силой, остановившей зло, оказалась совесть.

Мир изменился — или притча не более как притча: вокруг так много людей, полагающих себя вправе швырнуть в другого камень...

Тут мысль всякий раз начинает спотыкаться...

Полоска неба над крышей стоящего через двор дома чуть засветлелась, черноту за окном понемногу сменяет серость, когда задуешь лампу, предметы в комнате — шкаф, кровать, стулья — словно утрачивают материальность и становятся собственными тенями, их темные силуэты невесомо возвышаются над полом.

— Всеволод, ты спишь? — спрашивает Надя из соседней комнаты. Он не отвечает: пусть думает, что он спит, — у Нади и без него хлопот перед отъездом хоть отбавляй...

Три года назад он взял в канцелярии несколько дней отпуска, помчался в Москву объясниться с Львом Николаевичем (билет как железнодорожному служащему полагался бесплатный). Нельзя, невозможно, жаждал Льву Николаевичу сказать, невозможно строить жизнь по выдуманной формуле непротивления, без ненависти к злу нет подлинной любви к добру.

Толстого в городе не застал, зря проездил, теперь же и его все чаще причисляют к лику последователей толстовского учения.

«Ихний», «ихний», — Евгений Михайлович его корит: сильно поссорились из-за «Власти тьмы». Евгений Михайлович «с позиций консерватора» обвинил гения в гордыне и желании переделывать по-своему то, что и прежде было хорошо, — бедный Женя!

Покойный Надсон тоже нашел в «Сказании о гордом Аггее» влияние толстовского учения, хотя, печатая отзыв, прибавил, что Гаршин к последователям философии графа Толстого не принадлежит.

В старинной легенде, которую он пересказывал, царь Аггей, за гордыню отлученный господом от власти, снова ее получив, становится кротким и милосердным правителем; у него, у Гаршина, Аггей от власти вовсе отказывается и остается слугой нищих и поводырем слепых, которым оказался, пройдя испытания, выпавшие ему на долю.

Когда читал пересказ на заседании научного общества, молодежь с ним спорила: надо было оставить конец оригинала — милосердным царем Аггей больше мог внести добра в жизнь, чем простым нищим.

Но с таким концом не получался рассказ — хоть выбрось.

Он и сам думал, что сделает все точно так, как в легенде. Но когда ангел снова протянул бывшему правителю мантию и жезл, отказался Аггей: «ослушаюсь я твоего веления, не возьму».

Может быть, жизнь не дает примеров добра на троне.

И разве жизнь, люди вокруг, все, к кому он прикипел сердцем, не повторяют горячо: надо, пора долги народу отдавать, с общей жизнью слиться, на бедных и угнетенных работать?..

В старинной легенде говорится: прозревший Аггей, возвращенный на царство, заповедал всякую службу петь в церкви стих: «Богатые обнищают и взалкают» — только-то!

В одно время с ним, с Гаршиным, сам Лев Николаевич взялся было легенду про гордого Аггея перекладывать, но прочитал гаршин-

ское «Сказание» — и оставил работу. Это Владимир Григорьевич Чертков, ближайший Толстого последователь, ему, Гаршину, рассказывал: с Чертковым они приятели (тоже повод для приговоров Евгения Михайловича). У Толстого прощенный царь, по легенде, должен был снова сесть на трон — вот он, Гаршин, каков: «святее» Льва Николаевича оказался!

«Так что же нам делать?» — доносится из Ясной Поляны, день и ночь, набатным колоколом, тяжелым молотом, падающим на грудь, ударяющим по совести, боем часов, отмеряющих время века. «Так что же нам делать?..» В мучительном вопросе разрыв между прозрением и поступком: нельзя жить по-прежнему, а — как жить?..

Братьев по духу у Льва Николаевича неизмеримо больше, чем братьев по учению...

Минувшим летом Илья Ефимович ездил в Ясную Поляну, привез картину «Толстой на пашне».

То богатырем, Микулой Селяниновичем представлялся Репину великий Пахарь, могучим Прометеем, бросающим в землю семена небесного огня, то вдруг жалким казался со своей веревочной сбруей и палочной сохой.

А вокруг, рассказывает Илья Ефимович, бедные деревни, черные, грязные избы, без всякого света, смрад, копоть, нищета.

— Нет, не верю, — запальчиво кричит он, — что голодные, измученные люди могут жить в таких избах радостно, какое бы учение они ни исповедовали! Не верю, что жизнь их сделается лучше, если сам Толстой спустится к ним в холод и тьму!..

— И все-таки, — смотрит Илья Ефимович на свой холст, — какая страстная, деятельная доброта к людям! Не умильные рассуждения о братстве, а постоянная мучительная жажда разделить с братьями тяготы их жизни и труда!

Репин радуется, что в магазинах продают олеографию с картины:

— Пускай смотрит расфранченная, развращенная богатая сволочь! Пускай смотрит — она не стоит самой дрянной веревчонки от этой нищенской сбруи!..

Фаусек, путешествуя, разговорился с казаком из Старогладковской станицы — казак водил знакомство с молодым Львом Николаевичем, в пору службы его на Кавказе. Виктор Андреевич рассказал станичнику, что́ такое теперь Толстой, тот рассмеялся: «Вот бы спросить у него на ушко — Лев Николаич, а Старогладковскую помните?»

Но Лев Николаевич Старогладковскую помнит...

Лев Николаевич написал рассказ «Свечка»: лютого приказчика победил самый тихий и смиренный мужик — этот не гневался, не отвечал на зло злом, покорно пахал и пел тонким голосом. Но Лев Толстой гневался, петь тонким голосом не умел: он убил злого приказчика и описал его смерть с жесточайшими подробностями. Черт-

ков просил его придумать другой, добрый конец, Лев Николаевич было и придумал, да после отказался — с добрым концом вся история выходит фальшивой.

Вот тут-то мысль и начинает спотыкаться...

Так что же нам делать? Что делать?..

Доктор Фрей поглаживал холеную бороду, цеплял на палец пенсне, допытывался — а глазами все куда-то вбок — нет ли у него, у Всеволода Михайловича, какого-нибудь горя, не случилось ли какой истории, выбившей его из колеи.

Все он знает, любезный Александр Яковлевич, и про «семейную историю», про подвиги Евгения Михайловича, про мамашино проклятие, и про то, как пришлось оставить место в канцелярии, и про девицу на панели, за которую «известный беллетрист» вступился, по каковому поводу приглашен был к судье, — все Александру Яковлевичу известно, только надо ему, чтобы сам пациент про «горе», про «истории» рассказал, — вот, мол, от чего с ума схожу: тогда будет оному пациенту назначена такая жизнь, в которой ни брошенных детей, ни материнских проклятий, ни уличных девиц, ни даже Общего съезда российских железных дорог, — одним словом, в Кисловодск, и побыстрее.

Как объяснить, что не одно собственное «горе» доводит его до болезни, не от того душа болит, что побита камнями, — от того болит, что, куда ни кинь взгляд, всюду изломанные, израненные души и люди вокруг с такой беспощадной самоуверенностью берутся за камни...

В Кисловодске он будет подниматься в горы, где воздух свеж и прозрачен, краски чисты, где небо близко и откуда людские селения далеко в долинах видятся муравейниками.

Но личное счастье ст*о*ит еще меньше, чем личное несчастье, да и возможно ли оно, личное счастье, когда знаешь о личном несчастье ближних и дальних?..

Он хотел бы сказать Фрею, что проницательная наука, точная статистика, а вкупе с ней и всезнающие репортеры руками разводят перед растущим числом самоубийств «по неизвестным причинам»: подумать только, человек добровольно лишает себя жизни — и немыслимо докопаться, отчего и зачем.

Вот, не угодно ли сунуться в газетную хронику: за один-единственный день люди разного возраста и положения неизвестно почему по собственной воле перестали существовать (ученые после определят, по какой причине каждый свой способ избрал, правда, причина добровольной смерти останется «неизвестной»)... Один, отставной бомбардир из дворян, средь бела дня принимает флакон нашатырного спирта; другой, мещанин-ремесленник, ровно в полночь наносит себе ножом смертельную рану в шею; третий, юноша-студент, лишает себя жизни выстрелом из револьвера в рот; четвертый, точнее четвертая, неустановленного возраста и звания, с наступлением

темноты бросается с Обуховского моста в Фонтанку (труп не обнаружен) ...

Для чего пугать доброго Александра Яковлевича: и так суетлив, косит глазом — разговор для него чем-то неприятен.

По стеклам и рамам прямоугольного оконного фонаря, по стенам и потолку ползут, карабкаются, завиваются гибкие зеленые стебли; все основательное, ухоженное, жардиньерки, полочки, перекладины, веревочки, палочки-подпорки, каждый листок, кажется, вымыт, блестит чистотой, поражает законченностью формы — хоть на выставку; посредине в кадке, заменившей ей родной материк, красуется низкорослая, упитанная пальма, самодовольная толстуха, — важничает, должно быть, что водружена в гостиной известного столичного врача.

Он напоминает Александру Яковлевичу стихотворение Гете: среди общего ликования художник остается печален — он чувствует тяжесть атмосферы...

Ребенок в соседней комнате кричит громко и требовательно — особенный плач, сердитые, ровно чередующиеся «ваа... ваа... ваа...» — просит есть, вот и кормилица пошла звякать кастрюлями да бутылочками...

В Петербурге, по проверенным сведениям, восемьсот девяти- и десятилетних мальчиков работают у раскаленных печей на стекольных заводах... Тоже хотел было сказать Фрею...

Господин, которому он передал свое место в канцелярии, выговаривал ему справедливо: «Что за блажь, известный писатель — и служит. Ваше дело, сударь, сочинять, а не входящие регистрировать. Всякий обязан свое дело делать. Иначе — решительно непорядок...»

Всю зиму, куда глаза глядят и ноги несут, бесцельно бродил по Питеру, свободный от сочинения одних бумаг и регистрации других. На масляной смотрел на Марсовом поле американских ковбоев: замерзшие молодые люди в черных шелковых рубашках и широкополых шляпах каждые полтора-два часа бросали лассо и укрощали одних и тех же диких коней; в досчатом балагане, куда они забегали погреться, невиданное чудо века, девица в серебристом, как чешуя, трико, погруженная с головой в акварий, курила под водой папиросу, — он даже ткнулся в карман за портсигаром, забыл, что потерял...

Осенью отметили четверть века литературной работы Глеба Ивановича, а юбиляр по окончании торжеств умолял работодателей: я за двадцать пять лет и месяца отдыха не имел, не стесняйте меня хоть недолго сроками, отложите уплату долгов...

В отличие от Глеба Ивановича, у него ни долгов, ни сроков.

Ничего, похоже, от него не ждут; он и сам давно ждать перестал.

Был у него задуман рассказ: молодой ученый обнаружил в человеке прежде неизвестную творческую силу и захотел на себе показать эту силу людям; но первый же короткий опыт потребовал от него

всей его душевной деятельности — за открытие он заплатил рассудком и жизнью.

Делать ему теперь совершенно нечего...

С неделю назад ушел из дому, вот так же, только начало светать, набрел на извозчичий трактир-низок, спустился с тротуара на восемь ступенек вниз, толкнул дверь, его обдало паром, на столах жарко пыхтели медные самовары с заварочными чайниками на конфорках, золотились на подносах бублики с маком и валдайские баранки, сахар подавали в глубоких блюдцах, мелко наколотый. Он подсел к столу, где два бородача в синих кафтанах с белым номером на спине, не спеша, всласть гоняли чаи и толковали про «настоящего седока», который в прежние годы попадался почти на каждом шагу, а теперь перевелся, — «настоящий седок», в отличие от какого-нибудь «шишиморы», подряжает извозчика надолго и на чай дает целковый — поди, в нынешнее время найди такого-то, измельчал народ.

— Всеволод, — снова окликает его Надя.

Он не отвечает.

— Ты спишь? — спрашивает она тихо, не сомневаясь, что он заснул.

— Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, — бормочет кормилица, чуть слышно двигая по полу вязанными из толстой шерсти шарканцами.

Он бесшумно встает со стула; стараясь не скрипнуть половицей, идет к двери.

В комнате звякает что-то, — наверно, Надя укладывает посуду.

— Господи, как крепко я спала... — доносится до него голос Веры.

— Он бежит себе в волнах...

На лестнице пусто.

Перегнувшись через перила, видишь глубокий, гулкий колодец. Снизу тянет дымом, слышен сухой треск, похожий на ружейные выстрелы.

Дворник Василий затопил в подъезде печь.

Округленная ее верхушка тускло белеет на дне колодца.

Там, под Аяcларом, на обдуваемой ветрами вершине, он увидел, как Степан Федоров упал, обливаясь кровью.

Потом он сидел на земле и закрывал оба отверстия раны руками. Кизиловый куст, обсыпанный ягодами, стоял левее словно взбрызнутый кровью.

Птица сойка сверкнула ярким синим перышком и пронзительно вскрикнула.

Рвались гранаты, пули и осколки с визгом пролетали рядом, треск стоял такой, будто вокруг топили печи.

Унтер-офицер и барабанщик взяли его под руки и повели.

Раненая нога больно цеплялась за кусты.

Позже в лазарете лежавший рядом солдат попросил его: «Сделай, братец, милость, почеши мне голову, вшей много, а рук, сам видишь, нету».

Он как умел вычесал его своим гребнем.

«Желаю имечко узнать, — сказал солдат. — Ежели грамотный, запиши, братец, в поминальную книжечку, вот в головах спрятана, век буду тебя благодарить за неоставление...»

На следующее утро солдат умер...

Часы куплены шесть лет назад поразительно удачно.

Как четко, как чисто стучат, а ведь давно не чищены и не регулировались.

Но при том продолжают идти с совершенной точностью.

Девятый час...

Можно снова пойти выпить чаю в извозчичьем трактире; он теперь знает, что самовар берут втроем или вчетвером вскладчину: оно и веселее и выгоднее, объяснили извозчики.

Можно отправиться на Пески, взглянуть, цел ли дом с голубятней над тесовым, крытым коричневой краской забором...

Восемь ступенек вниз — длинный марш лестницы, поворот, еще пять ступенек — короткий марш.

Все ближе ружейный треск.

Высоко над головой, между железными прутьями решетки накрывающей лестничный колодец стеклянной крыши неподвижно стоит мрачное серое небо.

Идти в общем-то некуда, некуда себя приткнуть...

...Сильная боль в раненой ноге, но это не страшно.

— Поднимай, вытаскивай, — командует унтер-офицер чьим-то очень знакомым голосом. — Клади на щит, на щите поднимай, неси...

Надо непременно открыть глаза, чтоб не подумали, что он умер.

Да это же дворник Василий, его рябое лицо, пустая вмятина съеденного оспой глаза.

Помощник — молоденький совсем, в белом фартуке с бляхой.

Испугался, наверно.

Надо улыбнуться ему.

Его поднимают на сколоченном из досок щите, которым обычно прикрывают сверху сложенную возле печи поленницу.

Все громче стучат о камень ступеней Надины каблуки...

Унтер и барабанщик вели его под руки. Раненая нога больно цеплялась за кусты.

Через полверсты их встретили с носилками.

Санитары разогнались под гору, тропа блуждала между стволов деревьев и кустарниками; качаясь в носилках, он смотрел на яркое голубое небо, бежавшее быстрой, извилистой речкой среди пронизанной солнцем листвы.

Он пощупал рукой нагрудный карман гимнастерки: записная книжка с начатым рассказом была при нем.

Ну, живой, подумал он радостно, все хорошо, все впереди, все только начинается...

ПРИЛОЖЕНИЕ

В. М. Гаршин

АВТОБИОГРАФИЯ

Автобиография написана для «Критико-библиографического словаря русских писателей и ученых», издававшегося С. А. Венгеровым.

Род Гаршиных — старый дворянский род. По семейному преданию, наш родоначальник мурза Горша, или Гарша, вышел из Золотой Орды при Иване III и крестился; ему или его потомкам были даны земли в нынешней Воронежской губернии, где Гаршины благополучно дожили до нынешних времен и даже остались помещиками в лице моих двоюродных братьев, из которых я видел только одного, да и то в детстве. О Гаршиных много сказать не могу. Дед мой Егор Архипович был человек крутой, жестокий и властный: порол мужиков, пользовался правом primae noctis * и *выливал кипятком* фруктовые деревья непокорных однодворцев. Он судился всю жизнь с соседями из-за каких-то подтопов мельниц и к концу жизни сильно расстроил свое крупное состояние, так что отцу моему, одному из четверых сыновей и одиннадцати или двенадцати детей, досталось только семьдесят душ в Старобельском уезде. Странным образом, отец мой был совершенною противуположностью деду: служа в кирасирах (в Глуховском полку) — в николаевское время, он никогда не бил солдат; разве уж когда очень рассердится, то ударит фуражкой. Он кончил курс в 1 Московской гимназии и пробыл года два в Моск. университете на юридическом факультете, но потом, как он сам говорил, «увлекся военной службой» и поступил в кирасирскую дивизию. Квартируя с полком на Донце и ездя с офицерами по помещикам, он познакомился с моею матерью, Екатериной Степановной, тогда еще Акимовою, и в 48 г. женился.

Ее отец, помещик Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, отставной морской офицер, был человек очень образованный и редко хороший. Отношения его к своим крестьянам были так необыкновенны в то время, что окрестные помещики прославили его опасным вольнодумцем, а потом и помешанным. Помешательство

* первой ночи (*лат.*).

его состояло, между прочим, в том, что в голод 1843 года, когда в тех местах чуть не полнаселения вымерло от голодного тифа и цинги, он заложил имение, занял денег и сам привез «из России» большое количество хлеба, которое и роздал даром голодавшим мужикам, своим и чужим. К сожалению, он умер очень рано, оставив пятерых детей; старшая, моя мать, была еще девочкой, но его заботы о воспитании ее принесли плоды — и после его смерти попрежнему выписывались учителя и книги, так что ко времени выхода замуж моя мать сделалась хорошо образованной девушкой по тогдашнему времени, а для глухих мест Екатеринославской губернии — даже редко образованной.

Я родился третьим (в имении бабушки, в Бахмутском уезде), 2 февраля 1855 г., за две недели до смерти Николая Павловича. Как сквозь сон помню полковую обстановку, огромных рыжих коней и огромных людей в латах, белых с голубым колетах и волосатых касках. Вместе с полком мы часто переезжали с места на место; много смутных воспоминаний сохранилось в моей памяти из этого времени, но рассказать я ничего не могу, боясь ошибиться в фактах. В 1858 г. отец, получив наследство от умершего деда, вышел в отставку, купил дом в Старобельске, в 12 верстах от которого было наше имение, и мы стали жить там. Во время освобождения крестьян отец участвовал в Харьковском комитете членом от Старобельского уезда. Я в это время выучился читать; выучил меня по старой книжке «Современника» (статьи не помню) наш домашний учитель П. В. Завадский, впоследствии сосланный за беспорядки в Харьковском университете в Петрозаводск и теперь уже давно умерший.

Пятый год моей жизни был очень бурный. Меня возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда в Харьков и назад в Старобельск (все это на почтовых — зимою, летом и осенью); некоторые сцены оставили во мне неизгладимое воспоминание и, быть может, следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в эту эпоху.

Старших братьев отправили в Петербург; матушка поехала с ними, а я остался с отцом. Жили мы с ним то в деревне, в степи, то в городе, то у одного из моих дядей в Старобельском же уезде. Никогда, кажется, я не перечитал такой массы книг, как в три года жизни с отцом, от пяти до восьмилетнего возраста. Кроме разных детских книг (из которых особенно памятен мне превосходный «Мир божий» Разина), я перечитал все, что мог едва понимать, из «Современника», «Времени» и других журналов за несколько лет. Сильно на меня подействовала Бичер-Стоу («Хижина дяди Тома» и «Жизнь негров»). До какой степени свободен был я в чтении, может показать факт, что я прочел «Собор Парижской бого-

матери» Гюго в семь лет (и, перечитав его в 25, не нашел ничего нового), а «Что делать» читал по книжкам в то самое *время, когда Чернышевский сидел в крепости.* Это раннее чтение было, без сомнения, очень вредно. Тогда же я читал Пушкина, Лермонтова («Герой нашего времени» остался совершенно непонятным, кроме Бэлы, об которой я горько плакал), Гоголя и Жуковского. В 1863 г. матушка приехала за мною из Петербурга и увезла с собою. 15 августа мы въехали в него после путешествия из Старобельска до Москвы на перекладных и от Москвы по жел. дороге; помню, что Нева привела меня в неописанный восторг (мы жили на Васильевском острове), и я начал даже с извозчика сочинять к ней стихи с рифмами «широка» и «глубока».

С тех пор я петербургский житель, хотя часто уезжал в разные места. Два лета провел у П. В. Завадского в Петрозаводске; потом одно — на даче около Петербурга; потом жил в Сольце Псковской губ. около полугода; несколько лет живал по летам в Старобельске, в Николаеве, в Харькове, в Орловской губернии, на Шексне (в Кирилловском уезде). Последний мой отъезд из Петербурга был очень продолжителен: я прожил около $1^1/_2$ лет в деревне у одного из своих дядей, В. С. Акимова, в Херсонском уезде, на берегу Бугского лимана.

В 1864 г. меня отдали в 7 Спб. гимназию в 12 линии Васильевского острова. Учился я вообще довольно плохо, хотя не отличался особою леностью: много времени уходило на постороннее чтение. Во время курса я два раза болел и раз остался в классе по лености, так что семилетний курс для меня превратился в десятилетний, что, впрочем, не составило для меня большой беды, так как поступил в гимназию 9 лет. Хорошие отметки я получал только за русские «сочинения» и по естественным наукам, к которым чувствовал сильную любовь, не умершую и до сих пор, но не нашедшую себе приложения. Математику искренно ненавидел, хотя трудна она мне не была, и старался по возможности избегать занятий ею. Наша гимназия в 1866 г. была преобразована в реальную гимназию и долго служила образцовым заведением для всей России. (Теперь она — 1 реальное училище.) Мне редко случалось видеть воспитанников, которые сохраняли бы добрую память о своем учебном заведении; что касается до седьмой гимназии, то она оставила во мне самые дружелюбные воспоминания. К В. Ф. Эвальду (директор в мое время, директор и теперь) я навсегда, кажется, сохраню хорошие чувства. Из учителей я с благодарностью вспоминаю В. П. Геннинга (словесность) и М. М. Федорова (естественная история); последний был превосходный человек и превосходный учитель, к сожалению, погубленный рюмочкой. Он умер несколько лет тому назад.

Начиная с 4 класса я начал принимать участие (количественно, впрочем, весьма слабое) в гимназической литературе, которая одно

время у нас пышно цвела. Одно из изданий — «Вечерняя газета» — выходила еженедельно, аккуратно в течение целого года. Сколько помню, фельетоны мои (за подписью «Агасфер») пользовались успехом. Тогда же под влиянием «Илиады» я сочинил поэму (гекзаметром) в несколько сот стихов, в которой описывался наш гимназический быт, преимущественно драки.

Будучи гимназистом, я только первые три года жил в своей семье. Затем мы со старшими братьями жили на отдельной квартире (им тогда было 16 и 17 лет); следующий год прожил у своих дальних родственников; потом был пансионером в гимназии; два года жил в семье знакомых петербургских чиновников, и, наконец, был принят на казенный счет.

Перед концом курса я выдержал тяжелую болезнь, от которой едва спасся после полугодового лечения. В это же время застрелился мой второй брат...

Не имея возможности поступить в университет, я думал сделаться доктором. Многие из моих товарищей (предыдущих выпусков) попали в Медицинскую академию и теперь доктора. Но как раз ко времени моего окончания курса Делянов подал записку покойному государю, что вот, мол, реалисты поступают в Мед. акад., а потом проникают из академии в университет. Тогда было приказано реалистов в доктора не пускать. Пришлось выбирать какое-нибудь из технических заведений; я выбрал то, где поменьше математики, — Горный институт. Я поступил в него в 1874 году. В 1876 хотел уйти в Сербию, но, к счастью, меня не пустили, так как я был призывного возраста. 12 апреля 77 г. я с товарищем (Афанасьевым) готовился к экзамену из химии; принесли манифест о войне. Наши записки так и остались открытыми: мы подали прошение об увольнении из института и уехали в Кишинев. В кампании я был до 11 августа, когда был ранен. В это время, в походе, я написал свою первую, напечатанную в «Отечественных Записках» вещь — «Четыре дня». Поводом к этому послужил действительный случай с одним из солдат нашего полка (скажу кстати, что сам я ничего подобного никогда не испытал, так как после раны был сейчас же вынесен из огня).

Вернувшись с войны, я был произведен в офицеры, с большим трудом вышел в отставку (теперь меня зачислили в запас). Некоторое время ($^1/_2$ г.) слушал лекции в Университете (по историко-филологич. факультету). В 1880 заболел и по этому-то случаю и прожил долго в деревне у дяди. В 1882 г. вернулся в Петербург; в 1883 женился на Н. М. Золотиловой; в том же году поступил на службу секретарем в железнодорожный съезд.

23 августа 1884 г.
СПб.

В. Гаршин

ИЗ ПИСЕМ В. М. ГАРШИНА

Если из писем Гаршина выбрать в хронологическом порядке его размышления о творческом процессе, оценки собственных произведений, сведения о ходе работы над ними и их публикации, то перед нами выстроится своеобразная летопись литературных трудов писателя, им самим составленная. Не имея возможности представить ее в наиболее полном виде, предлагаем в дополнение к автобиографии некоторые наиболее существенные высказывания Гаршина.

1875 год:

Мои литературные замыслы очень широки, и я часто сомневаюсь в том, смогу ли я исполнить поставленную задачу... Дело в том (это я чувствую), что только на этом поприще я буду работать изо всех сил, стало быть, успех — вопрос в моих способностях и вопрос, имеющий для меня значение вопроса жизни и смерти. Вернуться уже я не могу. Как вечному жиду голос какой-то говорит: «Иди, иди», так и мне что-то сует перо в руки и говорит: «Пиши и пиши».

1876 год:

Мой маленький очерк будет помещен в «Молве». Ликованию моему несть пределов... Ведь это первая напечатанная работа. Я чувствую то же, что чувствовал мой любимый герой, мастер Деви Копперфильд, когда его статья была принята. Теперь уже некогда, а летом завалю «Молву» очерками Старобельской жизни...

1877 год:

Вчера был в типографии, держал «редакторскую» корректуру своей статейки. Типографская обстановка сделала на меня сильное впечатление; очень понимаю я, как можно втянуться во всю эту штуку...

Вы пишете, что я не довольно «смел» в своих литературных начинаниях. Я не жалею об этом, потому что робость избавляет меня от щелчков моему самолюбию. Покуда я отдал напечатать 3 маленькие статейки — и все 3 были напечатаны... Чтобы писать, как надо много учиться! И главное-то, учиться трудно, потому что учиться приходится самому у себя, у своего собственного суда.

Если бог приведет вернуться, напишу целую книгу. Русский солдат — нечто совершенно необыкновенное...

...Наш батальон ходил на место боя убрать мертвых, и я видел не особенно красивую картину. Но мы были вознаграждены за все — нашли раненого. Пять суток лежал он в кустах с перебитой ногой...

Не желая терять времени даром, я понемногу пописываю. Писать, жаль, не часто приходится, а все дело в *механическом* писании, потому что в голове так много приготовлено за длинные переходы. Идешь и думаешь, думаешь...

1878 год:

«4 дня» переведены еще на французский, итальянский и английский языки! Можно возмечтать о себе бог знает что, право, от одной мысли, что вся Европа может читать твои десять страничек...

По поводу вашего мнения о том, что мне не следует молчать, чтобы публика не забыла, скажу вам, что, если я стою того, чтобы меня не забыли, то если и забудут, то тотчас же вспомнят при первом моем появлении. Если же нет, то тогда зачем же и подогревать сочувствие публики...

Мне открыта полная возможность познакомиться со всякими знаменитостями, да со мною что-то сделалось странное: прежняя страсть к знакомствам исчезла. Особенно не хочется знакомиться с разными генералами от интеллигенции, может быть, потому, что не хочется «ученичествовать» и с почтением выслушивать слова, изрекаемые на манер пророчеств... Буду работать побольше, вылезать поменьше...

Вопрос «зачем» до такой степени овладел моим существом, что ни за что, не дающее непосредственных результатов, я не рискну взяться. Писательство имеет результаты непосредственные — изящное (насколько изящное — это другой вопрос) произведение, шевелящее если не мозги, то чувства (в моем случае, беря меня) людей. Вот почему я писать не брошу.

1880 год:

Свой маленький рассказик («Ночь») я уже переписываю. Вышло нечто сумбурное, смутное, такое, что я и сам многого в нем не понимаю. Ну да все равно понесу к Салтыкову...

Рассказ мой Салтыков принял и даже написал, что находит его «весьма хорошим»... Не знаю, право, точно ли он «весьма» хорош. Быть довольным своим рассказом мне пока в глубине души еще не удавалось. Знаешь, *что* хотел сделать, а это *что* никогда не выходит *так,* как думалось во время писанья.

Теперь ушел в воспоминания и хочу написать несколько эпизодов из войны. Это будет настоящая проба пера, а то до сих пор все описывал, собственно говоря, собственную персону, суя ее в разные звания, от художника до публичной женщины...

1881 год:

Мое уменье писать унесла болезнь безвозвратно. Я уже никогда ничего не напишу. А кроме этого — на что я способен!

Писать я не могу (должно быть), а если и могу, то не хочу. Ты знаешь, что я писал, и можешь иметь понятие, как доставалось мне это писание. Хорошо или нехорошо выходило написанное, это вопрос посторонний; но что я писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением...

1882 год:

Вы опять пишете мне «если бы ты захотел писать» и «а сможешь, то очень» и т. п. Раз навсегда я скажу вам, что *если бы я мог писать, то я бы и писал.* Ведь это бессмысленно... не хотеть делать того, что представляется единственным светлым местом жизни.

Завтра приеду в Спасское, осмотрюсь, а послезавтра засяду писать, просто руки у меня чешутся, так хочется что-нибудь новое выдумать.

Понемножку пишу одну штучку (из войны еще), да только именно понемножку; больше страницы в день, как ни бьюсь, а написать не могу...

Писал я в своем теперешнем рассказе о том, как он (покойный царь) смотрел нас в Плоешти. Писал и глубоко взволновался: вылилась довольно страшная страничка. Нет там ни хвалы, ни клеветы, но чувство выразилось оригинально и, кажется, сильно.

Пишу последнюю главку. Плохо, очень плохо вышла у меня эта штучка; серьезно думаю, что Михаил Евграфович не возьмет...

Искренне благодарю вас за доброе мнение о моих рассказах. Если в них нет большого уменья и блеска, то все-таки есть одно достоинство: писал я их искренно, не сочиняя, а выкладывал на бумагу то, чем действительно душа мучилась...

1884 год:

...Думаю понемножку научиться истории, а потом, потом — написать что-нибудь историческое. Очень бы мне этого хотелось...

Все жду, когда, наконец, буду иметь возможность писать что-нибудь, внутреннюю возможность, конечно... Иногда берешь перо и принуждаешь себя — и совершенно напрасно. Счастливые люди разные Зола и Троллопы, пишущие аккуратно по стольку-то страниц в день.

Писать мне очень хочется, охота смертная — да участь горькая! Ничего не идет ни в голову, ни из головы. Надеюсь, что примусь же когда-нибудь: неужели уже все кончено для меня как для писателя? Не хочу этому верить. Но *теперь* — ничего не могу.

Приступаю только к написанию той самой старинной штуки о художнике, его аманте и злодее-убийце... Выйдет что-то листа в четыре, а может быть, и больше — по моим привычкам вещь огромная... Нет, я не настоящий писатель! Все пишется так медленно, туго, да еще хорошо, если пишется...

1885 год:

В «Русской мысли» напечатана первая половина рассказа «Надежда Николаевна»... Сам я рассказом недоволен. Знаю, что будут ругать меня жестоко, и не за те недостатки, которые вижу я, а за вещи посторонние: за отсутствие политики, за занятие любвями и ревностями в наше время, когда... и пр.

«Надежда Николаевна», кажется, имеет некоторый успех у читателей... Я чувствую, что заслужил за нее многие и многие упреки. Конечно, не с той стороны, с которой выругала критика. А это было целое гонение... «Ты сам свой высший суд...» Но дело в том, что на этом-то суде я не могу сказать «доволен». Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных, отрывочных воплей, каких-то «стихов в прозе», какими я до сих пор занимался: материалу у меня довольно и нужно изображать не свое «я», а большой внешний мир. Но старая манера навязла

в перо, и оттого-то первая вещь с некоторым действием и *попыткою* ввести в дело несколько лиц решительно не удалась...

1886 год:

Я затеял большую-пребольшую работу, такую, что если через два года кончу, то и слава богу. Придется прочесть томов 200, а я прочел пока всего около 10.

1887 год:

Хочется работать. Дай бог, чтобы весною и летом съезда (ж. д.) не было, тогда сильно двину роман.

Занимаюсь я преимущественно Петровщиной: прочел много, но сколько осталось еще!

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. М. ГАРШИНА И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

Сочинения В. М. Гаршина

Гаршин В. М. Рассказы. Спб.: тип. А. М. Котомина и К°, 1882. При переизданиях: Первая книжка рассказов.

Гаршин В. М. Вторая книжка рассказов. Спб.: тип.-лит. Голике, 1885.

Гаршин В. М. Третья книжка рассказов. Посмертное изд. Спб.: скл. изд. в кн. торговле А. Я. Панафидина, 1888.

Гаршин В. М. Полное собрание сочинений. Вновь просм. и доп. изд. С портр., автобиогр. очерком, воспоминаниями о Всеволоде Гаршине в разные эпохи его жизни и крит. ст. Пб.: А. Ф. Маркс, 1910.

Приведены сведения о первых публикациях произведений В. М. Гаршина.

Гаршин В. М. Полное собрание сочинений: В 3 т. М.; Л.: Academia, 1934. Т. 3. Письма / Ред., ст. и примеч. Ю. Г. Оксмана. (Рус. лит.).

1-й и 2-й тома изданы не были. В книге имеется библиографический указатель воспоминаний о В. М. Гаршине (сост. Н. И. Мордовченко).

Гаршин В. М. Сочинения / Вступ. ст., ред. и коммент. Ю. Г. Оксмана. 2-е изд., доп. М.; Л.: ГИХЛ, 1934 (1-е изд.: Рассказы. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928).

В книге имеется подробный библиографический указатель статей и материалов о В. М. Гаршине, состоящий из трех разделов: «Общие указатели литературы», «Библиографические источники и сводки», «Критические оценки и историко-литературные характеристики».

Гаршин В. М. Сочинения / Вступ. ст. и примеч. Г. А. Бялого. М.; Л.: Гослитиздат, 1963. (Сходные издания: в 1951, 1955 и 1960 гг.).

Гаршин В. М. Сочинения / Вступ. ст. и коммент. В. Грихина. М.: Худож. лит., 1983.

Гаршин В. М. Избранное / Вступ. ст. Г. А. Бялого. Сост. и примеч. И. И. Подольской. М.: Правда, 1984.

В книге приведены отрывки из писем В. М. Гаршина, а также некоторые воспоминания современников о нем.

Из зарубежных изданий следует особо отметить:

Garchine V. La guerre. Paris, Havard, 1889.

Предисловие к книге написал Ги де Мопассан.

Garshin V. Stories from Garshin. London, Unwin, 1893.

Рассказы переведены Э. Л. Войнич. Автор предисловия писатель и революционер С. Степняк-Кравчинский. (На рус. яз.: Степняк-Кравчинский С. М. Сочинения. М.: Гослитиздат, 1958. Т. 2).

Литература о В. М. Гаршине

Памяти В. М. Гаршина: Худож.-лит. сб. Спб., 1889.
Красный цветок: Лит. сб. в память Всеволода Михайловича Гаршина. Спб., 1889.
Современники о В. М. Гаршине: Воспоминания / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Г. Ф. Самосюк. Саратов, 1977.
Бялый Г. А. Всеволод Михайлович Гаршин. Л., 1969.
Латынина А. Н. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. М., 1986.
Порудоминский В. И. Гаршин. М., 1962. (Жизнь замеч. людей: Вып. 5 (338)).

* * *

Успенский Г. И. Смерть В. М. Гаршина // Собр. соч.: В 9 т. М., 1957. Т. 9.
Короленко В. Г. Всеволод Михайлович Гаршин // Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 8.
Репин И. Е. В. М. Гаршин. Последняя встреча с Гаршиным // Репин И. Е. Далекое близкое. Во всех изданиях.
Чуковский К. И. О Всеволоде Гаршине // Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6.
Дурылин С. Н. Вс. М. Гаршин. Из записок биографа // Звенья. М.; Л., 1935. Т. 5.
Кийко Е. И. Гаршин // История русской литературы. М.; Л., 1956. Т. 9. Ч. 2.
Аверин Б. В. Всеволод Гаршин // История русской литературы. В 4 т. Л., 1983. Т. 4.

Порудоминский В. И.

П60 Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина. — М.: Книга, 1986. — 287 с., ил. — (Писатели о писателях).

Романизированная биография раскрывает перед читателем короткую и драматичную жизнь известного русского писателя, его сложный душевный мир, его творческие поиски. Полно и достоверно воссоздана его эпоха. В романе действуют, творят, размышляют о тех же общественных проблемах и событиях, которые волнуют главного героя, его выдающиеся современники — Лев Толстой, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Чехов, Верещагин, Репин.

Автор романа В. Порудоминский долгие годы верен биографическому жанру. Читатели встречались в его книгах с Пушкиным и Львом Толстым, Брюлловым и Ге, Далем и Пироговым.

Книга иллюстрирована. Для широкого круга читателей.

П $\frac{4702010200\text{-}071}{002(01)\text{-}86}$ **79-86**

ББК 84Р7-4

Владимир Ильич Порудоминский

**ГРУСТНЫЙ СОЛДАТ,
ИЛИ
ЖИЗНЬ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА**

Зав. редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Э. Б. Кузьмина*
Художественный редактор *Н. В. Тихонова*
Технический редактор *Е. Н. Петрунина*
Корректор *Н. И. Скворцова*

ИБ 1244

Сдано в набор 23.10.85. Подписано в печать 06.06.86. А-11426. Формат 60 X $90^1/_{16}$.
Бум. кн.-журн. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,0.
Усл. кр.-отт. 36,5. Уч.-изд. л. 20,04. Тираж 200 000 (85001 — 200 000) экз. Изд. № 3874.
Заказ № 788. Цена в бумвиниле 1 р. 60 к., в коленкоре 1 р. 70 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.